1 р. 50 к.

ИНДЕКС 73274

ЧИТАЙТЕ В 1992 ГОДУ

СЕНСАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ДРУЗЬЯХ И ВРАГАХ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Судьбы многих людей, с которыми так или иначе была связана жизнь и судьба Есенина, сложились трагически. На его друзей и врагов, родных и близких – Алексея Ганина, Николая Клюева, Сергея Клычкова, Петра Орешина, Ивана Приблудного, Павла Васильева, Иванова-Разумника, Александра Воронского, Леопольда Авербаха, Вольфа Эрлиха, Якова Блюмкина, Екатерину Есенину, Зинаиду Райх, Юрия Есенина и других в архивах ЧК – ОГПУ – НКВД хранятся уголовные дела с протоколами допросов, доносами сексотов, письмами из тюрем и мест заключения, свидетельскими показаниями, никому неизвестными произведениями репрессированных, резолюциями высших чинов карательных органов той эпохи, судебными приговорами, материалами по реабилитации и т. д.

Станиславу Куняеву, работающему над книгой о великом поэте, наконец-то удалось познакомиться с этими уникальными документами эпохи, до сих пор закрытыми за семью печатями. Самые сенсационные и проливающие свет на многие загадки времени документы из этих дел в течение 1992 года будут публиковаться в "Нашем современнике".

Наш современник, 1991, № 9, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №9 1991

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№9 1991

С. Т. АКСАКОВ

...Спокоен я в душе моей,
К тому не надобно искусства:
Довольно внутреннего чувства,
Сознанья совести моей.

Моих поступков правоты
Не запятнает власть земная,
И честь моя, хоругвь святая,
Сияет блеском чистоты!

1832 г.

НАШ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№9 1991

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

Содержание

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Технический редактор **Л. Л. Ежова** Корректоры **М. В. Масленникова, Л. Н. Тихонова**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 928-32-16 (заместители главного редактора), 200-24-94 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.06.91 г. Подписано к печати 29.08.91 г. Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,45. Тираж 315 000 Заказ 1511

ИПО Союза писателей СССР, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

ДУША ПОВТОРИТ ЭТОТ ПУТЬ

Скала

Скала хотела быть вершиной,
Но только прилепилась к ней.
И нависала над долиной
Избытком тягости своей.

На ней огонь порой струился,
Связали тропы близь и даль.
И некий странник появился,
Он разгадал ее печаль.

«Скала, — шепнул ей
дух лукавый,—
Не над твоей ли головой
Гора сияет вечной славой...
Но даже снег не вечен твой.

Ты только жалкое подобье.
Смотреть в сияющую высь
Ты можешь только исподлобья,
Тебя долина тянет вниз».

Скала все тропы развязала,
Все сопредельные миры.
«Будь проклят!» —
страннику сказала,
И откололась от горы.

Гора сияла вечной славой,
Хотя тревожили покой:
Скала, и путь ее кровавый,
И пахарь, шедший за скалой.

* * *

Когда приходит в мир поэт,
То все встают пред ним.
Поэт горит... и белый свет
Его глотает дым.

Когда он с Богом говорит,
То мир бросает в дрожь.
Он слово истины творит,
А вы плодите ложь.

КУЗНЕЦОВ Юрий Поликарпович родился в 1941 году. Известный русский поэт. Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.

Сон

Я уже не поэт, я безглавый народ,
Я остаток, я жалкая муть.
Если солнце по небу зигзагом
пойдет,
То душа повторит этот путь.

Мать-отчизна разорвана
в сердце моем,
И, глотая как слезы слова,
Я кричу: — Схороните меня
за холмом,
Где осталась моя голова!

Урок французского

Кровь голубая на помост
хлестала...
Ликуй, толпа! Сжимай свое кольцо!
Но, говорят, Антуанетта встала
И голову швырнула им в лицо.

Я был плохим учеником,
признаться;
В истории так много темных мест.
Но из свободы, равенства и братства
Я вынес только королевский жест.

Ловля стрекоз

Ловля стрекоз — вот одна из забав:
Нитку к хвосту стрекозы привязав,
Я отпускал на свободу ее...

Боже, ты помнишь ли детство свое?
Помнишь, как крепко ты нитку держал?..
Я и не знал, что тебе подражал.

Все мы привязаны — всех испокон
Держит привычка, обычай, закон.

Дух мой летает, но держит его
Нить, что в руке не от мира сего.

О, Вседержитель! До Судного дня
На расстоянье ты держишь меня...

Смысл этой притчи про ловлю стрекоз
Ведал ловец человеков — Христос.

* * *

Я пошел на берег синя моря,
А оно уходит на луну.
Даже негде утопиться с горя...
Свищет пламень по сухому дну.
Лик морского дна неузнаваем.
Адмирал, похожий на чуму,

Говорит, что флот неуправляем,
Но луна нам тоже ни к чему.
Вопль надежды в клочья рвет
стихия,
Высота сменила глубину.
Ты прости-прощай, моя Россия!..
Адмирал, уходим на луну!

* * *

Шел старик по глухой стороне
И за ветер держался.
— Где ты был?
— На гражданской войне,
Перед Богом сражался.

— А поведай, на чьей стороне
Ты сражался-держался?
— Я не помню,— ответил он мне,—
Но геройски сражался.

* * *

Резкий, кроткий, мягкий свет
На просторе на великом.
Тишина. Ни звука нет...
Что же я проснулся с криком?

Или все еще я сплю
И мне брезжит свет оттуда?
И трясу я тень свою:
— Ты откуда? Ты откуда?..

* * *

В. К.

Ты прости: я в этот день печален,
Потому что солнце не взошло.
Дух добра и света изначален,
Но смотреть на землю тяжело.

Вон бредут, покачиваясь, двое
И поют навзрыд во мраке дня:

— Цареград уйдет на дно морское,
А Москва погибнет от огня.

Это значит, надо торопиться,
Из людей повыбит сущий дух.
Кроме праха, ничего не снится...
Как еще ты держишься, мой друг?

Квадрат

На Сретенке горит квадрат окна,
Разбитого бутылочным ударом.
А сам хозяин, тяжелей вина,
Спит на полу в обнимку
с сенбернаром.
Расшатан стол — раздета догола,
На нем плясала девка молодая.
И Божья мать из темного угла
На этот срам глядела не мигая.
Тут побывало множество людей,
Тут были перехватчики идей,
Глотатели базарных новостей,
Прыщи наук, кропатели статей,
Газетчики, подрывники властей,
Пройдохи слова, коршуны страстей,
Улитки духа, монстры скоростей,
Сомнамбулы пустот и пропастей,
Стрелки в туман, растлители детей,
Сторожевые псы своих цепей,
Негоцианты мыльных пузырей,
Предатели духовных крепостей,
Мутанты тьмы, огарыши завета,
Цыгане, русопяты всех мастей,
И даже проходимцы с того света.
И я когда-то тут стихи читал,
Хозяин ничего не понимал,
Сидел и слушал с видом диковатым
И напрочь их рукою отметал:
— Все это остается за квадратом.
Иззубренное Божье существо!
Упрям и прав, как знак. Правей его,
Помилуй Бог, бывает только бездна.
О бездне он не знает ничего
И говорить об этом бесполезно.
Не видя цели, бьет он наугад,
Но поражает он пустой квадрат,
Окно пустой бутылкой пробивает.
Он пойман бесом в сеть координат,
А счастье где-то мимо проплывает...
Вот он поднялся, сумрачный и злой,
И, рой кавычек видя пред собой,
Гремит тяжелым взглядом
по квартире.
И бьется, бьется в стенку головой,
Как будто ищет пятый угол в мире.
Вхожу в квадрат...
Мы пьем за тайный жар,
За мировую трещину в стакане.
И это всё... А сенбернар сбежал,
И скорбно смотрит Божья мать
в тумане.

* * *

Есть у меня в душе одна вершина
С певучим эхом...
Дремлет жизнь моя,
Но чутко откликается и длинно
На первый луч иного бытия.

Еще душа темна наполовину,
Но властный луч иного бытия
Заставил петь и трепетать долину,
Но этот трепет слышу только я.

ПРОЗА

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ

ПОХВАЛА СЕРГИЮ

РОМАН

ПРЕДВАРЕНИЕ АВТОРА

Книга эта несколько неожиданна для меня самого. В задуманную серию «Государей московских» она как бы даже и не вмещается. Приходится отступить от хронологического — от княжения ко княжению — прослеживанья событий; приходится, вместо очередного московского князя, брать главным героем повествования инока, сына разорившейся, «оскудевшей», как говорилось встарь, семьи ростовских бояр. Но дело в том, что события зримые совершаются не сами собою, а всегда и везде под воздействием невидимых внешне, духовных («идеологических», как сказали бы мы) устремлений, и ростовчанин Варфоломей Кириллович, в монашестве Сергий, оказался волею судеб центральной фигурой того мощного духовного движения, которое привело Владимирскую Русь на Куликово поле и создало новое государство, Русь Московскую, на развалинах разорванной, захваченной татарами и Литвой, давно померкшей золотой Киевской Руси. И, оглядываясь теперь на то, чем мы были и как и когда появились на свет, неизбежно являются взору сперва — весь великий и трагический четырнадцатый век, потом, как острие копья или как гребень волны — Куликово поле, и затем среди тьмочисленных лиц тогдашних деятелей высветляется, словно ослепительная точка на острие копья, одно лицо, или, вернее сказать, лик, один человек — Сергий Радонежский.

Еще и то надо сказать, что жизнь Сергия-Варфоломея не укладывается ни в одну из княжеских биографий, ибо в пору его сознательной жизни, в пору, когда он начинал уже влиять на судьбы страны, княжили подряд три московских «государя»: Симеон Иванович Гордый, Иван Иванович, его брат, и Дмитрий Иванович Донской. По всем этим причинам я и предпочел написать сперва о Сергии отдельно (в основном об его юности и начале подвижничества), разумея, что фигура его необходима для понимания всех последующих событий эпохи, и, значит, книга о нем все-таки должна входить как обязательное звено в серию «Государей московских».

Необычный сюжет требует необычной формы. Пусть же читатели мои не посетуют на элементы древних жанров, использованные мною в заглавии, прологе и в самом художественном повествовании, а также сугубое и даже излишнее, как может показаться при первом взгляде, внимание к церковной идеологии, без чего, однако, книга эта попросту не могла бы состояться.

ПРОЛОГ

Трудно приступать к книге, но к этой книге трудно особенно. И не о том моя печаль, что не знаю многого, не знаю служб и обрядов так, как знали люди того времени, да и вообще не знаю! Не учили нас этому, и—чужое это для нас. До того чужое, словно с другой земли, от непонятного языка и народа неведомого. Как преодолеть расстояние лет и разноту учености теперешней и тогдашней? Как, в самом деле, понять, просто понять всё это: и монастырское уединение, и пост, и воздержание плотское, и горнюю радость в постах и воздержании обретаемую? И светлоту, паче всего светлоту, не унылость, не скорбь, а светлоту несказанную иноческого жития? Как тоску, как истязание, как угнетение телесное мы бы еще и поняли, но как понять радость совершенную, светлую радость тела и духа, отшельниками жизни сей достигаемую? Как понять парение мысли, и — нет, не мысли даже, а чего-то высшего мысли, что струилось окрест, на прочих, на простых людей (таких, наверно, каковы и мы сейчас) и согревало, и укрепляло, и подымало душевные силы всех этих прочих, «простецов», на подвиги и на труд ежедневный, на то, чтобы жить творя и не разувериться в жизни сей.

Как же мне постигнуть тебя, Сергий, отче! Дай, Господи, обрести силы для задуманного днесь труда! Это не предисловие, это молитва. Дай, Боже Господи, мне, человеку неверующей эпохи, описать человека верующего! Дай, Господи, мне, грешному и земному, описать человека неземного и безгрешного. Дай, Боже, совершиться чуду! Ибо это подлинное чудо: суметь описать человека, столь и во всем и по всему высшего, чем я сам, человека, на такой высоте стоящего, что и поглядеть на него раз — уже закружится голова. Дай мне, Господи, поверить, а ведь я не верю, ничему не верю, что было с ним чудесного и чем был он сам. Не верю, но знаю, что был он, и был такой, и даже лучший, чем тот, что описан в «Житиях», ибо даже и в житиях не видно его дел духовных, его непрестанных дум, не видно света, исходящего от него, а лишь то, что освещал он светом своим. Видны плоды произросшие, и не видно, не дано увидеть творения плодов.

Дай, Боже Господи, свершить невозможное! Дай прикоснуться благодати, дай прикоснуться хотя бы края одежды его! Ибо в нем — Свет, в нем — Вера, в нем и из него — моя Родина.

Глава 1

Варфоломей Кириллович (в иночестве Сергий) родился в Ростове, в боярской семье, с годами сильно обедневшей и перебравшейся в конце концов в пределы Московского княжества, в городок Радонеж.

О датах жизни Сергия-Варфоломея ученые спорят до сих пор.

Мы знаем год, месяц и число его смерти. Торжественная и скорбная эта дата — лета 1392-го, сентября в 25 день — отмечена не только в житии, но и в государственных летописных сводах. Времени рождения Сергия первый биограф и младший современник его, Епифаний Премудрый, однако, не называет, сообщая только, что родился святой «...в княжение великое тверского великого князя Димитрия Михайловича, при архиепископе преосвященном Петре, митрополите всея Руси, егда рать Ахмылова была». Не верить этому подробному свидетельству у нас нет оснований. Кстати, такие вот привязки — при ком, в пору какого события — помнятся лучше, чем собственно годы. Князь же Дмитрий Грозные Очи вокняжился в 1322 году (и убит в Орде в 1325 г.), святой Петр умер в 1326 году, но Ахмылова рать — это 1322 год.

«Жития» сообщают и другие даты жизни Сергия, а именно, что прожил он 78 лет; что постригся 23 лет от роду, после старшего брата, Стефана; что Стефан вскоре поступил в столичный Богоявленский монастырь, где познакомился с будущим митрополитом Алексием, с

которым вместе они пели на клиросе; (с 1340 года Алексий назначен наместником митрополита Феогноста); что Сергий, наконец, постриг у себя в монастыре своего племянника, сына Стефанова, коему было всего десять—двенадцать лет от роду. (Зная, что рукоположен в священники и игумены монастыря Сергий был в 1353 году, можно утверждать, что совершилось это не ранее 1354 года.)

Нетрудно увидеть, что все эти данные противоречат друг другу, ибо от Ахмыловой рати до 1392 года прошло не 78, а 70 лет, и что ежели Стефан поступил в монастырь Богоявления в 1340 году (год назначения Алексия наместником, после чего Алексий, полагают исследователи, должен был обязательно переехать во Владимир), а монахом Стефан стал по крайней мере за год до того, то сыну Стефанову в 1354 году не могло быть менее пятнадцати—шестнадцати лет.

Вот эти-то противоречия и смущают исследователей. Голубинский, например, считает годом рождения Сергия 1314-й. Другие дату рождения святого относят к 1318-му, к 1319-му или к 1320-му годам. (Последняя дата нынче возобладала, как самая истинная.) Почему же точное указание «Жития» на Ахмылову рать и вокняжение Дмитрия Грозные Очи не принимаются во внимание?

Смущает всех пресловутое утверждение, что в год смерти Сергию было 78 лет. (Кстати, неясно, принадлежит это указание Епифанию или позднейшему биографу святого, Пахомию Сербу?) Голубинский ничтоже сумняшеся так и расчел: 1392 — 78 = 1314. Но что вернее? Память о страшной Ахмыловой рати, когда был спален дотла город Ярославль и та же участь угрожала Ростову, и ясное указание, что то было при княжении Дмитрия, или эта математическая выкладка от числа лет, сообщенного... кем? Ошибиться мог даже и сам Сергий: в старости часто путают свои годы, тем более — прочие. Стефан Кириллович мог и прибавить лет покойному младшему брату, чтобы хоть тем пояснить как-нибудь главенство его над собою, некогда вылившееся в ссору братьев, едва не ставшую роковой для судьбы Троицкой обители... Допустим, что Епифаний сам высчитывал, и составлял, и ошибался, — ошибся же он в определении патриаршества Каллиста! Но то — Царьград. Относительно княжения Дмитрия уже ошибиться было бы трудно, и вот почему: в 1314-м и вплоть до 1318 года княжил Михаил Тверской. Великий святой, замученный в Орде и посмертно канонизированный князь, чтимый всюду, даже и на Москве, и вот уж тут ошибиться было бы никак нельзя! Но нет, не при Михаиле святом, а при его сыне, Дмитрии! Так отпадает 1314 год. И опять же: «тогда Ахмылова рать была». Это уж точно, это изустная нерасторжимая связь памяти — именно тогда! Тревога, растерянность, возможное бегство, ужас едва не свершившегося разоренья града Ростова и — роды. Именно тогда! А это — 1322 год.

Но Сергий постригся двадцати трех лет и монашествовал пятьдесят пять... А почему пятьдесят пять? Да очень просто: 78 — 23 = 55. А ежели эти две цифры — 23 и 55 — опять же взяты простым математическим расчетом? В некоторых житиях, разысканных историком Тихомировым, есть свидетельства, что Сергий постригся двадцати лет, а прожил 70, а не 78.

Наконец, нельзя ли допустить и простой ошибки писца (может быть, и самого Пахомия Серба!), который слова «семидесяти», написанные буквами (ō и), принял за 78-ми, ибо буква «и» под титлом и означает восемь?

Будем же больше верить предметной силе памяти, чем отвлеченному числу, появившемуся, повторим, неясно как и разноречащему с фактологическими указаниями очевидцев.

Почему же, однако, даже отказываясь от 1314 года и сдвигая дату рождения Сергия к более позднему времени, ученые все же избегают называть 1322 год, год Ахмыловой рати? Всех, по-видимому, ос-

танавливает тут вторая «опорная» дата — 1340 год, год начала наместничества Алексия, год, после коего, по утверждению историков, он уже не мог бы познакомиться со Стефаном.

Однако вот перед нами исчерпывающее исследование С. Б. Веселовского: «Землевладение митрополичьего дома». Автор устанавливает, что земли митрополитам русским были даны в основном во время правлений Феогноста и Алексия, и что земли располагались как раз под Москвой. (Главный массив — Селецкая волость, управлять которой из Владимира было бы затруднительно.) Знаем мы также, что, уже став митрополитом, Алексий все равно проживал то в Москве, то в Переяславле. Знаем и то, что в последние годы своей жизни Калита строит каменный храм в Богоявленском монастыре, а в самом Кремле воздвигает как бы подворье того же Богоявленского монастыря. Нетрудно понять, что то и другое делалось не просто так и не в память прежде бывшего пребывания Алексия, а имело смысл именно потому, что, и став наместником, и будучи митрополитом, Алексий по-прежнему продолжал бо́льшую часть времени находиться в Москве. А находясь в Москве, Алексию естественно было жить в «своем» монастыре Богоявления и... петь в хоре на своем обычном месте! (В церковных хорах не зазорно было петь в ту пору и великим князьям, тем паче — церковным иерархам. Нелишне напомнить, что недавно опочивший патриарх Алексий также любил петь в церковном хоре, будучи тем не менее патриархом всея Руси!) И, значит, этот предел, 1340 год, отпадает сам собою. И знакомство Стефана с Алексием могло состояться позже. Да и легче было всесильному наместнику митрополита рекомендовать Стефана в игумены Богоявленского монастыря и в духовники великого князя!

Примем же за истину еще одну описательную дату жития, а именно то, что Сергий постриг своего племянника в возрасте 10 — 12 лет, то есть что Стефан пошел в монахи после 1342 года, а Варфоломей — на двадцать третьем году и постригся в лето 1345-е, каковую дату надо считать одновременно и датой основания Троице-Сергиевой лавры. И все становится на свои места. Отпадает необходимость нагромождать в единый, 1340 год массу событий (смерть родителей и уход в монастырь обоих братьев, что, кстати, противоречит самому житию!), отпадают и многие другие натяжки и недоумения...

Почему я пишу об этом, да еще не в послесловии, а в самом начале своей книги? Для жизни духа, для «высокой» биографии Сергия эта разница в несколько лет действительно не важна. Но для нас, земных, и для земной канвы событий далекого прошлого это все-таки нужно установить, ибо прах, к коему подходит и поныне долгая вереница верующих, чтобы через стекло прикоснуться к мощам святого,— прах этот был живым, земным человеком, и жил он среди нас, прочих, среди земных и грешных людей, и пишем мы здесь не небылое, а бывшее, и до́лжно, и приходит нам выяснять всю эту мелкоту земного, ныне уже далекого от нас бытия.

* * *

Итак, четырнадцатый век, 1322 год. Позади по крайней мере двукратное разорение Ростовской земли в московско-тверских бранях; гибель Михаила Ярославича Тверского в Орде; глады и моровые поветрия; краткое и весьма тяжкое для русской земли княжение Юрия Московского... И вот Ростов. Большой каменный собор (слегка перестроенный, он и поныне стоит в Ростове, на площади перед Кремлем, удивляя и подиесь статью и размахом архитектурного замысла), древ-

ний собор, воздвигнутый еще до татарского разорения, в годы наивысшего величия ростовской земли, когда она еще дерзала стать во главе Руси Владимирской. Но — не сбылось. Не створилось. Капризный извив событий отбросил древний град со столбовой дороги истории, и уже началось медленное угасание Ростова, но все еще многолюден и славен ученостью, и велик древний город, и все еще каменное узорочье (позже сбитое) обвивает лентою стены собора: и львы, и грифоны, и крылатые херувимы, и перевить каменной рези, и узорчатые паникадила и хоросы украшают собор; и краснокирпичный дворец князя Константина (ныне исчезнувший без следа) супротив собора, невдали от озерной шири, все еще вздымается островерхими чешуйчатыми кровлями; и храмы, и монастыри, и море бревенчатых хором в резьбе и росписи; и шум, и кишение толпы, и крики зазывал в рядах торговых...

Так вот, в 1322 году, или, вернее, в самом конце 1321-го, незадолго до Ахмыловой рати, в ростовском соборе, во время литургии, произошло событие (позже занесенное в «Жития» как чудо), значительно повлиявшее на будущую судьбу еще не рожденного отрока Варфоломея. С него, с этого события, мы и начнем наш рассказ.

Глава 2

Однако, чтобы объяснить и саму ту «Ахмылову рать», как и злоключения родителей будущего Сергия, боярина Кирилла и его жены Марии, должны мы отступить назад во времени, и намного отступить, поболее, чем за столетие, в преждебывшую судьбу Ростовской земли, судьбу, которая как-то все не состаивалась да не состаивалась, да так и не состоялась совсем.

А град Ростов Великий был, между тем, древнейшим градом Залесья, всей этой огромной, холмистой, утонувшей в лесах и еще очень и очень необжитой «украины», которую позже назовут Залесской или Суздальской Русью, а еще спустя — Владимирским великим княжеством. Но еще не было ни Владимира, ни Суздаля, и не хлынули еще с юга новые насельники, распахавшие Ополье и наставившие городов по крутоярам рек, а Ростов Великий уже стоял — как Киев, как Полоцк, как Новгород,— и был прозван «великим» не просто так, не красного слова ради и не из пустой выхвалы, великим и был. И епископия учредилась ростовская, и была она старейшей и паче других уважаемой в Залесской земле, и храмы воздвигнулись, и мудрость книжная процвела, и православная вера в жестокой борьбе с языческим идолослужением паче всего воссияла именно здесь. (Сказывают и доныне, как идол языческого бога Велеса, сотворенный из камени многоцветного, уходил, в грозе и буре, от дворца Константинова на окраину города, в Велесов конец. Великая гроза зажгла град и капище древнего бога, он же сам вышел из капища и пошел по брегу. Пылали и рушились хоромы окрест, а озеро кипело у его ног, выбрасывая на берег снулую рыбу.) И как некогда в матерь городов русских, в Киев, стремились ученые люди, взыскующие света книжной мудрости, так ныне в Ростов ехали и шли книгочеи, жаждавшие света знаний... Но как-то так пошло потом, что возник и усилился хлебный Суздаль, а там и Владимир на Клязьме, основанный Владимиром Мономахом во имя свое, и сей град, младший пригород Ростову, скоро обогнал родителя своего, и уже и стол великокняжеский перешел туда, и стала меркнуть слава древнейшего города...

Старший сын князя Всеволода Большое Гнездо, Константин, восхотел воротить Ростову главенство в земле Владимирской. Сел тут на княжение, не подчинясь воле родителя своего, а в 1216 году, в грозной сече на Липице наголову разбив соединенные рати младших братьев, вернул себе отторгнутый у него по прихоти престарелого отца великий стол.

И что бы тут не процвесть вновь Ростову? Увы! Всего через два года Константин умер, не успев ни укрепить отчину, ни сломить волю доброхотов брата Юрия, ни вырастить юных наследников своих, коих оставил почти детьми, заповедав им ходить в воле дяди и своего ворога, Юрия... Так и вновь не состроилась судьба града Ростова.

Был Константин высок, породист, храбр и талантлив к рати, и многомыслен. О библиотеке его, огромной, поражающей воображение, в тысячу книг! — поминали, слагали легенды по всей Руси еще долгие годы спустя, даже и после Батыева погрома...

Теперь, когда прошли века и угасли былые страсти, спросили все же: почему Константин не исполнил воли родительской, не сел на столе во Владимире, и тем обрек свой род на медленное угасание, почему он так упорно держался Ростова, главенствующая судьба коего была уже позади, в невозвратном, хотя и славном далеке далеком прошедших лет? Не соблазнило ли князя-книгочея обаяние древней культуры, не книжною ли мечтою вдохновился он, философ и воин, упорно цепляясь за ветшающий ростовский стол?

Уходящая культура, даже и потеряв жизненную силу свою, еще долго хранит очарование былой красоты, пленяет тайной прошлого величия своего, словно гаснущий свет солнца, что в последний, предсмертный миг горячим багрецом зажигает рудовые бревна костров, делает огненными бока гнедых коней и произительно-зеленой траву на склонах... Но солнце закатит за окоем, и все земное потонет в сумраке ночи, и очарование гаснущей культуры прейдет, как вечерний солнечный свет, раздробясь в скрытые под наносной землею мертвые черепки, навсегда лишенные духа живого.

Старший сын Константина, Василько, доблестно и бесцельно погиб в споре с Ордой, защищая безнадежное дело дяди Юрия. (Бесцельно, потому что даже родовой город Василька, Ростов, предпочел без бою сдаться победителю.) Схваченный татарами у Шеренского леса Василько, из гордости, не восхотел поклониться Батыю, и был повешен за ребро, тут и погиб, смертную чашу испив. А был он красив, храбр, хлебосолен, ясен и грозен взором, и женат был, казалось, счастливо: на дочери всесильного тогда Михаила Черниговского (позже убитого в Орде и причтенного к лику святых ради мученической кончины своей). Василько и сына успел оставить по себе, и сыну оставил Ростов, по счастью не разоренный татарами.

Почто бы и тут, даже и уступив граду Владимиру, даже и после Батыева нахождения, не подняться Ростовской земле? Лежала она — тот удел, что заповедал и передал детям князь Константин, — на Волге, от Углича до Ярославля, и, переплеснувши в Заволжье, далеко уходила на Север, к самому Белоозеру (и град тот древний такожде принадлежал Ростову), в места глухие, необжитые, богатые зверем, рыбой и всяким иным обилием. Было куда расти, было где и укрыться от иных гостей непрошеных, было куда ходить дружинам, было где и пахать нивы, сеять хлеб, ставить села, рубить города. Да ведь именно туда, к северу, шагнула Русь, прежде чем, укрепившись в череде веков, обратным всплеском излиться в татарские степи! Но ни князья, ни бояре ростовские не нашли в себе сил для многотрудного и долгого деяния — освоения новых земель на Севере. (Так же, как не нашли в себе сил для защиты града Ростова от нахождения Батыева.)

Дети Константина поделили отцову отчину на три части. Васильку достался Ростов с Белоозером, Всеволоду — Ярославль, младшему, Владимиру,—Углич. Углич позднее, за бездетностью своего князя, воротился в волость Ростовскую. Иная судьба постигла Ярославль.

Тут тоже, на детях Всеволода, прекратилось мужское потомство, и Ярославский удел должен был воротиться Ростову. Оставалась там властная вдова Всеволода, Марина, дочь Олега Святославича Курского, княгиня древних кровей, гордая родословием и прежнею славой, с трехлетнею внучкой на руках, Марией, Машей. И Машину ли судьбу, судьбу ли земли решая,— а паче всего вопреки ближайшей ростовской родне, отыскала Марина Ольговна стороннего жениха для подросшей Маши, смоленского князька, Федора Ростиславича Чермного, молодого красавца и честолюбца, отодвинутого братьями на маленький Можайский удел. Ему и досталась девочка-жена с городом Ярославлем в придачу.

О чем думала, на что надеялась престарелая Марина? Позже (слишком поздно уже!) пыталась отделаться она от смоленского зятя, затворив перед ним ворота Ярославля и объявив князем сына Маши и Федора, отрока Михаила... Тщетно! За плечами Федора Чермного уже стояла неодолимая помочь Орды. Прожив несколько лет в Сарае, он успел очаровать дочь самого хана ордынского, Менгу-Тимура, и женился на ней, как осторожно сообщает предание: «после смерти первой жены» — Маши. Кончилось тем, чем и должно было окончиться. Федор, как кукушонок в чужом гнезде, уморив сына-соперника и приведя татарскую жену, начал свой, новый род ярославских князей, навек оторвав богатый Ярославль от обширного Ростовского княжения...

Ростовский дом, до смерти своей в 1217 году, вела вдова Василька, Мария Михайловна, дочь замученного черниговского князя. Изящная, подсушенная временем, «вожеватая», с древнею родословной, еще более породистая, чем Марина Ольговна, гордая мученическим ореолом отца (а был Михаил при жизни и лих, и нравен, и тяжек зело!). Все силы потратила она, чтобы поддерживать внешнее благолепие и блеск ростовского княжеского дома. А сын, Борис Василькович, мягкий, изящный и слабый духом, навек испуганный убийством деда в Орде, на то только и годился, чтобы радушно и хлебосольно принимать знатных гостей. Второй сын, Глеб, был посажен на Белоозере. Оба умерли, не свершив ничего значительного и оставив внуков-двоюродников: Дмитрия с Константином Борисовичей и Михаила Глебовича.

Дмитрий ездил по городу на сером коне, леденя глазами встречных смердов, и ждал своего часа. Порода сказалась и тут, в безумной и хрупкой гордости, в презрении к горожанам, к «черной кости», в бессилии, прикрываемом высокомерием, в трусости, когда доходило до настоящего дела...

Умерла Мария Михайловна, и братья тут же рассорились. Дмитрий Борисович в 1279 году поотнимал у Михаила Глебовича села «со грехом и неправдой великою», а в 1281 году пришел черед и Константину бежать и жаловаться на старшего брата великому князю Дмитрию. Разномыслие, как видно, разъедало и боярство ростовское. Некому было прекратить свары своих князей, некому властно призвать к единому, «соборному» делу...

В 1285 году умер, не оставя потомства, углицкий князь Роман. Углич воротился в Ростовскую волость. И что же? Дмитрий Борисович тотчас затеял дележ волости по жребию (!) с родным братом Константином, и — по жребию — потерял Ростов, а потом долго и трудно возвращал его себе. Словно бы сам хлопотал о скорейшем умалении древнего ростовского дома!

В этих дележах, переделах и спорах, во взаимной грызне да в метаниях между двумя сыновьями Александра Невского, тягавшимися

о великом столе, прошла-прокатила впустую вся его жизнь. Старший внук Василька, он умер в 1294 году, не оставя даже и сына.

Константин пережил его на тринадцать лет, проявив все пороки своего старшего брата. Сев на стол, он тотчас рассорился с владыкой и тоже продолжал метаться, заигрывать с Ордой, Москвою и Тверью, постоянно попадая впросак. Он умер в 1307 году, оставив сына Василия, а Василий Константинович скончался в 1316-м, в свою очередь оставя двух сыновей, Федора и Константина, вскоре поделивших даже и город Ростов на две части... Так шло умаление Ростовской земли.

Видимо, была в древней крови черниговских и курских Рюриковичей какая-то отрава, что-то, помешавшее им жить и держаться друг за друга. Дети Данилы Московского ссорились до ярости и отъездов в Тверь, а отчины не делили, наоборот, деятельно приращивали совокупные земли Москвы.

На споры в своей семье силы уходят те же! Если бы Дмитрий Борисович вместо того, чтобы, «со грехом и неправдою», отнимать села у брата, занялся освоением северных палестин (куда шли и шли насельники из Ростовской волости!), подчинил себе ту же Вологодчину, ту же Вагу с Кокшеньгой, опередив и потеснив новогородцев (а люди шли именно туда, и даже появлялись там, на Ваге и на Кокшеньге, «ростовские» волости!), неизвестно еще, куда и как поворотило бы судьбу Ростовской земли!

Но так вот всегда и наступает упадок. Со слабости. С потери предприимчивости. Со ссор между своими. С распада, ослабления кровных связей, когда в единой доселе семье начинаются свары, дележ накопленного предками вместо новых приращений, взаимное нелюбие вместо взаимопомощи... И вот свои становятся дальше, чем чужие, и уже оборотистые дельцы из иных земель облепляют позабывшего о подданных своих князя, уже братья вручают родовое добро черт знает кому, лишь бы не досталось своим.

Единство — семьи, сообщества, племени, — вот то, что держит и съединяет и пасет языки и народы. Единство древних монгол позволило им с ничтожными силами покорить едва не весь мир. И не потому была спасена Европа, что ее закрыла собой «издыхающая Россия», или горы Карпатские, или мужество горцев, а потому, что двоюродные братья Батыя на́смерть рассорились с ним и увели свои тумены назад, в монгольскую степь. И не варвары с громом опрокинули Римскую империю, а сами последние римляне в дикой междоусобной борьбе вырезали друг друга. Подобно тому и Византия погибла в спорах и раздорах своих басилевсов, не оставивших сил для обороны от внешнего врага.

Да что там Византия и римляне! Сравни, в простой крестьянской семье, как дружно, помочью, строят дом своему родичу, пашут поле или секут лес, и как, в иную пору, озлобленные родичи делят половины и четверти того дома, судятся за колодец и три яблони в саду, растрачивая при этом талант и силы, коих хватило бы с избытком на возведение заново не одной, а трех подобных же усадеб!

Сами себя! Всегда сами себя! Народ, единый в массе своей, неодолим. Или уж навалит вражьей силы тысячу на одного, да и тогда единый в себе народ найдет силы выстоять и устоять. Не в таком ли числе: «един с тысячью и два с тьмою», схватывались древние хунны с Китаем, и — побеждали!

Уважают ли, чтят ли дети отца и матерь своих? Дружно ли собираются родичи на помочь своему кровнику? Продолжают ли потомки дело отцов? Продолжают, помогают, держат — тогда жив народ и все сущее в нем. А с малого, с развала семьи, распадается и племя, породившее эту семью и людей этих...

Глава 3

Виноват ли был боярин Кирилл, что в тщетном стремлении поддержать ростовскую княжескую династию он рушился вместе с нею? Что, упрямо спасая Константина Борисовича, не считал имения своего, что, приняв буквально на руки Василия Константиновича, он видел от того один лишь раззор и неблагодарность. Не слушая своего боярина, Василий Константинович переметнулся было от Михайлы Тверского к Юрию Московскому, и приведенные Юрием послы ордынские, Казанчий с Сабанчием, жестоко пограбили Ростов, а с Ростовом заодно и загородное имение Кирилла.

Василий Константинович умер на двадцать пятом году жизни от морской болезни, запутав донельзя свои и Кирилловы дела, и тут на ростовский стол сел углицкий двоюродник, Юрий Александрович, пятнадцатилетний мальчик, и именно при нем в 1318 году явился «посол лют именем Кочка», ограбил Ростов, разорил и ободрал Успенскую церковь, пожег монастыри и окрестные села, спалив дотла усадьбу Кирилла, из которой татары подчистую вывезли все добро и скот, оставив одно погорелое место.

Мы сейчас почти не понимаем, что значили богатство и богатый человек в те века, ибо о богатстве судим по условиям дня нынешнего, когда деньги приходят в виде зарплаты или лежат на книжке, то есть поддержаны и обеспечены могущественным аппаратом государства, устроением, начала и концы коего неизвестны для нас, так, будто уже оно и само по себе существует. В лучшем случае мы представляем богатство по условиям дворянской жизни XIX столетия, той, с картами, псовою охотой и проматыванием имений... И великая истина, что богатство создается трудом и что чем больше человек работает, тем он богаче, и наоборот, чем он больше имеет богатства, добра, «собины», тем больше обязан работать, чтобы его сохранить,— великая эта истина, верная, в глубинной сути своей, несмотря на все иллюзорные ее искажения, для всех времен и народов, почти недоступна уже нашему сознанию. К слову сказать, получив от Екатерины указ «о вольности дворянства», то есть о праве жить, не служа в армии, а значит, не работая, дворяне наши, несмотря на отчаянные усилия лучших своих представителей, за полвека прожили, промотали и утеряли всё нажитое их предками за шесть предшествующих столетий, и реформа 1861 года, по сути, покончила с дворянством, разрушив саму систему поместий, «земель со крестьяны»... Ну, а как купеческие сынки умели за считанные годы спускать миллионные отцовские состояния, мы знаем из литературы того же XIX века достаточно хорошо.

В те же, далекие от нас века, когда всеохватывающей бюрократической государственной системы еще вообще не существовало, в те века отнюдь не просто было быть богатым и удерживать, и передавать детям богатства свои.

Боярин Кирилл был «нарочит», великий муж в Ростовской земле. Но что это значило? В чем состояло оно, это богатство? В родовых именьях (напомним, без крепостного права!), в оружии, стадах, портах и прочей «рухляди», в дружине, наконец. Но за стадами нужен уход, оружие имеет силу только в руках ратников, а ратных, дружину, нужно кормить, и кормить хорошо. Чем значительнее был боярин, тем большее число зависимых от него людей кормилось от его стола. И выгнать, уменьшить число их было подчас просто невозможно. А служба князю? Она заключалась в делах посольских (а ездили за свой кошт!), в военной помочи (а приводили своих ратных, и оборужали их сами!), в управлении — ну, тут, на «кормлении», то есть управлении какой-то областью, можно было получить причитающиеся по закону «кормы», которые опять же шли на содержание дружины, слуг,

посельских, ключников, и прочая, и прочая. А ежели земля была разорена, взять с нее что-то было отчаянно трудно (крестьянин не был крепостным, напомним еще раз! И волен был уйти на все четыре стороны), а дружину, всех даньщиков, вирников и прочих — корми! И ежели князь разорен, то одарить боярина за ту же поездку в Орду совместно с князем он не может. А поездки в Орду — сущее разорение! Там каждому татарину дай по приносу, да и стоимость тогдашних переездов нам даже не представить себе: целый поезд людей, коней, дружины, возы с припасом, лопотью, серебро, серебро, серебро — не то не доедешь и до места... А ездить со князем своим надобно все равно. Не откажешься, ежели ты «муж нарочит» и один из ближайших бояр своего господина...

Малолетних князей ростовских Кирилл жалел. Понимал и отводил глаза, видя жалкую улыбку, с коей Федор Васильевич, вместо серебра и добра, награждал своего слугу все новыми обещаниями в грядущем не забыть... Князь был нищ. Куда уплыли сокровища, собиравшиеся столь упорно предками, он не знал и сам хорошенько. Задерживались дани Орде. Дело шло к тому, что московский князь вот-вот наложит руку на Ростов, без бою-драки-кроволития, а просто так вот: возьмет и съест. И боярин Кирилл нищал вместе со своими князьями. Нищал еще страшнее, ибо князь, даже разоренный дотла, все одно имеет право на княжеские «кормы» и дани со своего княжества, а разорившийся боярин, теряя добро и земли, теряет все, и может решительно опуститься по социальной лестнице до служилых дворян, до городовых «детей боярских», до холопов даже, и даже до крестьян. И путь этот, безоглядный путь вниз, боярину Кириллу, как виделось ясней и яснее, был уже как бы предопределен судьбой.

Глава 4

Юрий Александрович, очередной князь-малолеток, наделавший новой беды Кириллу, умер в лето 1320-е, на восемнадцатом году жизни, освободив стол для малолетних детей Василия Константиновича... И вот город, сделавшийся столпом учености Владимирской Руси, погибал. Погибал без бою и славы, в которых князей и боярских несогласиях, в наездах послов, в оскудении, причины коего — увы! — гнездились прежде всего в самих князьях ростовских, что «мальчали и исшаивали», когда рядом слагались княжества и росли, бурля и перераспределяясь, глубинные силы новой Руси.

За сварами и ссорами не разглядели, не учуяли князья, да и бояре ростовские, того, грозного, что творилось на Руси и в Орде в эту пору.

Сыновья Невского, Дмитрий с Андреем, заливали землю кровью, но спор шел не о малом. Великое княжение, а с ним вся северная Русь, лежали на чаше весов и должны были достаться победителю. Дети Невского властно простирали руки к Великому Новгороду, налагали длань на целые княжества, приобретали, захватывали, но не делили! Ростовские князья ссорились по-мелкому и не увидели, как с принятием мусульманства Узбеком, с победою «бесермен», страшно закачались русско-ордынские весы. Не поняли трагической сути падения Михаила Тверского. Не учуяли, что дело шло к Куликову полю — к Куликову полю дело шло! Этого не увидели, не поняли в Ростове, хотя тут-то и должны бы были и обязаны были понять прежде прочих! И потому, век приспособляясь, даже и приспособиться не смогли к тому новому, что начало наползать на Русь с воцареньем Узбековым.

Кирилл был в числе немногих, понимавших,— потому и настаивал, чтобы Ростов держался Твери и великого князя Михаила,— но что он один мог?! Прочим, казалось, пример Федора Чермного,— едва не захватившего, вместе с Ярославлем, Смоленское и Переяславское кня-

жества,— навечно вскружил головы. Изо всех сил подружиться, покумиться с Ордой! Вопреки своему же народу! Милостью хана усидеть на столе! И не узрели, что даже у покойного Федора Чермного не получилось, да и получиться не могло, ибо вне морали нет и не может быть успешной политики на Руси! И не видели, не ведали, что Орда уже не та совсем, и союз с ханом, премудро устроенный некогда Александром Невским, перестал быть возможен теперь, когда победили воинствующие бесермены, объявившие Русь «райей», податным бесправным скотом, обреченным на позор и уничтожение. И начались «послы»...

А было допрежь того так: сидел в каждом городе баскак татарский, без войска и особых прав, и надзирал за князем — исправно ли тот вносит дань татарскую, не злоумышляет ли чего? А князь дарил баскака подарками, а мог и нажаловаться на него в Орду. И баскак предпочитал не ссориться с князем, на иное закрывал глаза сам, на другое закрывал ему глаза князь дареными соболями... А тут не стало баскаков, начались «послы».

Посол приходил лишь раз, он был чужой князю и был заинтересован в одном — взять! Взять так, чтобы другим не досталось. Жаловаться не будут, а и будут — попусту: «райя», скот! И поступать можно как со скотом. И каждый посол свирепствовал, как мог, и наживался, как мог. Летопись сохранила нам от тех лет, с 1314 года начиная, целый мортиролог ограбленных и сожженых городов, сожженных не ратным нахождением, а — послами! В лучшем случае обходились без огня, а так: приходил в 1321 году из Орды в Кашин посол, «татарин Таянчар с жидовином должником, и много тягости учинил Кашину». А Кашин был город немалый, второй по значению в тверской земле, и учинить ему многую тягость, значило — разграбить дочиста.

И так уж получалось, что сильные князья умели, задаривая хана, отделаться от послов, и потому разорялись послами грады поменьше и княжества послабее. А те, кто умел ладить с Ордою, как Юрий Московский, еще и сводили руками послов счеты с соперниками своими.

И явно, не без чужого наущения посол Ахмыл, в 1322 году пришедший из Орды с московским князем Иваном Данилычем, взял и сжег Ярославль, после чего готовил такую же участь Ростовской земле и граду Ростову.

Город спасло прошлое, опять прошлое! Спасли нити традиций, которые рвутся далеко не сразу и не вдруг даже и в величайших катаклизмах истории. Райя райей, а старинные связи было порушить не просто и татарскому послу. Русская церковь все еще внушала опасливое уважение ордынцам. Давно ли православные епископы в Сарае председательствовали на ханских советах?!

Некогда, еще при Менгу-Тимуре, один из царевичей-чингизидов, придя на Русь, крестился под именем Петра и основал монастырь в Ростовской земле. Этот «ордынский царевич Петр» был посмертно канонизирован, не без дальнего загляду: была надежда (несбывшаяся) на скорое обращение всей Орды в православие. И жил в Ростове правнук святого царевича Петра, Игнатий, уговоривший владыку Ростовского, Прохора, встретить Ахмыла крестным ходом, поднеся ему «тешь царскую»: кречетов, соколов, шубы и прочие дары. Да тут еще сын Ахмылов заболел глазами на Ярославле, и владыке ростовскому удалось его исцелить. И Ахмыл, послушавши Игнатия,— как он сам сказал: «цареву кость, татарское племя»,— укротил нрав, остановил грабежи ростовской волости и не тронул, не стал жечь самого города...

Это-то и была та самая «Ахмылова рать», память о которой связалась с рождением отрока Варфоломея.

Глава 5

И вот первое, во что я, человек двадцатого века, смущаюсь поверить: чудо, бывшее еще до рождения Сергия. Когда в церкви, во время литургии, троекратно послышался детский крик из материнской утробы, крик ребенка, еще не рожденного, будущего Варфоломея, в иночестве Сергия, по месту исхода его прозванного Радонежским.

Крик является с дыханием, младенец же в утробе матери еще не дышит, следовательно, не может и закричать. В это-то противоречие и утыкается мой слабый ум. Было? Не было? Но ведь было! Ибо не легенда, сочиненная позже, а настойчиво повторяемый, во всю жизнь Сергия, рассказ. Событие, доставившее много беспокойства и родителям его, заботно, не раз и не два и у разных людей выспрашивавших — к чему такое? И что означает, и о чем повествует, не к худу ли? И каков будет этот ребенок, какой судьбой наградит его Господь?

И вот, я стремлюсь найти «научное», то есть современное объяснение... о, суета суе́т! Да разве научное объяснение что-нибудь изменит в его жизни, в том, что было, о чем говорили и во что верили люди той поры... Да и вообще, что значит «было»? Был крик, троекратный детский крик из утробы беременной, возможно, на последнем месяцу, боярыни, крик в церкви во время литургии, и бабам, обступившим ее после службы, отвечено было со стеснением и опусканием очей, что младенца нигде не прячет, что он еще там, во чреве... А я буду сейчас добиваться — мог ли нерожденный прокричать? Да разве в этом дело?! И — дадим уж себе волю и на это, дадим волю на «объяснение», ибо без того не можем, не умеем помыслить иначе. Мог же быть любой непроизвольный «чревный» крик у женщины на сносях, в полной народу церкви, да на последнем месяцу, да после двух-трехчасового стояния, да, возможно, в духоте, в полуобморочном состоянии, возможно, в состоянии полубредовом, экстатическом, когда самой уже кажется, что то́ кричит ребенок во чреве... Ну, хоть так объясним! Хотя — зачем? Зачем нам всегда эти научные объяснения или опровержения чудес? Верим же мы без объяснений и без опыта, и не понимая того совершенно, в чудеса современной механической цивилизации, и довольно нам, что кто-то там видел, кто-то понял и объяснил. Лишь бы сами сделали, сами люди. Ну, а тогда, прежде, верили природе. И непонятное, неясное уму называли чудом. Страшусь сказать, но выскажу все же и такое предположение: а что, ежели наш механический век не все понял, не все постиг, а вдруг да не все тайны бесконечной и бесконечно изменчивой вселенной ясны нам, нашему сегодняшнему сознанию? Сколько в самом деле высокого духовного мужества и высокого стояния ума потребовалось англичанину Вильяму Шекспиру (человеку самого начала современной технической цивилизации!) для того, чтобы разорвать этот порочный круг мысли: «Если неизвестно нам и нами не объяснено, значит, не существует»,— разорвать и бросить в лицо гордым современникам, и в лица грядущим, еще более гордым, и в ограниченности гордыни своей еще более спесивым потомкам бросить вещие слова истинного прозрения: «И в небе и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости». (В старом, более известном переводе это звучит так: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».)

Так вот, не будем всё же добиваться, чтобы современная медицина объясняла все чудеса средних веков. Она будет стараться объяснить их, как объясняем мы ход истории в каждый век по-своему, и в каждый век по-разному! Но как история все-таки была... Не важно, из гордости, мужской ли обиды или по «экономическим соображениям», но, скажем, древние греки отправились-таки под Трою, и сложили там свои головы, и пели потом героические песни-сказания о великой войне с

Приамом, и песни эти были записаны, и дошли до нас, и вся запутанность Гомеровского вопроса не отменяет наличия «Илиады» и «Одиссеи»... Так вот, то, что было, — было, и был троекратный младенческий крик в церкви, во время литургии, в Ростовском соборе, в первой четверти великого четырнадцатого столетия...

. . . .

Беременная Мария стояла в притворе. Когда за проскомидией (приготовлением святых даров в алтаре), после пения «трисвятого» («Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас!») хотели начать честь Евангелие, ребенок внезапно завопил в утробе. Она охватила живот руками, стояла ни жива ни мертва. Вторично, уже когда начали петь херувимскую песнь: «Иже херувимы...» — младенец вновь внезапно заверещал на всю церковь. И в третий раз возопил, когда иерей возгласил: «Вонмем святая святым».

Тут уж заволновались и все окружающие. Женщины и мужчины стояли тогда в храмах, не смешиваясь, на левой и правой сторонах собора, и потому толпа вокруг Марии была сплошь своя, бабья, настырная и любопытная, и любопытно-бесцеремонная.

Но надо объяснить тут, что же такое литургия? Литургия, или обедня, это главное, основное, ежедневное богослужение православной церкви.

По евангельской легенде в ночь накануне того дня, когда его, по доносу Иуды, схватила стража, чтобы увести на казнь, Иисус, уже прозревавший свой скорый конец, сидя с учениками за позднею трапезой, в задумчивости разломил хлеб, покрошив его в чашу с вином, и, обратясь к ученикам, промолвил:

— Примите, ядите! Сие есть тело мое и кровь моя Нового завета!

Тускло чадили масляные плошки. Двенадцать скитальцев во главе со своим наставником, они ели в задней комнате бедного пригородного дома. Ели не потому, что исполняли обряд, а потому, что были голодны и усталы. Грозно пошумливал невдали, укладываясь спать, великий и гордый город. «О, Иерусалим, — как-то воскликнул Христос. — Ты, побивающий камнями пророков своих!» Испеченный на полу грубый хлеб, да дешевое кислое красное вино, разбавленное водою, да горсть оливок, — о мясе козленка им не приходилось и мечтать! — вот и вся трапеза. И их было мало, так мало в этом чужом и враждебном, гордящемся храмом своим, торговом и шумном городе! Их было только двенадцать человек. Дух отчаяния, дух скорого отречения от учителя своего витал над ними. В этот миг Иуда встал, окутав лицо плащом.

— Что делаешь, делай скорей! — с суровой горечью произнес наставник. Ему уже оставалась только часть ночи: моление о чаше в Гефсиманском саду.

Так ли бестрепетно уведал он о предназначении своем? Так ли спокойно отпустил от себя Иуду? Но сделать уже ничего больше было нельзя. Вскоре, когда сад наполнился стражей, шумом и лязгом оружия, он сам остановил ученика своего, взявшегося было за меч. Отрубленное ухо раба первосвященникова — вот и вся кровь, пролитая за него в Гефсиманском саду. Да, они, ученики, были готовы умереть, сражаясь. Но не это было важно теперь. Важно было — важнейшее. И в этом, важнейшем, они были еще не тверды. «До того, как пропоет петух, ты трижды отречешься от меня», — сказал он Петру, и — не ошибся. В свалке, в толпе, когда ему при желании можно было бы и скрыться, он не пожелал бежать. Иуда подошел и облобызал Христа. Это был условный знак убийцам: «поцелуй Иуды». Учителя схватили. Жертва, кровавая добровольная жертва за други своя, была принесена.

Позднее, припоминая и сопоставляя, постигли уцелевшие ученики грозный смысл Иисусовых слов, сказанных над преломленным хлебом, и поняли, что то был завет на грядущее. Хлеб и вино — тело и кровь. И крест, и мука крестная. Жертва, которую смертный постоянно приносит на алтарь человечества, высшая жертва Создателя Созданию своему. И, собираясь тайно на общие трапезы, стали они с тех пор преломлять хлеб и крошить в багряное вино, смешанное с водою. Дабы не забыть. И укрепиться духом. И не пострашить пред смертною мукою, когда придет роковой час. И во время трапезы знали: не хлеб и вино, а тело и кровь Господа своего вкушают они, чудесно пресуществленные из вина и хлеба, приносимые каждый раз заново и заново на алтарь человечества. И не прекратится жертва, и не оскудеет любовь того, кто смертною мукою указал путь заблудшим чадам своим. И каждый раз, чудесно преображаясь в таинстве евхаристии[1], хлеб превращается в тело, а вино — в кровь Господнюю.

Ученые мужи укажут тут, пожалуй, на элементы древней магии приобщения, свойственные многочисленным языческим культам, а именно — поедание частицы бога (тотема, тотемного животного) с целью получения (перенесения) его свойств на самого себя. Нелишне будет напомнить о принципиальном для древнего человека различении двух магических действий, а именно: обрядового поедания врага, трансформировавшегося в черные дьявольские культы с людоедством, ритуальными убийствами и проч., — и поедания своего бога (хозяина, покровителя), который добровольно отдает себя, свое тело, дабы укрепить своих подопечных, или даже перейти в них, обретя в них новую жизнь. Таким образом, эти два действия, для современного человека вроде бы и схожие, имеют принципиально два противоположных смысла: борьбы-уничтожения, с насильственным подчинением чужой силы, и союза-присоединения, с передачей силы последователям своим. Можно бы проследить названные обряды исторически, найти тьму примеров, когда первоначальный кровавый культ (часто с человеческими жертвоприношениями) с течением веков смягчался; подлинная кровавая жертва заменялась предметом или веществом, только символизирующим ее в обряде... И тут-то мы и подойдем к таинству «преображения» хлеба и вина в тело и кровь Господнюю. Все это и многое другое можно бы, повторяю, высказать здесь, как и про связь (в значительной мере, по противоположности) христианского культа с древнееврейским. Почему Христос в проскомидии и получает название агнца (по аналогии с еврейским пасхальным жертвоприношением: закланием и поеданием ягненка), и многое еще можно бы вспомнить тут, хотя можно и не вспоминать вовсе. Дело в том, что ритуал, культ, никогда и нигде не является рациональным изобретением ученых или жрецов, а всегда и всюду возникает в результате горячей веры-переживания и уверенности в исключительности, для себя, и истинности, в высшем смысле, всякого данного ритуала.

Скажем так: обряды не создаются, а складываются, возникают. И для того, чтобы сложилось, возникло таинство евхаристии, нужна была горяча вера, во-первых, в исключительность, важность самого акта добровольной жертвы Иисуса Христа для духовного спасения своих последователей-христиан; нужна была экстатическая вера в то, что пресуществление в самом деле происходит, и недаром история отмечала множество случаев, когда верующие видели действительно на престоле, в причастной чаше, вместо хлеба — агнца, или даже младенца Христа. То есть для них даже и зрительно, и по ощущению, происходило превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову. Легко понять поэтому, какое экстатическое состояние могло охватывать верующих во время таинства пресуществлениия, в те, уже далекие от нас века, когда вера была живой и грозной, когда религия обнимала и пронизала всю жизнь, когда за принципы, имеющие для нас не больше значения, чем древняя мифология, люди бестрепетно отдавали жизнь, шли

[1] Евхаристия — таинство пресуществления хлеба и вина в истинное тело и кровь Христа. Это основная цель церковной литургии.

на костер и муку, доводя себя в воображении своем до такого состояния, что на ногах и руках у иных сами собою появлялись вполне реальные кровавые язвы — стигматы, — следы гвоздей, коими был некогда прибит Спаситель ко кресту.

Да, впрочем, что говорить? Поставим вопрос иначе, не в плоскости исторических научных исследований, а в другой. Не является ли, во все века истории, для человека высшею ступенью подвига, высшим состоянием, до коего он может подняться в героизме своем, подвиг и состояние жертвенности? И в этом смысле не будут ли вечны и на все века справедливы слова о том, что «никто же большей жертвы не имет, аще отдавый душу за други своя»? Что, — скажем уж до конца, — без этого высокого чувства, без этой готовности отдать себя за других человеческое общество попросту не может существовать, что когда тот или иной человеческий коллектив пронизают идеи своекорыстия, эгоизма, жестокости и насилия, человеческое общество, побежденное ими, скоро гибнет, как бы устроено и могущественно оно ни было. И, — в этом смысле, по крайней мере, — мы можем говорить даже и теперь, и с точки зрения нашего атеистического и материалистического воспитания, что жертвенный подвиг Христа, в пору крушения античного мира, спас человечество от гибели, указав новые идеалы новой жертвенности, новой самоотдачи «за други своя», взамен утраченных античных, и тем самым позволил утерявшему цель и смысл существования обществу вновь обрести для себя и цель, и смысл, и веру, вырастив в недрах умирающего античного мира новые живые побеги юной культуры, охватившей вскоре все Средиземноморье и половину Европы и получившей со временем название культуры христианской.

Скромный обряд, трапеза верных, вспоминающих учителя своего, с течением веков превратился в пышное богослужение, литургию, или, по-русски, обедню (название «обедня» указывает на обычное время совершения ее — до обеда). Явились строгие правила, чтение Апостола и Евангелия, кондаков[2] и тропарей[3], стройное пение антифонов[4] и молитвословий украсили древний обряд. В напряжении духовного творчества первых веков христианства сами собою слагались все более сложные формы литургического действа. Виднейшие отцы церкви, Иоанн Златоуст и Василий Великий, оставили нам свои каноны литургий, ставшие основою православного богослужения. Само литургическое действо обозначало теперь как бы сразу и рождение, и крестную смерть агнца — Христа. Отправлять литургию получил право только пресвитер, священник. (Дьякон уже не имеет права совершать литургию.) Приготовление символической трапезы — проскомидия (разрезание хлеба — вынимание частиц из просфор, приготовление вина и проч.) происходит обязательно в алтаре, на жертвеннике, и совершается священником после обязательного к тому молитвенного приуготовления.

Пока там, в алтаре, происходит приготовление святых даров, в храме находятся молящиеся христиане и те, кто еще не принял крещения, а только готовится к тому, — оглашенные; и начало литургического действия так и называется: «литургия оглашенных». На литургии оглашенных, после великой ектеньи[5], антифонов, пения «трисвятого» и прочих молитвословий, читают отрывки из Евангелия, что символизирует проповедь Христа народу (почему эта часть литургии и открыта

---

[2] Кондак — церковное песнопение, содержащее тему праздника или почитания святого, в честь которого совершается литургия.

[3] Тропарь — молитвенная песнь, выражающая сущность празднуемого священного события или изображающая главные черты жизни и деятельности прославляемого святого.

[4] Антифон — попеременное пение двух хоров, разделенных на два клироса.

[5] Ектенья — слово греческое, означает «прилежное моление»; ряд молитвенных прошений, возглашаемых диаконом или священником от лица всех молящихся.

равно для всех, и христиан, и неверующих). Напомним, что младенец Варфоломей закричал впервые как раз, когда хотели начать честь Евангелие, то есть, по христианской символике, перед проповедью Христа.

После литургии оглашенных начинается главное литургическое действо — «литургия верных». Оглашенных, и вообще всех прочих, кто не причастен к тайне крещения, просят выйти из храма возгласом: «Изыдите, оглашенные». В воспоминание о тех, древних, укромных литургиях, совершаемых во враждебном окружении, втайне от властей, преследовавших христиан, дьякон восклицает: «Двери, двери!»

И вот начинается важнейшая часть обедни — перенесение святых даров с жертвенника на престол. Хор после ектеньи: «Паки и паки миром Господу помолимся» запевает херувимскую песнь: «Иже херувимы тайно образующе, и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. — Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми: аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа». (Здесь говорится об ангелах — невидимых копьеносцах, охраняющих святые дары. Насколько важна эта часть литургии, свидетельствует уже то, что по вопросу: единожды или трижды пропевать в конце херувимской песни «аллилуйа», в XVII столетии начался яростный спор староверческой и никонианской церквей.) Именно в этот торжественный миг Варфоломей прокричал вторично, нарушая пристойность обряда.

Третий крик ребенка раздался уже после самого претворения, перед причастием, когда дьякон возглашает: — «Вонмем!» — А иерей, вознося дары, отвечает ему: — «Святая святым!».

Что означал этот троекратный крик, нарушивший благочиние службы? Был ли то крик радости и веры во время происходившего таинства, или, наоборот, вмешательство злой силы, стремящейся нарушить стройное течение литургии? Ведь еще и так — при желании — можно было повернуть событие!

Бабы окружили смущенную боярыню.

— Покажь ребеночка-то! — требовательно приказывали ей. Под широким боярским опашнем, что скрывал вздетый живот беременной, можно бы было, при желании, и новорожденного спрятать. Еще что нам дивно и что следует объяснить, это женская, бабья бесцеремонность, с коей обступили великую боярыню посадские и купеческие женки. Но тогда, в те века, церковь действительно уравнивала, и тут были все — молящиеся, и все бабы — бабы, и не было лакея с дрожками у паперти, и одежда была похожей (и не было, еще не было крепостного права, того тоже не забудем днесь!). Мы же отравлены воспоминаниями о надругательствах барских над бесправною дворней в восемнадцатом — девятнадцатом столетиях, мы же и боярина представляем в виде барина Пушкинской, или хоть Екатерининской поры, во французском платье, в пудреном парике, с тростью и лакеями за спиной. А этого не было. Еще не было. В церковь шли пешком, все и всегда. Тем паче женщины. Даже и много позже, даже и века спустя (царицы уже!) шли пешком из Москвы в Сергиеву Лавру на поклонение. Шли с толпами молящихся, в одно, так что же говорить про четырнадцатый век!

Бабы теребили, ощипывали даже беременную боярыню:

— Где ребеночек-то? Детский же был крик-от!

А она краснела, тупилась, и повторяла, отпихивая слишком бесцеремонные руки, что нет, не прячет она дитятю где под опашнем, что дитя в ней, в самой, еще не рожденное.. И тут-то чьи-то круглые глаза, кто-то громко охнул, кто-то всплеснул руками:

— Ба-а-абы! Ребеночек-то во утробе прокричал! Анделы! Не простой, видно! Да уж не черт ли тут подводит, не нечистая ли сила со-

Сперва-то, как поднесли, увиделись одни светлые бровки и пухленький ротик, с забавно приподнятою, жаждущей материнского соска верхнею губкой. И Мария, уже протягивая ладони к теплому свертку, лишь мельком заглянула в большие, отверстые миру глаза дитяти. Заглянула. И сама испугалась даже. Со сморщенного детского личика на нее глядел старец. Глаза жили как бы даже отдельно, полные безграничного терпения и тайного прозренья, и ее словно овеяло тихими крылами, даже и протянутые ладони замерли в воздухе на миг. Свет струился на нее из очей дитяти, голубовато-искристый, неземной, как будто бы бархатный на ощупь свет. И... не виновата она, что охватила судорожно, прижала к себе поскорее, едва не вдавила в крохотный рот набухший, потемневший сосок. И пока сосал — не жадно, крутя головкою, захлебываясь, дергая и теряя, как, бывало, Стефан, а задумчиво, ровно и плотно, словно бы исполнял работу, думая в то же время совсем о другом, — все боялась, как оторвет от груди? Боялась вновь нечаянно заглянуть в отверстые очи.

Впрочем, пугающее это прозрение в глазах у дитяти быстро окончилось. Мальчик Варфоломей стал упитанный, спокойно-веселый и ежели бы не то событие в церкви, он и не тревожил бы ничем родителей своих, все внимание которых по-прежнему забирал старший, Стефан. Тем паче Мария почти тотчас опять понесла и невдолге родила третьего сына, названного Петром, так что тут и заботы, и внимание, все пришлось делить натрое (и даже начетверо, самая старшая подрастала дочерь, в близких годах уже превратившаяся в невесту).

Не был, к тому же, Варфоломей ни тщедушен, ни нервен излиха (да и будь он заморыш, отроком-то, не вымахал бы к мужескому возрасту противу прочих «в два мужика силою», как сообщает первый его биограф, Епифаний). Одна только странность была у дитяти: не брал грудь по постным дням, средам и пятницам. И не то, чтобы дергался или кричал, нет! Попросту отворотит личико и лежит, задумчиво глядя вдаль... Опять трудно верить! Может, плохо брал? Мать даже и то пробовала: влагать ему сосок в рот насильно, а он все одно, не сосет, зажмет сосок деснами, да так и лежит, не чмокая и не шевеля губами... Что ж! Суровое соблюдение постов и постных дней Марией, пока носила плод, могло же воспитать и в младенце Варфоломее эту наклонность к перерывам в пище. Быть может! Хоть так объяснить-понять. И еще он не брал грудь после обильной мясной пищи матери (и у кормилиц не брал груди тоже). Верно, тонкость натуры, которая отличала Сергия всю жизнь от прочих, «сверхчувствие» его, сказалось уже тут, на самой заре жизни, в тонком различении вкуса материнского молока.

Но и это заметила Мария не вдруг, а после, — после того всего, что назвал летописец Ахмыловой ратью.

Глава 7

— Беда, жена! Надо бежать!

Пляшущие огоньки двух свечей едва освещали тесовую лавку, корыто с дымящейся водой, угол божницы да край стола с разложенными ветошками и белым льняным убрусом, расстеленным поперек столешницы, на котором Мария с нянькою и сенной девкой кончали перепеленывать вымытого, накормленного и теперь забавно гулькающего малыша, который, тараща круглые глазенки, любопытно выглядывал из тугого свертка и дергал щечкой, пытаясь и не умея еще улыбнуться.

Мария подняла голову, еще не понимая, еще отсвет улыбки дитяти блуждал на ее лице, и прежде смысла слов поразило ее лицо супруга, — смятое, растерянное, с погасшим, бегающим взором, с пятнами лихорадочного румянца на щеках и лбу, — такого с ним николи не бывало, ни в мор, ни в иную беду, ни даже в набег Кочки, даже и тогда,

когда дошла весть о гибели Михайлы Тверского в Орде — последнего из князей, — как всегда повторял Кирилл, — кто мог спасти Русь и Ростов от гибели.

Муж сдался, сник, сломался духом, — поняла она, — и это было самое страшное, страшнее того, что он бормотал, словно в бреду: про Ахмыла, посла татарского, про горящий Ярославль, про то, что и Ростову уже уготована та же беда, и все бояре, весь синклит, уже покинули город, сам Аверкий бежал невестимо, бросив обоих молодых князей на произвол судьбы, да и они уже, верно, побегли вон из града... И что их поместье стоит как раз на Ярославском пути!

Она встала, едва не уронив маленького Варфоломея, сделала шаг, второй навстречу супругу, и у самой вдруг все словно поплыло в глазах: стала мягко заваливать навзничь...

В обморочных сумерках чьи-то руки, пляска дверей, голоса, грубый зык Яши, старшего ключника, топот и гам снаружи... Кирилл держал ее за плечи. Мария, медленно приходя в себя, стуча зубами о край ковша, пила терпкий, холодный квас. А уже в горнице полюднело. Суетились, несли сундуки и укладки, сворачивали толстый ковер, уже держали наготове дорожный опашень боярыни, уже укутывали маленького, когда в покой ворвался разбуженный нянькою и едва одетый Стефан:

— Батюшка! Татары, да? Будем драться?

— С Ордой?! — вопросил, бледно усмехнувши, отец. — Бежим, вот!

— Бежим? — Мальчик недоуменно уставился на родителей, только тут приметив гомон и кишение прислуги, торопливый вынос добра и рухляди.

— Нет! — возопил он с отчаяньем и слезами в голосе. — Опять! Опять то же! Батюшка! Ты должо́н погинуть, как князь Михайло в Орде, вот! — выпалил вдруг Стефан с разгоревшимся лицом, сжав кулаки. — А я... а мы все... — Он не находил слов, но такая сила была в голосе отрока, что Кирилл смутился, отступив.

Испуганная Мария попыталась было привлечь первенца к своей груди, но он упрямо вырвался из разнеживающих материнских объятий и стоял одинокий, маленький и неумолимый, с тем, уже начавшим обозначаться сквозь детскую мягкость, резким обрубом прямого стремительного лица, будто стесанного одним резким ударом топора ото лба к подборо́дку, с темными провалами очей, «огненосных», — как скоро назовут глаза юноши Стефана, — стоял и не прощал всему миру: себе, родителям, граду Ростову, готовый укорить даже и Господа, ежели б не знал твердо, что нынешнее гибельное позорование Руси есть Божья кара за грехи преждебывших и нынешних русичей...

— Погибнуть, да! И я, я тоже!

— А что будет, когда татары придут, со мною? — вопросила Мария. — И с ним? — указала она на сверток с красным личиком в руках у няньки.

Стефан перевел взгляд с матери на меньшого братца, так некстати появившегося на свет, набычился, не зная, как и чем возразить матери, минуту постоял, пунцовый, закусив губы и сжав кулачки, и вдруг, громко зарыдав, выбежал вон из покоя.

— Беги за ним! — первая нашлась Мария, пихнув в загривок сенную девку. Тут же двое оружных холопов, опомнясь, бросились ловить отрока. Стефан, пойманный ими на переходах, не сопротивлялся, только, пока его несли до возка, бился в отчаянных судорожных рыданьях, запрокидывая голову, храпя и в кровь кусая себе губы...

Нежданный приступ и укоризны сына заставили Кирилла опомниться. Он попытался взять себя в руки. Сняв ключи с пояса, велел выносить дорогое оружие и узорочье из бертьяницы. Но все плыло, проваливало, мулось в голове, и кабы не Яков, так бы и потекло мимо, нелепо и врозь, рассыпаясь в безобразном, безоглядном бегстве...

Яков поднял на ноги дружину, силой собрал растерянных холопов,

повелел запрягать и торочить коней и выпускать на волю скот из хлевов — по кустам разбежат, дак и то татарам поболе заботы станет имать кажного арканом!

На крыльце их обняла теплая летняя ночь. Сухая, нагретая за день пыль отдавала солнечный зной и гаснла шаги. Шелестели кузнечики в кустах сада. Звезды, срываясь, чертили огнистый след. Ночь пахла теплом, мятою, зреющим хлебом. Но в теплой ночи потревоженно ржали кони, плакали дети, гомонили бабы, и зарницы, вспыхивающие над землей, казались заревом горящего Ярославля.

Мария, укутанная, крепко прижимая к себе малыша, повалилась в глубокую телегу, на сено.

— Степушка где?

— Повезли уже! — отозвались из темноты.

— Стефан со мною! — послышался голос супруга.

Возки и телеги, всё, что имело колеса, уже выезжали, груженные наспех накиданным добром, со двора. Коровы и овцы непутем шарахались под ноги коней. В ночи мычало, блеяло, хрюкало, выли собаки, голосили, словно уже по покойникам, жонки. Кто-то бежал сзади с криком: «Матушка боярыня! Матушка!». Мария хотела остановить, но возчик яро и молча полосовал коня, и телега неслась, подкидывая и колыхаясь на всех выбоинах, и ей оставалось только сжимать малыша, чуя, как нянька с двумя сенными перекатывают по ногам, хватаясь в темноте за высокие края телеги. И бежали, дергаясь вверх и вниз, звезды над головой, да чья-то косматая и черная в ночи голова, склоняясь со скачущего обочь с телегою коня, хрипло спрашивала:

— Боярыня здеся?

— Здеся! — хором отвечали бабы. И голова исчезала вновь, только мерный конский топот с редкими сбоями несся посторонь, словно пришитый к тележному колесу.

Теряя возы и людей, выматывая коней, взъерошенных, мокрых, в мыле и пене, они неслись, минуя темные, еще не разумеющие беды деревни, сквозь запоздалый брех хриплых спросонья собак, мимо и прочь от Ростова, забиваясь в чащобы, по малоезжим, глухим, затравянелым дорогам. И уже утро означило легчающее небо, и первые светы зари поплыли над курящей паром землей, когда Яков, что вел ватагу, разрешил остановить, покормить и выводить шатавшихся коней.

С избитыми боками, с трудом разжав онемевшие руки, не понимая даже, жив ли малыш, ощущая противную мокроту внизу тела и тошнотные позывы, Мария с трудом выбралась из телеги, тотчас вся издрогнув от холодного утренника. Зубы начали стучать — не унять было, как ни сжимала. Подъехал Кирилл. Тяжело, шатнувшись, свалился с коня. Ей дали чего-то испить, есть она не могла, помотала головой. Нянька помогла расстегнуть саян, поднесла, не распеленывая, малыша к груди. Слава Господу, молоко не исчезло, текло по-прежнему, и грудь легчала, по мере того, как маленький деловито сосал. Подходили мужики, но даже и стыда, что боярыня на людях с голою грудью, не было, до того устала и до того болело все тело.

Подошел, шатаясь, Стефан, с черной умученной мордочкой.

— Прости, мамо!

Молча огладила, ткнувшись сухими губами ему в висок. Глянула снизу вверх на мужа и поскорей отвела глаза, увидя ту же, вчерашнюю, испугавшую ее давеча жалкую потерянность на родном, всегда таком красивом и строгом, и все равно дорогом лице!

Потом уже, когда все кончилось, и это позабывалось порой...

Они отсиживались в лесной деревушке, перенимаючи слухи. Кирилл уезжал, и от него долго не было ни вести, ни навести. Мария пристроилась спать в летней клетушке, не разоболокаясь, мыться в печи в очередь со своими же холопками, хлебать мужицкие шти; помогала, чем могла, по хозяйству, даже и жать ходила вместе с бабами, а Стефана послала возить мужицкие снопы с поля. Уже и обдержались,

и привыкать стали, когда, наконец, воротились веселые, успокоенные супруг с Яковом, и Кирилл, вольно разваляясь на лавке, сказывал, как все устроилось, какой раззор и разброд творились в Ростове, брошенном боярами и владыкой, как Игнатий,—сказалась ордынская кровь!— ременной плетью расчищал себе путь, разгоняя, словно овец, перепуганных горожан, как настигли и воротили епископа Прохора, как сами потрошили сундуки в брошенных теремах, собирали испуганный клир церковный, как вели их, почти падающих в обморок, с хоругвями в дрожащих руках, и как стих, засопев, Ахмыл, старый знакомец покойного Михайлы Тверского, услышав из уст Игнатия речь татарскую; какие подарки передавали ордынцам, как успокоил город и возвращали разбежавшихся смердов...

— Потратиться-таки пришлось и нам! — со вздохом присовокупил Кирилл.

— Да и то еще подвезло, — подал голос в свой черед Яков, — сын еговый, вишь, Ахмыла-то, на Ярославли глазами заболел! Владыка Игнатий исцелил ево молитвою, освященной водою помыл, да... Господь помог!

— Господь! — добродушно отозвался Кирилл, веселыми глазами озирая свое семейство.

Мария слушала нéмо, с тупою тяжестью в сердце и голове. И вдруг в ней, возможно от усталости, крестьянского тяжкого труда, нездоровья, страхов, горькою волной поднялось запоздалое отчаяние. Остро увидела она всю свою жизнь, красавца-мужа, который надевал писанный золотом шелом и дорогой доспех только для торжественных выездов, ни разу не ратясь, потерял все или почти все (и даже маленький Стефан кричал ему — погибни со славой!), и что вся жизнь ихняя была для одного этого: для шествий, с хоругвями и поклонами, выездов с князем, посольских дел, не нужных, как прояснело теперь, никому и никого не спасших... И не потому ли, да именно поэтому, он и неуспешлив днесь! Какая корысть в том, что был ты честен и верен сменявшим друг друга юным князьям? Что был щедр, хлебосолен и нищелюбив? В спокойную пору, тогда еще... до Батыя, быть может, пригодились бы твои и стать и норов, — но не тут, не теперь! Как же ты не видишь, ладо мой, отец детей моих и свет очей моих, как же не узришь позора в том, что вышли вы, мужи, бояре, ратные люди, да попросту мужики, наконец! С хоругвями, встречу поганому бесермену, послу татарскому, с дарами, яко волхвы ко Христу новоявлену! Смилостивил, испугался за сына... Сын-то еговый глазами заболел, видно, от жара огненного,— задымил очи на пожаре Ярославском! С хоругвями, крестным ходом, яко благодетеля своего...

— А кабы не исцелил?! — спросила вдруг Мария, звонко, в надрыв, и, склонясь, горько заплакала: о себе, о нем, что только и умел всю жизнь умолять, просить, шествовать, когда надо было драться, подличать, предавать или уж безоглядно идти на крест!

— А кабы не исцелил? — повторяла она, вздрагивая, горбатясь и закрывая лицо руками, меж тем как Кирилл, испуганный, пав на колени перед женой, пытался, как мог, утишить ее рыдания. Знал бы он, сколько ей пришлось пережить за эти смутные дни!

Стефан слушал, бледный, повторяя одними губами: — «Господь!».

. . . .

Возвращались едва не на пепелище. Все было разорено и порушено. Татары, свои ли — не поймешь, поозоровали всласть. Сорванные двери, выбитые оконницы, поваленные огорожи... Едва четверть разбежавшегося скота удалось собрать по кустам. Недосчитались и многих слуг, сбежавших напрочь. Почитай, ежели бы и сгорел город, боярину Кириллу не много большего убытку стало от Ахмылова нахождения...

Глава 8

Минуло четыре года. Четыре года относительного покоя, когда можно отстроить порушенные хоромы, когда бабы вновь рожают детей, а мужики пашут и сеют хлеб. Хотя уже в воздухе носило, что Юрий вновь схлестнется с Дмитрием, и горе тогда Ростову, зажатому меж Тверью и Москвой! А подрастающие князья, словно переняв наследную болесть, начинали тяжко ссориться, чему деятельно помогали многие бояре. И уже скоро дело должно было дойти до дележа града Ростова и волости... И все же это были относительно спокойные годы, о чем Кирилл почасту толковал с зятем своим, Федором Тормосовым, когда те наезжали гостить, обычно всей многочисленной семьею, со свояками, тетками, племянниками, детьми и челядью. И венцом всех этих разговоров было одно: кто одолеет, в конце концов, Москва или Тверь? Тверь — была привычнее, спокойнее, спасительней казалась для града Ростова.

Мечты, похороненные со смертью Михаила Тверского, все еще робко брезжили в неспешных застольных речах.

— Вот бы, ежели бы... Покойник, Михайло Ярославич, царство ему небесное, гляди-ко, почти уже всю землю Владимирскую совокупил в руце своя! За малым дело не состроилось! Новгород Великий, вот... Да, Новгород! Упрямы, непоклонливы новогородцы-ти! А ныне опять все поврозь, да под московского князя головы клонят...

Жена была права в давнем озарении своем. Кирилл всю жизнь мечтал о благолепии, о торжественном уставном несении вышней службы, и всю жизнь, в тайная тайных души, верил, что князь должен быть справедлив, великодушен, мудр и милосерд, и когда раз за разом видел иное — недоумевал, не верил, не понимал и не принимал, на многое и вовсе решительно закрывая глаза.

В иную пору, в иной действительности был бы Кирилл и в почете и на месте своем. Но тогда, когда все рушилось, бродило, а новое не устроялось еще, он был порою смешон, как токующий тетерев, что слышит одного лишь себя.

Но уже и эти заботы отходили для него посторонь, теряли прежнюю свою остроту и боль. И все чаще Кирилл такие вот беседы кончал присловьем:

— Един Господь!

В нем все укреплялось и росло сознание, что земная жизнь, его труды и чаянья — суета сует и всяческая суета, и то, чему он посвятил свою жизнь, вряд ли столь уж важно перед лицом Господа и той, другой, истинной, вечной жизни. И все меньше трогало Кирилла, что хозяйство плыло из рук, уходило добро, уходили люди, пустели волости, некем и нечем становилось содержать городской двор... Здесь, на земле нажитое, оно и должно было остаться на этой земле.

Впрочем, хоть и скудел боярин Кирилл, все же он оставался великим боярином, и хозяйство его, трижды порушенное, все еще было боярским и большим. И сына Стефана отдали учиться не куда-нибудь, а в Григорьевский затвор, рядом с княжеским теремом, куда ушла едва ли не вся библиотека князя Константина Всеволодича, и отроки лучших боярских семей учились именно здесь, и самые ученые иерархи церковные выходили именно отсюда.

К Кириллу невидимо подходила старость. Подходила, как наступает тихая осень. Все тепло и солнечно, но редеют леса, свежеет воздух, меркнут краски, и вот уже каким-нибудь ранним утром треснет льдинка в лужице под ногой, и птичьи караваны уходят и уходят в синих холодных небесах туда, на юг... Так было и с ним: не согнулся стан и сила еще не ушла из предплечий, и в светлых волосах не вдруг проглядывали, прячась, нити седины, но уже виднее стали белые виски, и узкою лентою посеребрило бороду, и посветлели брови, и новые, добрые складки пролегли у рта, и морщинки у глаз не сходили, даже когда он

переставал щуриться. И все больше от дел городских, невеселых, обращался он к детям, словно в них чаял достичь того, до чего не удалось досягнуть самому, себе же оставляя, в дальнем далеке, тихую надежду на монастырское уединенное успокоение.

В детях на первом месте был для него Стефан, горячий и нравный. С ним, как с равным уже, проводил Кирилл часы, толкуя греческие книги, обсуждая деянья Александра Македонского, Омировы сказанья, чтя вслух хронику Амартола и русские летописи, по которым недавняя и уже отошедшая в небытие киевская старина выглядела величавой и славной, а князья киевские — Ярослав, Святослав, Олег, Владимир, креститель Руси, великими и грозными.

Малыши — Варфоломей с Петром — занимали гораздо меньше места в душе и в мыслях родителя, хотя и помнилось, и тревожило бывшее в церкви, но помнилось и поминалось от случая к случаю, а так, ежеден, Варфоломея не выделяли в особину, уделяя ему и меньшому брату поровну вниманья и ласки. И, как часто, как всегда бывает, просмотрели те незаметные и крохотные поначалу отклонения, те поступки, совершенные «не так» или «не совсем так», которые ознаменовывают начало человеческой неповторимости. Но что было неповторимо в характере Варфоломея?

Толстый карапуз, качаясь на ножках, косолапо идет к двери, на четвереньках перелезает через порог, действуя однако рукой: другой, в потном кулачке, зажато что-то. Вот он, поворотясь задом, спускается, как медвежонок, со ступеньки на ступеньку, вниз по долгой красной лестнице высокого крыльца. И, наконец, в очередную соступив, босая ножка ощущает вместо щекотной сухости дерева теплую пыль двора. Покачиваясь, он идет по двору туда, к высокому, выше его роста, бурьяну, приговаривая шепотом: «Не кусяй, не кусяй!» Пестрый жук, зажатый у него в кулачишке, отчаянно скребет лапами и уже нешуточно вцепился ему в ладонь. Но малыш терпит. Вот он разжимает ладонь — лопухи, татарник и крапива уже окружили его своими высокими колючими головами — и начинает тихонько, одним пальцем, поглаживать жука по спинке. Жук расцепляет ядовитые челюсти, вертит головой, сучит усиками и наконец, с щелканьем вскрыв твердые надкрылья, выпускает нежноблестящие прозрачные нижние крыла и резким рывком срывается с детской руки, тут же исчезая в высоких острых травах. Младенец удовлетворенно смотрит вслед жуку, коего он подобрал на полу изложни, неведомо как залетевшего в терем, и терпеливо нес сюда, чтобы выпустить. Жаль только, что жук так быстро улетел, не дав рассмотреть свои крылышки! Варфоломей поворачивает к дому и, посапывая, пускается в обратный путь.

Почему один малыш поступает так, а другой, и в той же семье, иначе? Почему один мучительски отрывает лапки и крылья жуку, разоряет гнезда, убивая птенцов, вперекор родительскому слову (и даже под угрозою порки!), а другой садит на зеленый листик и осторожно выносит на улицу червяка, а, заглядывая в то же гнездо, боится дышать, чтобы не испугались птенчики? Сколько тут усилий воспитателя, родителей, и сколько — от природы самого человека? Быть может, не так уж не правы авторы христианских житий, полагавшие, что праведник рождается с уже готовым устремлением к праведности?

Варфоломей рос неслышно, не причиняя никаких неприятностей родителям. Был здоров, тих и послушен. И то, что отличало и, пожалуй, выделяло его, было как раз тем, что позволяло родителям почти не обращать внимания на своего среднего сына, отдавая внимание младшему, Петру, который часто и прихварывал, и капризил. Варфоломея же отличала редкая для дитяти послушливость и старательность. Ему почти ничего не приходилось повторять дважды. Сказанное матерью или нянькой он запоминал и исполнял сугубо в точности. По-

ставить ли свою мисочку на стол, задвинуть ли и закрыть ночной горшочек, застегнуть рубашечку, перекрестить лоб перед едой, умыть руки — все он делал тщательно и спокойно, с видимым даже удовольствием, и очень любил оглядывать себя, когда на него надевали нарядную рубашечку. Подолгу рассматривал рукава, разглаживал ткань у себя на животике, а когда его обижали, чаще всего не дрался и не плакал, а недоумевал. Как-то братья-погодки и младший Тормосов затеяли деловитую возню, и вдруг Тормосов (он был чуть постарше) взъярился:

— У меня и у Пети белые рубашки, а у тебя синяя, ты не наш, иди прочь! — И вдруг начал яростно пихать и бить Варфоломея, оцарапал и свалил его в канаву. Это было одно из первых детских воспоминаний отрока Варфоломея, когда мир еще не воспринимается связно, а только отдельными картинами. Он помнил, как негодовал и подпрыгивал мальчик, чуть побольше его ростом, как его почему-то пихали и толкали в сухую глубокую канаву, всю в каких-то колючих травах, и запомнил свое тогдашнее огромное недоумение. Не обиду, не боль, нет! А недоумение: неужто от того, какая рубашечка, можно любить или не любить человека? Он и не заплакал, а выбрался из канавы на четвереньках, и все думал, не понимал и видел мальчика Тормосова как бы со стороны — дергающегося, суетящегося, словно больного, и даже, по-своему, пожалел его. Во всяком случае, так вспоминал он потом свое тогдашнее чувство-переживание.

Маленьким Варфоломей не только никогда не мучал зверей, но и не позволял другим мучать, какого бы возраста и роста ни был обидчик. Он трогательно заботился о младшем братике и не любил мяса, подолгу жевал и глотал с видимым трудом. (По счастью, родители не неволили, как иные, есть нелюбимое.) Очень часто играл один, что-то бормоча себе под нос, чуялось, что представляет себе в эти мгновения много больше, чем можно было узреть из палочек, щепок, свистулек и коней, расставленных перед ним. Но не было в нем ни всплесков горячего норова, ни ярких откровений познания — всего того, что увлекало и тревожило в Стефане.

Лошадей любил он до страсти. Одна из ранних картин-воспоминаний Варфоломея, это как он стоит в белой рубашонке на крыльце и кормит коня хлебом. К нему склоняется большая конская морда, и теплые мягкие губы требовательно и властно забирают с его ладошки наломанный хлеб, кусок за куском. Кони были рядом всегда, и Варфоломей уже не помнил, когда его впервые посадили на теплую конскую спину и он, вцепившись ручонками в гриву, ехал с радостным испугом по зеленому двору. Почему-то запомнился густой зеленый цвет, верно, поздней весною, когда затравянелый двор еще не бывал вытоптан и выбит дочерна колесами и копытами коней. Но даже когда его сажали верхом, он не вертелся, не бил коня пятками, как Стефан в его возрасте, а весь замирал и ехал, крепко уцепившись за гриву. И когда его снимали с лошади, не скулил, не рвался из рук, а тихо, счастливо улыбался медленной расцветающей улыбкой.

Говорят, характер человека складывается в первые пять лет жизни, то есть как раз тогда, когда ни родители, ни ближние не думают еще о воспитании характера и все внимание направляют токмо на то, чтобы обуть, одеть, накормить да, по силе возможности, потешить игрушками и сластями. И нечастые проявления детского своенравия в Варфоломее являлись и проходили почти незаметно для его родителей, оставляя памятные зарубины лишь в собственном сознании дитяти, как, например, случай с лестницей.

Лестница эта вела на чердак, куда складывали сушить яблоки и куда поэтому, часто, украдом, лазали дети, те, кто умел, а те, кто еще едва держались на ножках, тоже подходили и, ухватясь за нижнюю перекладину, задирая голову, глядели вверх, откуда старшие мальчики кидали украдкой вяленые терпко-сладкие кусочки...

Варфоломею каким-то чудом удалось заползти на вторую ступеньку, откуда его походя сволокла дворовая девка, пробегавшая на поварню. Однако часа через два старик-садовник услышал тонкий писк и углядел Варфоломея, висевшего вниз головой посреди лестницы, руками и ногами обнявши лестничную тетиву. Он, видимо, перекинулся, и висел довольно долго. Когда старик снял его, он весь дрожал и скулил, как щенок.

Но, однако, невдолге, выруганный и утешенный, он украдом уполз из дому и... исчез. Когда, уже об ужине, схватились искать и сама Мария побежала осматривать все щели, колодцы и ямины, она заметила, случайно подняв взор, что в проеме чердака что-то белеет. Это был Варфоломей в своей рубашечке. Он сидел на самом верху, побалтывая ногами, и так ясно поглядел на мать, так готовно протянул ей ручки, что у Марии и мысли не шевельнулось, что ребенок залез туда сам, и она долго поносила неведомых старших шалунов, затащивших дитятю на вышку.

Меж тем, для едва научившегося ходить малыша, совершённое им было подлинным подвигом, просмотренным родителями и прислугой. Он едва мог достать ручками до нижней ступеньки, и потому, когда полез, то лез по тетиве, обняв круглую жердь ногами, соскальзывая, обрываясь и упорно подтягиваясь вновь. Когда его сняла дворовая девка, Варфоломей едва не взвыл — насмарку пошли его тяжкие труды. Поэтому он полез быстрее, хоронясь людей, и, перебираясь с очередной ступеньки на следующую, сорвался. Страшен был этот миг, — он уже поднялся на необычайную высоту: далеко внизу проходила золотисто-пестрая курица и даже не увидела Варфоломея на его недоступной высоте. А тут ручонки поехали, его стало кренить, он на миг в ужасе прикрыл глаза, изо всех сил, руками и ногами, вцепившись в круглое, и тотчас тяжкое бремя собственного тела потянуло его за руки и за ноги, двор и терем разом опрокинулись, и когда Варфоломей, убедясь, что он не упал, а висит, открыл глаза, он увидел только голубое небо и ватные, серо-белые облака, наползающие и наползающие на окоем. Ни разжать рук, ни даже ослабить на мгновение, он не мог, и висел, постепенно теряя силы, не зная, что предпринять, и даже не слышал сам, как начал тонко скулить. Он уже почти терял сознание, когда его вторично сняли с лестницы и унесли в дом. Но теперь все окружающее воспринималось им как в тумане. Реально было одно: лестница, на которую следовало влезть. Лежа на кровати и мысленно восстанавливая весь путь, он понял свою ошибку. Надо было все время держаться за перекладины, чтобы не перекинуться стремглав.

Отдохнув и поев, он украдкой ушмыгнул из горничного покоя, и на этот раз ему уже никто не помешал. Вытягиваясь во весь рост, он крепко ухватывал одною рукой за ступеньку, другою обнимал тетиву лестницы и, горбатясь, подтягивал ноги. Главная труднота заключалась в том, чтобы ногами, коленями, влезть на перекладину. Для этого он перегибался вперед, почти свешиваясь головой, обеими руками брался за тетиву и тут, уже почти падая вниз, заносил колено на ступень лестницы. Дальше было гораздо легче. Утвердив обе ноги на перекладине, он вытягивался в рост и ухватывал точно так же следующую ступень. И опять подтягиванье, и опять голова и плечи перевешиваются вниз, и Варфоломей почти закрывает глаза, чтобы не видеть раз за разом грозно отдаляющейся земли... И вот уже он так высоко, что земля видится в какой-то далекой дали, даже словно бы в легкой голубизне, а он висит почти уже в облаках. И дрожали ноги, и руки тряслись, а он все лез и лез, с железным упорством повторяя раз за разом все то же самое: подтягиваясь, склоняясь головой вниз, утверждая колено на новой ступени, а потом переползая на нее и целиком. И вот уже последняя ступень, и дальше... и дальше была стена, бревно, и — некуда лезть! Его почти охватило отчаяние. Столько лезть до

верха и тут, на самом верху, не смочь выбраться туда, на вожделенную чердачную высоту!

Последний раз вытянувшись вдоль тетивы лестницы и ощущая руками щекотную сухость дерева, он начал думать. Старшие мальчики легко преодолевали эту последнюю ступень... Запрыгивая туда, наверх... Как?

Прямо перед его лицом был тупо обрезанный конец лестничной тетивы, и Варфоломей наконец решился. Уже почти не дыша, медленно-медленно, он начал подтягиваться вверх, цепляясь руками за трещины в дереве. Он весь вспотел со страху и чуял, что стоит его ногам потерять неверную опору — и всё. И он полетит вниз, в ничто, в голубую зияющую пустоту. Медленно ступали маленькие потные ножки по гладкому дереву лестничной тетивы, медленно подкорчивались уже почти непослушные руки. Вот он оторвал правую руку и сунул ее в трещину повыше, и тотчас ноги съехали по гладкости тетивы, и Варфоломей завис, напрасно скребя пальцами ног гладкое дерево. По счастью, под левой ногою обнаружился острый сучок, и, жалея себя, почти в кровь вдавив сучок в мякоть ноги, Варфоломей сумел зацепиться, а потом, в каком-то лихом отчаянии задрав другую ногу, коленом достал до верхнего среза тетивы. Больше он ничего не мог. Его долго трясло, и он продолжал полувисеть, упираясь трясущимся коленом в основание тетивы, другой, до предела вытянутою ногою — в острый сучок, а руками, распростертыми по покатости дерева, вцепившись в острые края трещин. Дрожь медленно проходила, и вот Варфоломей сумел сделать следующее движение: упершись коленом, оторвал другую ногу. и стал руками подтягивать тело вверх. Труднее всего оказалось оторвать живот от теплого круглящегося дерева. Но когда он наконец решился и на это, тело как-то почти легко подалось вверх, и Варфоломей просунул одну руку поверх бревна, к собственному спасению найдя за невидимым краем стесанный топором рубец. Побелевшими, почти потерявшими чувствительность пальцами он впился в затес и, перенеся наверх вторую руку, начал подтягивать тело в последний раз. Перед его глазами уже была чердачная тьма, но Варфоломей ничего не видел, не чуял, кроме одного — как утвердить на обрезе лестничной тетивы вторую ногу? Он поставил мокрые от пота пальцы на шершавую покатость бревна, потом, решась, поднял ногу и уцепился пальцами ноги за верх тетивы, почти спихнув себя самого с лестницы. Но тут уже можно стало разогнуть колено и стать на кончик дерева двумя ногами. Больше он не стал ждать, вытянув ноги и весь подавшись вперед, Варфоломей, в ужасе от оставленного позади пространства, повалился лицом, грудью и животом в теплую пахучую пыль чердака и замер недвижимо.

Вот теперь он струсил и боялся даже пошевелиться, чтобы не улететь назад. Он готов был снова завыть, готов был закричать или громко позвать няню, и — не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Слепо протянув вперед руки, он погрузил их в пыль чердака, нашел что-то твердое и, ухватясь за это твердое, поволок свое, почти уже непослушное тело дальше и дальше и, несколько раз по-лягушачьи взмахнув ножками, зацепился коленом за срез бревна, и тогда быстро-быстро, ящерицей, заполз наконец наверх. Он еще полежал, боясь даже поднять голову, но вот уже и встал и огляделся, и почуял во тьме вожделенный дух вянущих яблок, и долго дышал этим сладким, чуть вяжущим запахом, и после встал, и робко заглянул вниз, дивясь и ужасаясь проделанному пути, а затем — затем уселся на край, даже не взяв ни кусочка вяленого яблока, и стал болтать ногами, успокаиваясь и довольно озирая распростертый пред ним и ниже его дольний мир: вершины сада, тын и поля по-за садом, и соломенные кровли деревни в дымке вечереющего неба далеким-далеко, и крохотных коровок возвращающегося стада... И совсем не удивился появлению матери. Теперь, когда он исполнил задуманное, она и должна была явиться к

нему. И, радуясь, готовно протянул к ней руки, когда Мария, поднявшись на нижние ступени, бережно стаскивала с чердака и прижимала к груди своего середненького несмышленыша.

Никто так и не узнал об этом первом деянии Варфоломея, ни мать, ни няня, ни старший брат, ни дворовые мальчики. А он молчал, не хвастал, даже братику Петюне не рассказал о своем восхождении на чердак. Как-то не хотелось говорить, да словно и незачем было — лазают же иные мальчики туда ежеден за яблоками!

Но в чем-то с тех пор укрепился Варфоломей, что-то молчаливо понял, постиг в себе самом. И это «нечто» сперва незаметно, а потом все больше и больше начало выделять Варфоломея из круга сверстников.

Глава 9

Мать воспринималась им не как образ, а как ощущение — ее голос, руки, теплые и уютные; отца, далекого и строгого, Варфоломей уважал и боялся; но подлинное благоговение вызывал в нем старший брат, Стефан, или, по-дворовому, Степан (мать называла его Степушкой). Он врывался шумный, что-то говорил, кричал, хохотал или гневал, не обращая внимания на меньшого братца, что, приоткрыв рот, мог часами взирать на обожаемого им почти сказочного героя, ради коего он мог забросить, не вздохнув, всех своих деревянных и глиняных коней.

Стефан уже учился в Григорьевском затворе, в Ростове, и ездил туда верхом. Учился он удивительно. Книги не читал, глотал, тут же, без запинки, пересказывая целые страницы, и уже мог довольно бойко разбирать по-гречески.

Варфоломею очень запомнился (ему было уже четыре года) первый раз, когда брат удостоил его серьезной беседы, хотя, собственно, Степан и не с ним хотел баять, да не случилось никого близь, так и вышло, что впервые сделал он слушателем своим четырехлетнего крупного светлорусого малыша.

— Семь дней! — фыркнув, говорил брат почти что сам себе, продолжая начатый, видимо, в школе спор. — Семь дней! Бабы белье на солнце вывешивают, а Господь тем часом мир создает, да?

— Почто? — спросил, отчаянно робея и весь зарозовев, Варфоломей, и Стефан, вдруг оборотясь и даже будто присев перед ним, наклонясь ли, раздельно сказал:

— Написано: Господь создал мир в семь дней! Понимаешь?

Варфоломей серьезно кивнул, во все глаза глядя на старшего брата, повторив шепотом: — «Семь дней!»

— Так вот! Господь создавал и небо, и солнце, и звезды, и твердь отделил от воды! Дней-то еще не было, понимаешь?

Варфоломей опять кивнул, старательно запоминая, хотя не понимал ровно ничего. Но у него было счастливое свойство запоминать, не понимая, и после додумывать до конца. И этот братний разговор он додумывал потом несколько лет, так и эдак поворачивая и укладывая в голове слова Стефана (и словно новым светом осветило их, когда сам начал постигать грамоту в том же Григорьевском затворе, где учился и старший брат).

— Так вот! — продолжал Стефан, — слова сии надобно понимать сугубо духовно. Семь дней, это не дни, это неделя, седьмица. Седьмой день отдых, конец, и новое начало. Все идет по кругу! Понимаешь? По кругу! Мир, может быть, все время создается Господом! Или создан им враз, мгновенно, или за тысячу наших лет, что токмо един миг для Господа, или же Господь время от времени вновь продолжает творить и переделывать мир сей.

— Понимаешь? Понимаешь? — повторял брат, и Варфоломей, гля-

дя на него завороженно, кивал и кивал, шепотом повторяя: — «По кругу... все время создается... тысячу лет...»

Стефан, высказав мысль, не дававшую ему покоя весь день, тут же бросил брата на произвол судьбы и унесся куда-то, а Варфоломей все стоял, а после ходил и думал, повторяя в порядке и «укладывая» братни слова о том, что мир создан или враз, или в тысячу лет, что, все равно, есть один лишь миг для Господа, или создается-переделывается Господом время от времени и в наши, теперешние дни. И все видел неотвязно, как бабы-портомойницы развешивают белье, а над ними, в облаках, как на лестнице, словно плотник на лесах строящегося дома, стоит сам Господь с развевающейся бородою и, тяжко ворочая облачные громады, создает мир.

Глава 10

Маленький русич воспитывался на сказках. После уж — на преданиях старины, былинах и «житиях». Едет, к примеру, сказочный герой добывать молодильные яблоки и встречает по дороге избушку. В избушке лежит старик, большой-пребольшой, голова в красном углу, ноги в подпороге. На печи старуха, тоже большая-пребольшая. Он кланяется старику «во всю спину», потом старухе, потом старшему сыну, потом среднему и, наконец, младшему. Герою предлагают с дороги помыться в бане, и когда он идет туда, приходит старший сын старика с охапкою золотого прутья и говорит: — «Вот ежели бы ты прежде мне поклонился, а потом моему отцу, я бы это прутье все о тебя до рук выломал!» Затем идет средний сын с охапкою серебряного прутья, приговаривая: — «Вот ежели бы ты сперва мне поклонился, а потом моему старшему брату, я бы это прутье все бы о тебя до рук выломал». Затем приходит младший сын с охапкою медного прутья и говорит: — «Ежели бы ты сперва мне поклонился, а потом моему среднему брату, я бы все это прутье о тебя до рук выломал». Только потому, что герой выполнил законы «вежества» правильно, он и остается цел.

Сказочный пример подтверждался поведением взрослых. Уважительное отношение к старшим было законом тогдашнего общинного бытия, непререкаемый авторитет родителей в доме — законом домоустроения.

В боярской семье воспитание было тем же самым, что и в крестьянской, только прибавлялась священная история да Евангелие — жизнь Христа, с моралью высокого жертвенного служения человечеству. И еще века и века были до француза-гувернера, объяснявшего, что лучший город на земле — Париж, а Россия — страна варваров. Ни Парижа, ни слова «варвары» русичи еще не знали. Вместо «варвары» говорили «поганые», и разумели под этим словом степняков-«сыроядцев», да северных ясашных инородцев, а шире — вообще всех «нехристей», не уверовавших во Христа. Легендарный город Паган, на юге индийских сказочных стран, так и понимался, как город «поганых», то есть некрещеных народов, и страны те, безо всякого оттенка небрежения даже, назывались «землями поганскими». Священные города за рубежами страны были: Ерусалим, в котором распяли Христа, и Царьград — нынешний оплот веры Христовой. Русь же, принявшая крещение, отнюдь не была варварскою страною. У нее явились уже и свои святыни, и места паломничества, как, например, Киев, матерь городов русских, со славными своими пещерами, и многие другие святые и чтимые места, о чем повествовали и запоминали сперва изустно, после же, одолев грамоту, чли по летописям и житиям святых.

Так же точно воспитывался и маленький Варфоломей. Вот одна из его ранних воспоминаний-картин. Они все сидят на печи, набившись, как птенчики. Темно, и тепло, и тесно. Тут и младший братишка рядом с ним, и еще какие-то пареньки и девушки, — верно, из дворовых ребят. И где это происходило? То ли в челядне, но там печь не такая, то ли в хлебне? То ли это было внизу, в подклети, где печь после разрушили и сделали холодную кладовую. Только няня или другая женщина? Быть может, покойная Ульяна, она была знатная сказательница! Сказывает сказки. И сказывает так, что они все уже не здесь, а в пути, в лесу, знакомятся с бабой-ягой, едут на сером волке, видят поле мертвых костей, ловят сияющую, переливающую самоцветными огнями Жар-птицу. И это ему, отроку Варфоломею, а не сказочному Иванушке, велит серый волк не трогать узды волшебного коня, не брать золотую клетку Жар-птицы, не то зазвенят струны и проснется стража. И он представляет, как, вцепившись ручонками в гриву, выводит коня, как обнимает птицу, а она словно шелковая, пушистая и льющаяся, живая, и скользит из рук, и вздрагивает, словно сокол на кожаной рукавице сокольничьего, и царапает твердыми когтями, и надо ее не повредить, не помять ей шею, и обязательно удержать! Он бы непременно послушался волка, не взял узды, не тронул клетки, и ему не пришлось бы обманывать грозного царя...

Сказки сказывала и няня по вечерам. Зато мать читала им жития святых и пересказывала Евангелие, и это тоже было удивительно, словно сказка.

Горела одна свеча. (Свечи давно уже начинали беречь.) Мать тоже сказывала, а то разгибала темную кожаную книгу с твердыми пергаменными листами, и начиналось чудо: львы приходили к пустынникам; умирал, так и не сказавшись родителям, Алексей — Божий человек, и было до слез жалко и его, и батюшку с матушкой в их неизбывном горе; разверзалось небо, и там, в грозном величии, в рядах белокрылых архангелов, стоял убогий Лазарь, а снизу, из адской бездны, молил его Лазарь богатый: «Омочи мизинный перст в воде и освежи мне запекшиеся уста!» — И слышал в ответ неумолимое: — «Не могу. Ныне воля не моя, воля Господа, воля Господа, царя небесного!». Про Лазарей мать не читала им, а пела. И он, содрогаясь, думал, что никогда не будет таким жестоким, как богатый Лазарь, и, верно, ни матушка, ни батюшка его тоже не такие, — вон скольких сирых и убогих привечают на боярском дворе!

Когда мать сказывала про Христа, она никогда не трогала книгу, только иногда клала рядом с собою темное потертое маленькое Евангелие, но не заглядывала в него, а только изредка поглаживала рукой, вспоминая наизусть притчи Спасителя. Варфоломей уже знал — то, что сейчас будет сказывать мать, очень серьезно, важнее сказок и даже житий святых. И он прижмуривал очи и видел песчаную пустыню, каменные горы лесенками, как изображают на иконах, и ощущал жару, словно от русской печки, и сам проходил мимо колосящихся хлебов, и видел море, подобное великому Ростовскому озеру, и рыбачьи челны на воде, а чужие названия — Вифиния, Вифлеем, гора Елеонская, Галилея, — казалось, пахли солнцем и медом.

Христос тоже учил терпению и мужеству. И были слова страшные: — «не мир принес я на землю, но меч»... «Егда гонят вас во граде сем, убегайте в другой»... «Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо, и восстанут чада на родителей и убиют их, и будете ненавидимы всеми, имени моего ради! Претерпевый же до конца, той спасен будет».

Христос был то грозным, то добрым (его так и изображали на иконах), но всегда — настойчивым, и всегда он был бедным, и ученикам не велел собирать ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, и всегда он ходил пеший, а не ездил на лошади. Только в Иерусалим, перед гибелью, привезли его верхом на осле. И то, — как объясняли те, кто побывал в Орде, — осел, это такая маленькая-маленькая лошадка с большими ушами. Сядешь, ноги по земи волочатся. На такой ехать, все одно, что пешком идти! — заключил про себя Варфоломей, успевший уже создать свой образ Христа — вечного пешего странника.

Знают ли взрослые, как преломляются в детском сознании их рассказы? Кому сочувствует маленький слушатель? Не пожалеет ли Кощея бессмертного? Не осудит ли гордого героя сказки? Не захочет ли сам стать разбойником и получить несметные сокровища поверженного змия? Или пылко и прямо примет строгие поучения древних книг? И не надорвется ли он, пытаясь исполнить неисполнимое? И бойтесь, родители, говорить одно, а делать другое! Навек посеете смуту в юной душе, и пропадут впусте все ваши добрые поучения!

Варфоломея поразили слова Христа, что тому, кто попросит у тебя рубаху «срачицу», следует отдать и гиматий (верхнее платье). Он даже, что редко бывало, переспросил мать:

— Что отдать, если одеты на тебе две рубашечки? А если всего одна, и холодно станет? Все равно снять?

Мать, не догадывая совсем, что зачинает в голове и в душе отрока подобное пожару внутреннее движение, пояснила:

— У богатого, ну вот у тебя, и не на себе, а может, в скрыне лежат сорочки. И иной погорел, нагой выскочил из избы, или иная беда какая, ему и помоги!

Он серьезно выслушал материны слова, кивнул головой. Потом, уже без связи с тем, что говорилось в тот миг, много спустя по времени, переспросил:

— А тому, кому надо все отдать, у него что, никакой совсем нет оболочины?

И мать, не поняв даже сперва, о чем это спрашивает маленький Варфоломей, опять пояснила, не думая, просто так:

— Ну, худая какая, совсем рваная, с плеч валится. Видал, давеча убогая приходила с дитем?

— А ты дала ей что-нибудь? — требовательно спросил Варфоломей, подымая светлый взор.

— Дала старую оболочину! — отмолвила мать и перевела речь на другое. А отрок Варфоломей все думал, сдвигая светлые бровки, и даже что-то шептал неслышно, шевеля губами и кивая сам себе головой.

«Событие» совершилось через неделю. Был весенний праздничный день. Приглашенный батюшка отслужил обедню в домовой церкви. На дворе, прямо под открытым небом, расставив столы со снедью, угощали дворню. На селе тоже гуляли, издали было слышно, как красиво вьются в воздухе девичьи голоса, славящие языческого Ярилу. И дети, принаряженные, были отпущены погулять, одни, без нянниного догляду, тем паче Мария надеялась, что Варфоломей и сам посторонит от всякого разгульного сборища. («С теми, кто иже суть скверνословцы и смехотворцы, отнюдь не водворяшеся», — писал Епифаний, поминая детские годы Сергия.)

И вдруг, — Мария как раз проходила по двору, отдавая распоряжения слугам; дружина, дворня и холопы шумно ели и пили, уже и пиво сделало дело свое, потные лица лоснились, сверкали на солнце, кто-то хрипло затягивал разгульную, его останавливали, дергая за рукава, — как вдруг испуганно ойкнула одна из сенных девок, и боярыня, неволею остановясь, выглянула за ворота. По дороге бежал Варфоломей, как-то странно одетый. Она даже не сообразила сразу, а потом, всмотрясь из-под ладони, поняла: он был в развевающейся безрукавой детской чуге, надетой на голое тело. Неужто раздели?! Или свалился куда? Но подбегавший, с горящим взглядом, Варфоломей совсем не плакал, а, казалось, испытывал торжество, и так, стремглав, с бегу, угодил в материн широкий подол и расставленные объятия.

— Что с тобою? Где это ты? Что ты? Кто тебя?! — испуганно спрашивала Мария, углядев, что сын был весь в крови, синяках и ссадинах. Меж тем как сзади, за воротами, уже гремела песнь и разливался выходящий из берегов праздничный пир.

— Мама! — торопливо, взахлеб, сказывал Варфоломей, глядя на нее сияющими глазами. — А я сделал по Христу! Сперва-то не по Христу, — пояснил он скороговоркой, обтирая ладонью разбитый нос, — а после — по Христу! Мальчик был такой рваный, маленький, а тут праздник, гуляют все! И я ему отдал свою сорочку, и чугу подарил тоже! На мне Петюнина теперь! Ведь так? Так ведь?! — спрашивал он, пока мать, подхватив сына на руки, уносила его поскорее в терем.

В горницу вбежала нянька, принявшаяся обтирать боярчонка мокрой ветошкой, откуда-то сбоку появился отец, и оба родителя, переглядываясь, дослушивали горячую сбивчивую речь меньшого своего, кажется, слишком буквально понявшего Христову заповедь. И тут... Как бы вы поступили на ее месте? Можно бы было и обругать, и остудить; можно бы и послать с розыском, воротив назад отданное несмышленышем дорогое платье... Но когда в доме принимают тьму нищенок и калик перехожих, когда боярыня сама читает детям Евангелие... И все одно, можно бы было! И остудить, и обругать, и с розыском послать, и выпороть даже! Да и так ли просто было все, о чем говорил Варфоломей?

— А почему у тебя рот в крови? И синяки? И ссадины?

— А это... это... Ну, подрались тамо пареньки! — частоговоркой отмолвил Варфоломей, хмурясь и отворачивая лицо. — Не надо о том, мамо! — попросил он, словно бы взрослый. И Мария, скорее сердцем, чем умом, догадав, как должно ей поступить, охватила льняную головенку несмышленыша, прижала к груди и стала безотрывно целовать, приговаривая сквозь смех и слезы:

— Кровиночка, ягодиночка моя, простушечка моя милая! Ты хорошо поступил, хорошо!

И Варфоломей уверился, что поступил и вправду хорошо, и должен так поступать и впредь, и только непонятно было, отчего мама плачет? Ему самому было и невдомек, что он отдал прохожему мальчику лучшую, очень дорогого шелку, праздничную сряду свою.

О том, что и как произошло в тот день на деревне, Мария узнала лишь много спустя, от любопытствующей дворни, и, узнав, уже не стала ни о чем расспрашивать Варфоломея, ни искать пропажу, ни наказывать виновных. Только рубашки Варфоломею начали давать простые, белополотняные, или даже посконные, серые, тем паче что он теперь вновь и вновь находил нуждающихся, с кем должен был, по его мнению, поделиться имуществом, согласно заповеди Христа.

Дело же створилось поначалу совсем не христианское, ибо все началось с самой жестокой драки, в каких Варфоломей, пожалуй, еще и не участвовал до той поры.

Они с Петюшей, которого Варфоломей заботливо держал за руку, принаряженные и умытые, дошли до околицы и побрели лугом, на звонкие девичьи голоса, поглядеть на хоровод. В низинке, по-за огородами, уже близь самой березовой рощи, где девки ходили хороводом, а парни табунились невдалеке, высматривая издали своих зазноб, маленькие боярчата натолкнулись на стайку ребятишек-пареньков, и те тотчас начали задираться, кричать обидное, показывать рога и всячески дразнить захожих «чужаков» (с боярчатами и дворовыми деревня, как водится, враждовала). Оно бы и обошлось, тем паче что Варфоломей сам никогда в драку не лез. Ну, попихали бы друг друга, и разошлись. Но на беду у деревенских малышей оказался предводитель, подросток, года на четыре старше прочих, который, на правах старшего, учил малышей озорничать, а те глядели ему в рот, готовно исполняя всякое повеление «взрослого».

Дюжина ребятишек окружила двух боярчат, насмехаясь над ихней одежкой, над чистотою умытых лиц. Старшой потянул Варфоломея за рубаху, словно бы рассматривая иноземное портно, и намеренно больно ущипнул при этом. И все бы ничего, и это бы стерпел Варфоломей. Но вдруг старший мальчик, дурачась, хлопнул себя по лбу, и воскликнул:

— Ой! Парни, а я смекнул, почто они в нашу деревню зашли! На-

ших оделять! Сейчас одежку раздавать будут! — Он вытолкнул из толпы рваного-рваного маленького мальчика, оболочина коего состояла, почитай, из одних ремков, и приказал: — Делись с ним! Ну!

Боярчата молчали, ошеломленные. Варфоломей еще не сообразил, что ответить, маленький мальчик-оборвыш готовился уже зареветь с испугу во весь рот, но старшой ребячьей дружины не дал времени ни тому, ни другому, — ухватив Петюню за шиворот, властно повелел:

— Снимай порты!

Схвати он Варфоломея, неведомо еще, как бы тот и поступил. Возможно, снял чугу и отдал. Но Петюню, которого он опекал, водил за руку, сам сажал на горшок и умывал по утрам, — братика Петюню отдать на поругание деревенским было неможно.

— Пусти! — рявкнул Варфоломей и, покраснев, кинулся в драку, изо всех сил пихнув кого-то из малышей, стоявших у него на дороге. Замелькали кулачки, сопящие, неуклюжие малыши, размахиваясь, словно взрослые парни, идущие «стенкой», деревня на деревню, отчаянно мешая друг другу, полезли бить боярчат. Петюня заревел. Варфоломей, — он был сильнее прочих ребят его возраста, — подогретый ревом и слезами брата, сжав зубы, пихал, бил, опрокидывал друг на друга малышей и явно уже одолевал неприятелей, когда старший мальчик порешил тоже вмешаться в драку. Он легко отбросил Варфоломея и, глумясь, принялся было раздевать второго, плачущего боярчонка. Но Варфоломей с тихим утробным воем кинулся на него со всех ног. Отброшенный снова, он вновь вскочил и, не оправляясь, не стряхнув пыль и грязь с лица, опять, словно гончий пес на медведя, кинулся на старшего мальчика. Тот ударом по уху сбил было Варфоломея с ног, но боярчонок уцепился за ногу обидчика и рванул ее на себя. Старший мальчик полетел, вскочил и, озлясь, стал бить и пинать Варфоломея нешуточно. Но и Варфоломей уже был в забытьи. Не отдать на поругание Петюню, а там — хоть умереть! — была его единая мысль, когда он, получая и нанося удары, раз за разом кидался на крутые кулаки старшего мальчика. И когда тот, схватив Варфоломея в охапку, начал было крутить ему руки, Варфоломей совершил последнее, отчаянное: впился зубами в предплечье обидчика, и впился нешуточно. Ухватя упругую горячую плоть во весь рот, он так сжал зубы, что они с хрустом вошли, погрузились в мягкое, и рот сразу наполнился сладковато-соленым и пахучим, что было вкусом и запахом крови. И, почуяв это, Варфоломей безотчетно еще больше сжал зубы, не ощущая ударов по голове и плечам, и услышал новый глубинный хруст живого мяса, и новая свежая волна крови хлынула ему на рубаху и в рот. И тут он услышал вой, жалкий вой испуганного старшего мальчика, который уже не тискал и бил, а отпихивал Варфоломея, стараясь и не умея скинуть его с себя. Они оба катались по́катом по пыльной траве, и вот мальчик рванулся, почти оторвав кусок своего же мяса, и, с криком, заливаясь кровью, побежал в гору, в деревню, оставя ватагу испуганных малышей.

Варфоломей, еще не понимая, что остался победителем, кинулся бить других. В горячке он совсем не чуял боли от полученных ударов, только челюсти конвульсивно сжимались от непривычного соленого вкуса, и потому он не кричал, а рычал, и малыши, видя его кровавое, неистовое лицо, с плачем кидались наутек. По́ходя, не видя даже, он сбил с ног и опрокинул навзничь давешнего драного малыша, поставив и ему порядочный синяк под глазом, и когда опомнился, наконец, и оглянул кругом, на поле битвы их оставалось всего трое: он, Петюня, и маленький драный мальчик, горько рыдающий, размазывая грязь по разбитому лицу. Петюня плакал тоже, тоненько скулил, скорее от страха, чем от побоев, и Варфоломей стоял один, постепенно опоминаясь, начиная понимать, что остался нежданным победителем, и соображая — что же ему делать дальше?

— Ты иди! — строго приказал он драному мальчику. Но тот, с ужасом глядя на залитое чужой кровью страшное лицо боярчонка, прикрыл руками голову и заплакал еще сильнее. Ждет удара! — понял Варфоломей. Теперь уже ему, победителю, становилось стыдно. Этот «ворог», малыш, меньше Петюни, был совсем не виноват в драке. Не он требовал раздеть Петюню, его самого вытолкнул вперед, глумясь, взрослый мальчик, и чем же заслужил он, что теперь сидит на земле, испуганный и избитый, в окончательно разорванной дранине своей?

— Ну, не реви! — примирительно выговорил Варфоломей, нерешительно переступив с ноги на ногу. Он не видел самого себя, не видел своего рта в человечьей крови и не понимал, что тот, попросту, животно боится.

— Не реви, ну! — требовательней произнес Варфоломей, наклоняясь к малышу, но тот выставил ладони вперед и заверещал сильнее.

— Чего ты? — удивился Варфоломей, пробуя поднять мальчика на ноги.

— Да-а! А ты укусишь! — отмолвил тот с ужасом в глазах. Варфоломей обтер рот тыльной стороной ладони, увидел чужую кровь на руке и понял. Темный румянец стыда залил ему щеки.

— Ты... — начал он, — ты тово... Не укушу я... — Мальчик стоял перед ним тощий, маленький, разорванная рубаха решительно сползла у него с плеч, и горько плакал. Деревенские ребята все удрали, да и кому из них нужен был он, сын бродячей нищенки, ничей родич и ничей товарищ!

Теперь Варфоломею стало окончательно стыдно. Не так представлял он себе поверженного врага! И тут-то, неволею подсказанная некогда матерью, а ныне — взрослым обидчиком, пришла ему в голову благая мысль.

— Петюня! — требовательно позвал он. Брат, утирая нос, подошел ближе. — Петюня! — приказал Варфоломей, — сними чугу! — Братик, не понимая ничего, послушно снял с плеч верхнюю боярскую оболочину. Варфоломей скинул свою чугу, стащил рубаху с плеч, и, решительно сорвав с малыша остатки рванины, начал натягивать ему через голову хрусткий шелк.

— Пусти! Руки подыми! Повернись! Так! Теперь так! — приказывал он, обдергивая рубаху на малыше и застегивая ему пуговицы ворота. Оборвыш, перестав плакать и приоткрыв рот, во все глаза, с смятенным удивлением смотрел на Варфоломея. Варфоломей, одев рубаху, накинул на себя чугу братца, а свою, критически осмотрев разом похорошевшего в шелковой рубахе малого отрока, властно протянул тому, повелев:

— Одень! — теперь, в этот миг, он очень помнил, и даже про себя, в уме, повторил Христову заповедь: — «Егда просят у тебя верхнее платье, отдай и срачицу» — и сам удивился, почуяв, как это приятно, давать вот так, не считая, полною мерой! Малыш стоял перед ним растерянный, притихший, в шелковой, никогда прежде не ношенной им рубахе, в дорогой чуге, что доставала до самой земли.

— Иди теперь! — приказал Варфоломей, — и скажи матери, что я, Олфоромей Кириллыч, сам подарил тебе оболочину свою! Понял?! — Мальчик робко кивнул головой, все так же растерянно глядя на Варфоломея, и пошел, медленно, все оглядываясь и оглядываясь, и только уже дойдя до полугоры и поняв, что над ним не смеются, подхватил полы чуги руками и, заревев, со всех ног побежал домой, все еще мало что соображая и боясь, что вот сейчас его догонят, побьют и отберут дорогое боярское платье.

Варфоломей, проводив облагодетельствованного им малыша глазами, дернул брата за руку:

— Пошли! — избитому и полураздетому, ему уже было не до хоровода. Выбравшись на дорогу, близь дома, он оставил Петюню ко-

вылять, а сам стремглав побежал вперед, торопясь первым рассказать все матери, и уже сам почти забывая, несмотря на саднящую боль, про драку, предшествовавшую его первому духовному подвигу.

Глава 11

Мальчик из боярской семьи долго может не замечать наступающего оскудения. Ну, разве со стола исчезают осетрина и каша сорочинского пшена, и мать решительно говорит, что своя, пшенная, ничуть не хуже! И Стефан молчит, супясь, ест простую пшенную, даже с каким-то остервенением. И изюм становится редок, его дают детям по маленькой горсточке только по праздничным дням. И когда Варфоломей повторяет свой поступок еще и еще раз (уже без всяких драк он с той поры почитал нужным делиться своим платьем с неимущими), его, отпуская из дому, переодевают из белополотняной в простую холщовую рубаху, при этом нянька, пряча глаза, бормочет, что так способнее, не замарает дорогой, а если замарает, дак легше и выстирать... И с конями творится что-то неладное, их все меньше и меньше на дворе. И уже пошел счет: кому какая принадлежит лошадь, и им, малышам, достается на двоих один конь, пожилой спокойный мерин, да и того весной забирают пахать поле. Однако перемены в еде и рубахах не трогают Варфоломея совсем. Может, только умаление конского стада он и замечает. Надо сказать, что в те века и в те годы, о коих идет речь, любому знатному пройти пешком иначе, чем в церковь, было зазорно. Пеши ходили простолюдины, боярин же, воин, «муж», за всякой безделицею, пусть хоть двор один миновать, вскакивал на коня. Но разве ему, Варфоломею, в самом деле жаль было своего коня для братика Петюши?!

Иных проторей и убытков попросту не видать было младому отроку. А когда мать принималась, сказывая, штопать и перешивать свои платья, так становилось даже как-то уютнее и милее. Можно было подлезть ей под руку и, внимая рассказу, глядеть, как ловко ныряет в складках переливчатой ткани тонкая острая игла в неустанных материнских пальцах.

Другое дело Стефан. Тот оскудение дома переживал куда болезненнее родителей. Его коробило, когда отец брался за топор или сам запрягал коня. Вопросы и взгляды сверстников задевали его кровно, и он нарочито вырабатывал в себе гордость во всем: в походке, в посадке верхом — чуть-чуть небрежной, — в надменном прищуре глаз, в том, как сказать, как ответить, в презрении, наконец, к «земным благам» (с горем чувствуя все же, что презирать блага земные, их не имея, это не то же самое, что отбросить имеющиеся в изобилии блага, как поступил Алексей, человек Божий, или индийский царевич Иосаф...)

Намедни один из приятелей, Васюк Осорьин, похвастал новым седлом с бирюзою и красными каменьями, купленным в Орде. Стефан хотел было снебрежничать, но загляделся невольно на чудную работу неведомого мастера из далекой Бухары, на извивы узора и тонкое сочетание темной кожи, золотого письма и небесно-голубых, в серебряной оправе, пластин дорогой бирюзы, среди которых темно-красные гранаты гляделись каплями пролитой крови...

— Твой батька с самим Аверкием в княжой думе сидит, дак мог бы, поди, и тебе куплять чего поновей! — небрежно изронил Васюк, кивнув на старенькое седло Стефана. Стефан отемнел ликом, скулы свело от ненависти, — хотя Васюк явно и не издеваться хотел, а так, попросту с языка сорвалось, — не ответив, ожег коня плетью и пошел наметом, не разбирая пути, нещадно полосуя бока ни в чем не повинного гнедого и не чая, как, с какими глазами воротит он завтра в училище?

Оружный холоп, далеко отстав от молодого господина, напрасно кричал ему погодить. Стефан ничего не слыхал, горячая кровь била в

уши, и только уж подлетая к дому, умерил скок взмыленного скакуна, начав приходить в себя. И тогда жаркий стыд облил его всего: как это он, из-за седла какого-то, из-за собины, проклятой собины! Прельстили... драгие камни! Его! Книгочея!

Во дворее стояли кони, возки, телеги. По наряду признал, что в доме Тормосовы. Приехал, значит, и Федор, родня ему, поскольку был женат на старшей сестре, и Иван Тормосов, младший брат Федора. И баб, верно, навезли, и холопов! — подумал Стефан, расседлывая и вываживая коня. Он стеснялся взойти в горницу, чтобы гости не увидели гнева на его лице и не стали трунить над ним, как нередко позволял себе, на правах старшего, Федор Тормосов.

В горнице меж тем шел неспешный спор — не спор, беседа — не беседа. За столом, супротив Кирилла, сидели оба Тормосова, Иван с Федором, Онисим, старый Кириллов, прискакавший из Ростова с тревожною вестью (уже дошли слухи о готовящейся казни князя Дмитрия в Орде), свояк Онисима, Микула и еще двое родичей Тормосовых. Был и протопоп Лев с сыном Юрием, приятель хозяина. На самом краю стола примостились, не открывая ртов, старший оружничий Даньша с ключником Яковом.

Уже отъели стерляжью уху, уже и от мясных блюд, от порушенного гуся с капустой и от белой праздничной каши отваливали гости, протягивая руку то к моченому яблоку, то к сдобным заедкам, а то и запуская ложку в блюдо с киселем. Слуги разливали душистый мед и квасы. Мария обнесла гостей дорогим красным фряжским в серебряных чарах, и каждый, принимая чару, степенно вставал и воздавал поклон хозяйке дома, а захмелевший Онисим даже и целоваться полез, и Мария, подставив ему щеку: — «Ну будет, будет!», — мягко останавливала и усаживала гостя...

Разговоры, однако, велись за столом невеселые. Дмитрия в Орде казнят, это было ясно для всех, и кто станет нынче великим князем?! А от дел господарских, далеких, — ибо Тверь ли, Москва одолеет, Ростову все одно придет ходить в воле победителя, — перешли уже к нынешней тяжкой поре, хлебному умалению, разброду во князьях, к тому, что смерды пустились в бега, прут и прут на север, подальше от княжеских глаз, что народ обленился, ослаб в вере, в торгу поменело товаров и доровгь стоит непутем, бесермены за любую безделицу прошают цены несусветные, а холопы сделались поперечны господам и ленивы к труду.

— Надежды на Господа одного! — повторял уже в который раз Кирилл. — С той поры, как князь Михайло Ярославич, царствие ему небесное, мученическу кончину прия, так ныне надежда на Господа одного! По любви, по добру надобно...

Федор Тормосов, отваля к резной спинке перекидной скамьи и постукивая загнутым носком мягкого тимового сапога по половице, посмеиваясь, в полсерьеза, возражал тестю:

— Бог-то Бог, да и сам не будь плох! Ты вон полон дом нищебродов кормишь, а что толку? От Господа нам всем, да и им тоже, надлежит труды прилагать в поте лица, да! Холопов-то не пристрожишь, они и вовсе работать перестанут!

— Ну, этого ты, Федор, не замай! Милостыню творить по силевозможности сам Исус Христос заповедал! — строго отмолвил Кирилл. (Он не любил, когда зять начинал вот эдак подшучивать над его падающим хозяйством.) Но Федор, играя глазами, не уступал. Вольно развалясь на лавке, раскинув руки — вышитая травами рубаха в распахнутой ферязи сверкала белизной, — вопрошал:

— По тебе, дак и всех кормить даром надоть, а с каких животов?!

Тут и Иван Тормосов подал голос:

— Церкви Христовой достоит спасать души, а не кошели нераскаянных грешников!

— Почто кошеля? С голоду мрут! — возвысил голос Кирилл (в этот миг Стефан тихо вошел в палату и стал у притолоки).

— А даже ежели он умирает с голоду! — наступал Федор. — Но жаждет хлеба земного, а не манны небесной, что с им делать церкви? Сам посуди!

— Милостыню подают не с тем, чтобы плодить втуне ядящих! — вновь поддержал брата Иван. — Погорельцу тамо, увечному, уже во бранях за ны кровь свою пролия, сирому... А коли здоровый мужик какой ко мне припрет, — иди, работай! А нет, — с голоду дохни! Куска не подам!! Да и прав Федор, церковь души пасет, а не оболочину нашу бренную! Отец протопоп, изрони слово!

Отец Лев, что сосредоточенно грыз гусиную ногу, отклонился, обтер тыльной стороною ладони рот, прокашлял, мрачно глядя из-под мохнатых бровей, повел толстою шеей, тряхнув густой гривою павших на плеча темно-русых волос, и протрубил басом:

— Речено бо есть: «Не хлебом единым, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих, жив человек!» — сказал, и, утупив очи, вновь вгрызся в гусиную ногу.

— Вот! — поднял палец Иван Тормосов. — Не хлебом единым! Это кудесы ворожат, мол, взрежут у кого пазуху, достанут хлеб, да серебро, да иное что, лишь бы рты да мошну набить, об ином и думы нет! Дам хлеб, — беги за мною! Словно люди — скот безмысленный!

— И Христос накормил пять тысяч душ пятью хлебами! — сердито бросил Кирилл.

— Накормил! — Федор уже не посмеивался, а спорил взаболь. Качнулся вперед, бросив сжатые кулаки на столешницу. — Дак не с тем же, чтобы накормить! А чтобы показать, что оно заботы не стоило! Они же люди, слушать его пришли! А тут обед, жратье, понимаешь... Ну! Он и взял хлебы те: «Режьте! На всех хватит!» Они, может, после того сами, со стыда, делиться стали меж собой! Кто имел, — другим отдал! Может, тут и чуда-то никакого не было! И дьяволу Христос то же рек в пустыне! Вон спроси Стефана, он у тебя востер растет!

Стефан, который так и стоял, словно приклеенный к ободверине, заложив за спину руки, пошевелил плечом, и когда к нему обратились лица родителя и председящих, буркнул угрюмо и громко:

— Я в монахи пойду!

— Вырасти еще! — остывая, возразил отец.

— Всем бы нам в монастырь идти не пришлось! — задумчиво отозвался Иван Тормосов. — Худо стало в Ростовской земле!

Онисим, что в продолжение спора тупо сидел, уставя взор в тканую, залитую соусами и медом скатерть, тут поднял глаза, крепко потер лоб ладонью и вымолвил, кивнув:

— Братьев стравливают! Задумали уже и град делить на-полы, вота как!

— Нейметце... — процедил сквозь зубы Юрий, протопопов сын, никого не называя, но председящим и так было понятно, кто мутит воду, вносит раздор меж молодых ростовских князей, Константина с Федором.

— А Аверкий? — спросил доныне молчавший Микула.

— Что Аверкий! — пренебрежительно пожимая плечами, отозвался Федор. — Ты не можешь, и он тоже не может, не на кого опереться!

Наступила тишина. И Кирилл, махнувший рукою сыну — уходи, мол, тамо поешь! не время, не место! — тоже поник головой. Опереться, и в самом деле, было не на кого, ежели сам епарх градской, тысяцкий Аверкий, бессилен что-либо сотворить.

— А коли что... убегать... — задумчиво довел мысль до конца Федор Тормосов. — На Белоозеро али на Сухону, на Двину! Земли тамо немеряны, места дикие, богатые... Лопь, да Чудь, да Югра, да прочая Самоядь...

— Уму непостижимо! Нам, из града Ростова! — супясь, пробормотал Микула.

— И побежишь! — невесело пригубливая чашу хмельного белого боярского меду, отозвался Онисим, — и побежишь... — Он вновь потерял нить разговора и, пролив мед, свесил голову.

— Детки как? — прерывая тягостные думы сотрапезников, произнес отец Лев, отнесясь к хозяину дома и обтирая пальцы и рот нарочито расстеленным рушником. (Стефана сестра Уля, помогавшая матери, на правах взрослой и замужней жонки взъерошив ему волосы, уже увела кормить.) Кирилл, встрепенувшись, отозвался:

— За Варфоломея боюсь! Так-то разумен, не сказать, чтобы Господь смысла лишил, и внимателен, и к слову послушлив, и рукоделен: даве кнутик сплел, любота! Лошадей любит... Да вот только странен порою! Стал ныне нищим порты раздавать! Младень, а все по Христу, да по Христу... И поститься уже надумал, за грехи, вишь... Не стал бы юродом! У меня одна надея, Стефан! Был бы князь повозрастнее, представить бы ко двору, с годами и в свое место, в думу княжую... А ныне... Невесть что и будет еще!

Глава 12

Уже позади Псалтирь, Златоуст, труды Василия Великого и Григория Богослова. Между делом прочтены Амартол, Малала и Флавий. Проглочены Александрия, Девгениевы деяния и пересказы Омировых поэм о войне Троянской. Стефан уже почти одолел Библию в греческом переводе, читает Пселла, изучая по его трудам риторику и красноречие, а вдобавок к греческому начал постигать древнееврейский язык. Уже наставники не вдруг дерзают осадить этого юношу, когда он начинает спорить о тонкостях богословия, опираясь на труды Фомы Аквината, Синессия или Дионисия Ареопагита. А инок Никодим, побывавший на Афоне и в Константинополе, подолгу беседует с ним, как с равным себе.

И уже прямая складка пролегла меж бровей Стефана, решительным ударом расчертив надвое его лоб. Уже он, пия, как молоко, мудрость книжную, начинает задумывать о том, главном, что стоит вне и за всяким учением и что невестимо ускользало от него доднесь: о духовной, надмирной природе всякого знания и всякого деяния человеческого, о чем не каждый и священнослужитель дерзает помыслить путем...

И как же больно задевают его между тем тайные уколы самолюбия от немыслимых мелочей! От того, что не сам он надел простую рубаху вместо камчатой, а мать, с опусканием ресниц и с дрожью в голосе, повестила ему, что не на что купить дорогого шелку... Что не из седого бобра, а всего лишь из выдры его боярская круглая шапочка, и не кунья, как у прочих боярчат, а хорьковая шубка на нем. Что седло и сбруя его коня, хоть и отделаны серебром, но уже порядочно потерты, и что ратник, сопровождающий его и ожидающий с конем, когда Стефан кончит ученье, увечный седой старик, а не молодой щеголь, как у прочих. И как возмущают его самого эти низкие мысли о коне, платье, узорочье, от коих он сам все-таки никак не может отделаться, и краснеет, и бледнеет от насмешливых косых взглядов завидующих его успехам сверстников. А те, словно зная, чем можно уколоть Стефана, то и дело заводят разговоры о конях, соколиной охоте, богатых подарках родителей, хвастают то перстнем, то шапкой, то золотой оплечной цепью, подаренной отцом, то — как давеча Васюк Осорин — новым седлом ордынским, то оголовьем, то попоною или иной украсой коня. И — даром, что рядом иные дети, в посконине, в бурых сапогах некрашеной кожи, а то и в порсинях, дети дьяконов и бедных попов! Все одно — стать первым! Иметь все то, что имеют богатые сверстники, и тогда

уже отбросить, отвергнуть от себя злое богатство, гордо одеть рубище вместо парчи и злата!

Он боролся с собою, как мог. Поминал, что любимый им Михаил Пселл, отбросив пышное великолепие и место первого вельможи двора, пошел в монахи... Но это вот «отбросив» и смущало. Было что бросать! Наставники прочили ему высокую стезю духовную, сан епископа в грядущем. А он? Он хотел большего! Чего? Не понимал еще сам.

Все чаще он, отсекая от себя возможность духовной карьеры, ввязывался в безумные споры о самой сущности церковного вероучения. В воспаленном мозгу подростка вырастали и рушились целые пирамиды невозможных идей, среди которых одна горела огнем неугасимым — спасти Русь! А что Русь гибнет, это видел он по себе, по хозяйству отца, по граду Ростову, и уже не верил, что в Твери, в Москве было иначе. Нет! Иначе не было! Всюду распад, упадок, разномыслие и кровавая борьба пред лицом мусульманской Орды и грозно надвигающегося католического Запада. Он лишь раз видел митрополита Феогноста, хотел поговорить, и — оробел, не смог. А тот, естественно, не заметил высокого юношу с огневым, стремительным лицом в толпе учащихся боярчат и детей пастырских. Русь гибла, да, да! Гибла Русь, как и его отец, как и град Ростовский, и должно было совершить нечто великое, чтобы поднять, разбудить дремлющий дух народа!

...Он спускался вниз по крутой узкой лестнице, что вела на полати храма, в книжарню, куда он только что относил толстый том соборных уложений, и, минуя двери училища, придержал шаги. Урок кончался, и наставник древнееврейского, отец Гервасий, поучал очередного ленивца:

— Сыне мой! Достоит прилежно учити язык избранного самим Господом народа!

В келье, откуда, один по одному, выходили ученики, было душно. В маленькие оконца, сквозь желтые плиты слюды, узкими лучами проходил скупой свет. Тяжкие черные тела книг на полицах, казалось, увеличивали тесноту и мрак.

Около кафедры стояли, беседуя, иеродиакон Евлампий и афонский старец Никодим.

Стефан встряхнул кудрями, словно просыпаясь, пропустив последнего из учащихся, ступил в келью и спросил:

— Почему только одни евреи — избраны? А мы?

— Тайна сия велика есть! — отмолвил, прищуриваясь, отец Гервасий. Он застегивал медные жуковинья толстой книги и взглядывал исподлобья на строптивого отрока, который уже многажды ставил его втупик своими вопросами. Афонский монах с интересом поворотил лицо к Стефану.

— Сказано Исусом о пришедших в разное время, и те, кто после всех явился, равную плату получили за труд от хозяина вертограда обительного! — продолжал, возвышая голос, Стефан. (Его уже понесло. Мысль, сложившаяся у него в голове в стройное целое, должна была излиться немедленно, все равно перед кем.) — И митрополит Иларион, в «Слове о законе и благодати», глаголет то же: мы народ, восприявший благодать Божию, подобно тому, как Рахиль пришла после Лии. И милость, равно, как и казни, и гнев Господень равно с прочими христианами и языками нань распростерты!

Иеродиакон одобрительно склонил голову. И тут бы и остановиться Стефану, но остановиться он уже не мог. С ненавистью глядя в лицо Гервасия, как бы придавленное сверху вниз, с бородою, разлезшейся вширь, глядя в его маленькие острые глазки (и не первенство народа иудейского он защищает, а свое право быть вторым, тихим, незаметным, свое право таиться за чьею-то спиною, свою безнаказанность... О-о, он уцелеет даже под бесерменами! От таких-то и гибнет Русь! Так вот, нá тебе! Нá тебе!):

— Наоборот! Иудеи отступили от Господа! Сам же Инсус сие

изрек: «Отец ваш диавол, и вы похоти отца вашего хощете творити: он человекоубийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем, егда глаголет, — лжу глаголет, яко лжец есть и отец лжи!» — сказано в Евангелии от Иоанна. И Иегóва, это дьявол, соблазнивший целый народ! Народ, некогда избранный Богом, но соблазненный золотым тельцом и приявший волю отца бездны! К чему суть заповеди Ветхого завета? К чему речено, что прежде рождения человека предначертано всякое деяние его? Что защищают они? Мертвую косноту безмысленного зримого бытия, право человека на безответственность в мире сем! Ибо, ежели до рождения предуказаны все дела его, то нет ни греха, ни воздаяния за грех, нет ни праведности, ни праведников, а есть лишь избранные и — отреченные, и только!

Тому ли учил Христос? Не вдобавок к старым, а вместо них дал он две — всего две! — заповеди: «Возлюби Господа своего паче самого себя, и возлюби ближнего своего, яко же и самого себя!». Не отвергал ли он, с яростию, мертвую внешнюю косноту обрядов иудейских? Не с бичом ли в руках изгонял торгующих из храма? Не проклял ли он священников иудейских, говоря: «Горе вам, книжници и фарисеи»? Не требовал ли он деяния ото всякого, как в притче о талантах, такожде и в иных притчах своих? Не показал ли он сам, что можно поступать так и инако, не воскрешал ли в день субботний, не прощал ли грешницу, не проклял ли древо неплодоносное? Не он ли заповедал нам, что несть правила непреложного, но есть свыше данное божественное откровение?

Не он ли указал на свободу воли, данную человеку Отцом Небесным? И что с каждого спросится по делам его? Как по-гречески «покайтесь»? Ежели перевести на нашу молвь? «Покаяти» означает «передумать», вот! Думать и передумывать учил Христос верных своих!

Лицо Гервасия пошло пятнами. Он стукнул посохом:

— Ветхий завет принят соборно церковью!

— Соборно не принят! — возразил Стефан. — Токмо преданием церковным!

Иеродиакон и старец Никодим посерьезнели.

— Скажи, отче! — не отступал Стефан. — Бог-Отец, это и есть Иегова?

Гервасий шумно дышал, не отвечая.

— Ежели Иегова, то сим нарушается единство Троицы: Бога-Отта, Сына и Духа Святого! И сам же ты, отче, знаешь, каково тайное имя Иеговы: элоим, что значит: бездна! Ничто!

— Ересь! Ересь Маркионова! — вскричал Гервасий, — и слушать не хочу речи сии!

— Что же ты, сыне мой, — спокойно вопросил афонский старец, — отринешь и Ветхий завет, и пророков, и Псалтирь, и иные боговдохновенные книги?

— Не отрину, но и от учения Господа нашего, Иисуса Христа, не отступлю! — бледнея, отвечал Стефан. — И паки реку: нет избранных пред Господом! Но по делам и по грехам казнит или милует ны, обращая милость свою равно на все народы!

Но уже все трое смотрели сурово, и Стефан понял, постиг вдруг, что он преступил незримую черту, далее коей не должен был дерзать.

— Утвержденное Соборами, как и принятое обычаем церкви Христовой не тебе ниспровергать, сыне мой! — с мягкою твердостью заключил Никодим. — А о сказанном тобою реку: — чти прилежнее Златоуста и Василия Великого! Иди и покайся в гордыне своей! Передумай, сыне! — присовокупил он с чуть заметною улыбкой.

. . . .

Они лежали вечером вдвоем на пригорке за домом. И Варфоломей, коего не часто баловал беседою старший брат, во все уши внимал сбивчивому рассказу Стефана о своем споре и о том невольном откры-

тии, что Ветхий и Новый заветы противоположны друг другу и что, высказав это, он оказался, нежданно для себя, приверженцем ереси Маркионовой.

— Наверно, я не прав тоже, — говорил Стефан, покусывая травинку, — но ведь послан же он был к заблудшим овцам стада Израилева! К заблудшим! А иудеи не приняли его! Они и ране того уклонялись, служили золотому тельцу, и Господь казнил их жезлом железным.

— Степа... А что такое золотой телец? Это такой бык из золота, да? — торопливо переспросил Варфоломей, боясь, что брат засмеет его или потеряет интерес к разговору и уйдет. Но Стефан, вопреки страхам Варфоломея, объяснил терпеливо и просто:

— Золотой телец — это само богатство, понимаешь? Приверженность к земному, когда земное, собину всякую, еду, одежды, золото, серебро, коней, считают главным, самым важным в жизни, а все другое — о чем люди думают, духовное всякое, — все это уже пустым, ненужным, или вторичным, что ли...

— И что, жиды, они все так только и считают? — вопросил Варфоломей.

— А! — зло отмахнул головою Стефан. — Жиды, жиды... Это во всех нас! Та и беда с нами! Что не духовное, не честь, ум, совесть, волю Господню, а земное богатство поставили богом себе! И у нас кто не дрожит за собину? За порты многоценные, стада коневые, терема, земли, серебро?.. И все мало, мало... Надо преже себя очистить от скверны! К чистому нечистое не пристанет! Вот, тебя переодели в посконные рубахи, не чуешь разве обиды в том?

— Нет! — простодушно ответил Варфоломей. — В них тепло! И няня бает, что так способнее! Не все равно, разве, что на себе носить?

Стефан задумчиво промолчал, погодя, вымолвил тихо, не глядя на брата:

— Это ты днесь так баешь, а когда подрастешь... — Он помолчал, ожесточенно кусая стебелек, окончил круто: — Сам не узришь, другие укажут!

— Степа! — решился спросить Варфоломей. — А ты ведь самый умный в училище? Ну, из учеников! — быстро поправился он. — Ты тоже должен яко Христос презирать всякое тленное добро, которое мыши и черви едят, как учил Христос, да?

В высоте, недвижные, висели облака над землею, и едва слышно гудел, осматривая чашечки цветов, труженик-шмель. Стефан, не отвечая, закрыл лицо ладонями и повалился ничью в траву.

Продолжение следует

ЛЕОНИД БОРОДИН

ВЕЧНОЕ И ДОРОГОЕ

Русские песни

В тот утренний сумрак,
когда облака
обычной росою поля окропят,
приди, растворись, исчезни.
В оврагах и плесах, полях и стогах
своими глазами увидишь,
как спят
непетые русские песни.
Будь скромен и чуток!
Немногим дано
услышать непетые песни земли,
увидеть их в тихом покое.

А те, что услышаны,
те уж давно
деревни российские нам сберегли,
как вечное и дорогое.
И сам я ничто. Я ведь сам
не смогу
ни звука,
глухую струну теребя,
хоть в небо себя вознеси я.
Но только дыханье твое стерегу,
я только лишь списываю у тебя,
Россия!

* * *

Мы уходили от тумана
на длиннохвостых кобылицах,
росу копытами сбивая,
в росе копытами звеня.

Сквозь удила храпели кони,
хлестали гривами по лицам,
и в нашем радостном побеге
ты не отстала от меня!

БОРОДИН Леонид Иванович родился в 1938 году в Иркутсие. Окончил педагогический институт в Улан-Удэ. Известный русский прозаик, лауреат литературных премий: французской «Свобода» и итальянской «Гриизане кавур». Не так давно стал лауреатом премии журнала «Наш современник» за публикацию повести «Третья правда». Как поэт в нашем журнале публикуется впервые. Член Союза писателей СССР. Жнвет в Москве.

Мы уходили от тумана,
и мы неслись, и мы летели,
и все случилось, как случалось
в забытых юношеских снах.
Мы в этом яростном галопе
смогли познать на самом деле,
что могут двое, если двое
на стременах!

Без колдовства и без обмана
вдруг стала явью небылица —
в одном рывке, в едином вихре
навстречу призрачности дня
мы уходили от тумана
на длиннохвостых кобылицах,
и в нашем радостном побеге
ты не отстала от меня!

Выбор

От любимых и близких уйти,
позабыть, потерять, потеряться,
одиночеств безликое братство
на распутье судеб обрести,
и брести с этой скорбною ношей
по стезе обесцененных лет...
Равнодушной январской порошей
заметется петляющий след...
Или нет?
Увязаться, совпасть,
слиться с ритмом
общественной прыти,
под колеса грядущих событий
на миру звонкой жертвою пасть
и пропасть?

Чтоб воскреснуть однажды
гулким лозунгом в глотке времен,
манифестом распятых имен
возвестить утоление жажды?

Только каждый возьмет по плечу.
Этот выбор свершается просто:
от рождения и до погоста
сам собой оставаться хочу.
И свечу про удачливость лет
пусть вмонтируют в чернь обелиска
за усталый, петляющий след,
за кровавые полосы риска!

✦✦✦

* * *

Вечер к мудрому утру ревнуя,
Торопясь от версты до версты,
Ловим жадно эпоху иную,
За собою сжигая мосты.

Но каких бы удач ни досталось,
Рано ль, поздно ль, но по следу в
след
Принесем утомленную старость
К пепелищам истраченных лет.

Вороша, разрывая руины,
Год за годом, недели и дни,
Вдруг склонимся, рассыплем седины
Белым пеплом на черные пни.

Опечалены думой одною,
Станем мы негрешны и чисты.
Молодые пройдут стороною,
За собою сжигая мосты.

* * *

Узел бессмыслиц умом не расплесть.
В тайне бессмыслицы мысль не убита.
Верую, Господи, в то, что ты есть!
Верю в святую запутанность быта.

Верю: однажды в назначенный срок
Вспомнятся болью прошедшие весны.
Верую в мудрость забытых дорог,
Верую в щедрость дорог перекрестных.

Робостью шага заслужена месть —
Высушат душу тоской изуверы!
Верую, Господи, в то, что ты есть!
Как бы я, Господи, выжил без веры!

Топчут и топчут,
И камнями вслед...
Памятник Зверю из этих камений!
Господи! Сколько растоптанных лет!
Господи! Сколько затоптанных мнений!

Миг немоты непроснувшихся глаз
Выстучит горестно ливень осенний.
Верую, Господи, вспомнишь о нас
В радужный, радостный день воскресений!

* * *

Порою я схожу с ума.
Как плети — в спину километры...
И эта подлая зима,
И эти ветры, ветры, ветры...

Так пропади ж ты! Провались,
Встань на дыбы,
Развейся прахом...
Все размечи единым взмахом,
Моя взбесившаяся мысль!

Уж я и проклят и прощен,
Творю возмездие земное
За все, что сделали со мною,
За все, что сделают еще!

Расплата гневная, вершись!
В моем прищуре сотня молний.
Все справедливое исполни,
Моя взбесившаяся мысль!

. . . . . .

Но всякий раз одно и то же —
Мне в душу чей-то скорбный
взгляд.
И вот уже глаза болят.
Прищуры молнии не множат.

И вот уже твержу: «Уймись!»
Восторгу злобных повелений.
И опадает на колени
Моя пристыженная мысль.

Кассандра

Едва заря походкой сонною
За горизонт направит путь,
Войди, Кассандра, в клеть бетонную
И с пленным пленницей побудь.

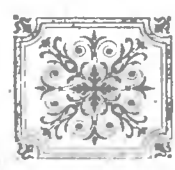
Все исчерпал надежды дочиста —
Не знать, не видеть, не дышать!
Но все ж последнее пророчество
Ты не спеши провозглашать.

Все, что богами нам завещано,
Сегодня вычеркнуто зло.
Сегодня ты — всего лишь женщина,
Которой просто не везло.

Так принимай меня упрямого!
Пей кубок верности до дна!
Ты так прекрасна, дочь Приамова,
Так безнадежно холодна.

Молчи! Из фразы боль не вычтется.
Я все скажу за нас двоих.
Сегодня ты — моя владычица!
А я — лишь раб у ног твоих!

Зато потом, когда все кончится
И серость дня вползет в окно,
Произноси свое пророчество!
И пусть исполнится оно!



ЕРЕМЕЙ АЙПИН

БОЖЬЕ ПОСЛАНИЕ

РАССКАЗ

На рассвете я вышел во двор. И на чистом снегу увидел бумагу. Ночью выпала пороша — на ней ни следочка, ни царапинки. Кругом тишина. Деревня еще не встала... Постоял над бумагой. Думаю: откуда взялась? Кто принес? Не с неба же, подумал, свалилась?.. Ну, постоял с такими думами, потом поднял бумагу, развернул ее. Там что-то написано. А что — читать не умею. Думаю, пойду жене и дочке покажу. Не случайно же бумага попала в мой двор.

С бумагой в руках вернулся в дом.

— Вот, — говорю, — жена, бумагу во дворе нашел. Прочти, что там написано. Что это за бумага?

Жена прочитала бумагу и заплакала.

Дочь прочитала бумагу — и тоже заплакала.

Обе плачут.

Я стою, молчу.

Потом говорю им:

— Скажите, какую весть эта бумага принесла. Скажите, как бы тяжела ни была эта весть...

Жена сквозь слезы говорит:

АЙПИН Еремей Данилович родился в 1948 году. Окончил Ханты-Мансийское педучилище и Литинститут. Работал помощником бурового мастера в Аганской нефтеразведочной экспедиции, плотником на строительстве станционного поселка близ Нижневартовска. Автор книг прозы «В ожидании первого снега» и «В тени старого кедра» и романа «Ханты, или Звезда Утренней Зари». Народный депутат СССР.

— Верховный Бог тебе Послание послал, чтобы ты на войну пошел...

И дочка сквозь слезы подтверждает:

— Да, это Божье Послание, чтобы ты на войну пошел...

И все плачут.

Я говорю им:

— Женушка моя, не плачь!.. Доченька моя, не плачь!.. Что Бог задумал — того не миновать...

Все плачут, никак не уймутся.

Говорю им:

— Не плачьте. Может, все обойдется. Пока живется — надо жить...

Жена с дочкой вроде бы немного успокоились, выплакали свои слезы.

Я забрал у них Божье Послание.

Весть о войне уже давно прошла по всей Оби. Но до нашей деревни война еще не добралась. Я жил как все люди. Была зима. И я занимался зимними делами. В тайгу ходил на охоту. На озера и реки ездил на рыбалку.

Неторопливо шло время. Нарождались и умирали небесные Луны. Разные слухи о войне приходили и уходили. Война по Иртышу спустилась до Оби, двинулась по ней вниз, а потом повернула вверх по реке. Война незваной гостьей заходила во многие селения, заглядывала во многие большие и малые притоки. В нашу сторону шла война. И я однажды почувствовал, что хочу идти на войну. Желание такое родилось. Во мне какой-то зуд появился — на войну, на войну.

Ну, живу. Что тут делать? Не бежать же мне из дому, искать войну...

Так вот живу.

По слухам, война все ближе и ближе подбиралась к нам.

И вот однажды в нашу деревню красные пришли. Говорят мне красные:

— С нами на войну иди, Липецкий.

Я говорю:

— Винтовку мне дайте. У меня винтовки нет.

— Винтовок у нас нет для тебя.

Я руками развел, говорю:

— Не пойду же я воевать с одними кулаками.

— Верно, — говорят красные. — С одними кулаками много не навоюешь.

— Значит, не судьба мне с вами, — говорю я.

Не стали красные настаивать, ушли.

Прошли дни. Может, недели. Деревню заняли белые. Говорят мне белые:

— С нами на войну иди, Липецкий.

Я им то же говорю, что и красным говорил.

— Винтовку мне дайте, — говорю. — У меня винтовки нет.

Белые отвечают:

— Винтовку тебе дадим. И коня боевого дадим.

И точно. Винтовку дали. Коня дали. Саблю дали.

Так я военным человеком стал. Так я пошел воевать за белых. Так я встал на сторону Белого Царя, а не Красного.

Подумал: значит, так моему Богу угодно.

Белый командир мне говорит:

— Нам известно: ты, Леня Липецкий, охотник. Верно ли это?

— Да, — говорю. — Охотник.

— Здешние места — дороги-реки — хорошо знаешь?

— Как охотнику не знать, — отвечаю я. — Конечно, знаю.

— За нами красные идут, — говорит командир. — На некоторое время задержать их нужно, дорогу им закрыть надо...

Я молчу, слушаю.

— Сможешь это сделать? — спрашивает командир.

Я подумал, потом говорю:
— Если надо — дорогу им закрою.
— Хорошо, — сказал командир. — Это будет твое первое дело. Вот тебе четыре солдата — ты над ними главный. Посмотрим, на что ты способен...
Я говорю:
— Нет, так дело не пойдет.
— Что тебе не нравится? — спрашивает командир.
Я говорю:
— Дело непростое — закрыть дорогу целому войску.
— Знаю, — говорит командир. — Скажи, что тебе еще нужно? Мало четырех солдат? Но больше дать не могу...
Я отвечаю:
— Достаточно четырех, если я их сам выберу.
— Хорошо, — согласился командир. — Быть по-твоему.
И я сам отобрал четырех солдат.
На войне важно, кто рядом с тобой, кто слева и справа.
Красных со стороны Сургута-города ждали. Зимник вдоль Оби по луговине идет. Недалеко от Ваты, нашей деревни, дорога в лес входит. Там грива есть. На этой гриве хороший лес растет. Вот там я и решил закрыть дорогу.
Дело было к весне, в пору наста. Так вот, на гриве, на расстоянии верной пули от дороги цепочкой посадил своих солдат. Каждому сам выбрал место. Каждому за сырым толстым деревом пробили наст и выкопали в снегу яму — окопчик по-военному. Потом каждому солдату срубил сухую жердину. Солдат держит комель возле себя, а на вершинку, что в стороне, каждый надел свою шапку. Устроили так, чтобы шапки просматривались с дороги. Самих солдат не видно, а шапки на виду.
Говорю солдатам:
— Выстрелите — за жердинку шапку шевельнете. Выстрелите — шевельнете. Пусть противник по пустым шапкам стреляет.
Такую вот хитрость придумали.
— Напрасно, — говорю солдатам, — не высовывайтесь из-за дерева, будьте осторожны.
Сам я расположился с краю, в стороне Ваты, где должна быть голова войска. Условились так: я закрываю дорогу спереди, а крайний солдат в цепи, что в стороне Сургута, отрезает путь назад. Он стреляет только после моего выстрела.
Так вот устроились, ждем.
Наконец показались красные.
И, когда они все въехали в лес и головные сани поравнялись со мной, я выстрелил в коня. Конь упал. Отряд встал. Дорога вперед закрыта. Зимник на гриве узкий, никак сани с убитым конем не объедешь.
Почти одновременно со мной выстрелил и крайний в цепи солдат. Он убил коня на последних санях. Значит, закрыл путь назад. Теперь противнику нет хода ни туда, ни сюда.
Тут послышались выстрелы по всей цепи моих солдат. А дорога пока молчала, не стреляла.
Смотрю, на головных санях с убитым конем вскочил командир, повернулся назад, что-то кричит. Потом взмахнул наганом — и начал палить в мою сторону. Пуля просвистела мимо меня. И я услышал, как она ударилась о дерево позади меня. Другая пуля срекошетила с лесины, под которой я лежал. И тогда я сделал второй выстрел — командир упал на сани.
На дороге поднялась суматоха. Шум, крики, беготня. Раздавались одиночные выстрелы. Видно, еще не могли опомниться от неожиданности.
Я еще раз выстрелил и шевельнул шапку на жердинке. Слышу, мои солдаты стреляют.
Наконец дорога открыла стрельбу по лесу. Свистели пули. Тут и там

они шмякались о деревья. Тут и там сыпались на снег срезанные пулями ветви.
Красные затаились на дороге: укрылись за санями, за трупами убитых лошадей и постреливали оттуда. В лес они не пошли. Не пошли потому, что не знали, сколько нас сидит в снежных окопах. Много или мало? Одолеть нас или не одолеть?
И когда перестрелка стала стихать и становилась уже бесполезной, я подал своим сигнал. И мы по насту побежали в глубину леса.
Красные увидели, что мы убегаем и нас мало, пустились за нами в погоню. А нам этого и нужно было.
Мы впятером быстро добежали до большого оврага, у которого лесная грива круто обрывалась. Спрыгнули в овраг и затаились под обрывом на заранее приготовленных местах. Овраг я тоже высмотрел загодя. Весной по нему шли талые воды. Но сейчас дно было сухим. И из-под обрыва он хорошо просматривался и простреливался.
Так, значит, добежали мы до оврага и каждый занял своё место под обрывом. Красные, бежавшие за нами, стали сваливаться на наши головы. Выскочили они из леса — смотрят, никого нет. И кинулись дальше через овраг. А тут наши пули... Удобная была у нас позиция. Сверху, над головой, пласт земли, поддерживаемый корневищами деревьев. С боков — берег оврага, подходов нет. Спереди — простреливаемое пространство. Никак не подберешься. Кроме того, наши места так были расположены, что каждый солдат охранял соседа справа и слева, чтобы ни на одного не могли неожиданно напасть.
Поняли красные — нас не взять. Отступили. В хвосте санного поезда они скинули на обочину убитую лошадь вместе с санями, развернулись и, кто остался жив, ускакали обратно в сторону Сургута.
Оставили они пятьдесят убитыми.
Вначале я вроде бы обрадовался победе. Радовался тому, что я остался жив. Что остались живы мои солдаты. Что я закрыл дорогу. Но чем больше я видел убитых, тем тоскливее мне становилось тогда. Сегодня здесь мы побили их. Возможно, в другом месте они побили нас. И я понял: победы нет. И поэтому, стало быть, нет и победителей. Белые — русские. И красные — русские. Белые — остяки. И красные — остяки. И все они — люди!..
И за что мы друг друга убиваем?! За что?!

+ +

— Вот так же, как мы сейчас с тобой, мы с Леней Липецким сидели коленка к коленке, и он все это рассказал мне слово в слово своими устами, — сказал мой старый зять Иван Степанович Сопочин-Первый и замолк.
Дело было в его зимнем доме в сосновом бору, на одном из левых притоков Священной реки Тромаган.
В доме стало тихо. Лишь в чувале [1] потрескивали дрова да за стеной, на улице, похрустывал снег под копытами оленей. Да изредка в бору гулко хлопало — это от мороза лопались «пузыри» деревьев.
Мой восьмидесятивосьмилетний зять Иван Степанович, сухонький старец с белой головой, сидел в кругу семьи и гостей и тоже молчал. Наконец тишину нарушил его старший сын. Спросил:
— Отец, ты говоришь про того Липецкого, который в каждом рукаве держал по пистолету и одновременно стрелял двумя руками?
— Да, про того самого, — подтвердил старец. — Про того...
— И по нашей реке, по Агану, про него много слухов ходило, — сказал я.
— Про того говорю, которого никак не могли поймать, — добавил мой старый зять.

[1] Чувал — очаг в виде камина из глины и жердей.

— Много рассказов я слышал о нем, — проговорил старший сын старца.
— А дальше что с ним было? — спросил я зятя-старика.
— Да-да, что же потом было? — заговорили в доме.
— Куда Липецкий подался?
— Как же его ловили?
— За что его ловили?
— Отец, расскажи, — подал голос и старший сын старца.
Старец молча выслушал всех, потом сказал неторопливо:
— А дальше вот что с ним было...
И снова дом затих. Лишь таежным родником журчал голос старца Ивана Степановича.

+ + +

Война немало ходила по нашей Земле. Ходила вверх и вниз по рекам. Потом ушла в сторону Восхода Солнца. Вместе с войной ушел и Леня Липецкий. К тому времени за военную смекалку белые дали ему командирский чин, стал заглавным в их отряде.

Много ли, мало воды утекло в Оби — закончилась война.

Красные побили белых.

Леню Липецкого ни одна пуля не тронула. Ни одна сабля не царапнула. Ни один осколок не задел. Он остался цел и невредим. Его, видимо, оберегало Божье Послание. Перед уходом на войну он сшил кожаный мешочек, сложил туда Божье Послание и повесил на шею под рубашку. И с той поры никогда не расставался с Божьим Посланием.

Так вот — борьба между красными и белыми закончилась. Война в слыхом не слыханные дали занесла Липецкого. Сколько-то времени он скитался по чужим землям, потом вернулся домой. Нет жизни, говорит, без своей земли, где родился и вырос. Не знаю, не помню точно — то ли сразу, то ли сколько-то пожил, — до города дошел слух, что вернулся Леня Липецкий, который сражался за Белого Царя. Впрочем, он и сам не скрывал, что воевал на стороне белых.

Красные допрос ему учинили. Перво-наперво, говорят, скажи Липецкий:
— На войну ходил?
— Ходил, — отвечает Липецкий.
— За белых воевал?
— За белых.
— Ходил освобождать Белого Царя?
— Спасать ходил.
— Чего же не спас?!
— Жаль, не успел.
— Красных бил?
— Бил в бою.
— Будешь за все это отвечать?
— Буду, — смиренно говорит Липецкий.
— Деваться-то тебе некуда, — смеются красные. — Так и так тебе придется отвечать! Вот следствие учиним, соберем все твои грехи в одну кучу, взвесим их, и предстанешь ты перед революционно-пролетарским законом нашего рабоче-крестьянского государства! И ответишь по всей строгости нашего правого суда и закона!

Липецкий молчит. Долго молчит. Потом говорит:
— Хорошо, но сначала мне объясните то, что я не понимаю.
— Спрашивай, — говорят красные. — Все тебе растолкуем, враз.

Липецкий и спрашивает:
— Сначала скажите: кто будет держать ответ за убитых белых?
— Белые против народа шли — нечего за них отвечать! — говорят красные.

— Кто будет держать ответ за убиенного без суда и закона Белого Царя? — спрашивает Липецкий.
— Он был тираном народа — туда ему и дорога! — отвечают красные.
— Кто будет держать ответ за убиенную без суда и закона Белую Царицу?
— Она тоже была тираном народа — туда ей и дорога!
— Кто будет держать ответ за убиенных детей Белого Царя?!
— Молчать! — закричали красные.
— Кто будет держать ответ за убиенных дочерей Белого Царя?!
— Молчать!! — взревели красные.
— Кто будет держать ответ за убиенного сына Белого Царя?!
— Молчать!!! — громыхнули красные.
— Вы меня сюда молчать или говорить позвали?! — спрашивает Липецкий.

Когда красные немного успокоились, напомнили ему:
— Ты, Липецкий, не забывайся — ты в наших руках!
— Никогда в ваших кровавых руках не буду, — говорит Липецкий. — Моя жизнь в руках моего Небесного Отца. Как Он решит — так тому и быть.

Посмеиваются красные, не верят ему.

А про семью Белого Царя он не напрасно спрашивал красных. Дело было так. Когда власть взял Красный Царь, то Белого Царя с женой и детьми на нашу землю привезли. Тут им житье определили. Так вот, Липецкий сам рассказывал, как со своими солдатами ходил спасать царскую семью сначала в Тобольск-город, потом в Катерины-Царицы-город[2]. Да все не успевал вовремя, все опаздывал. И поэтому в их ужасной смерти он до конца жизни винил и себя.

— В любом случае тебе, Липецкий, придется держать ответ, — говорят красные.
— Придется, но не перед вами, — отвечает Липецкий.
— Перед законом рабоче-крестьянского государства!
— Нет у вас никаких законов: ни революционно-пролетарских, ни рабоче-крестьянских, ни человеческих.
— Ошибаешься, Липецкий: есть у нас справедливые законы!
— ...по которым можно лишать жизни безвинных ребятишек?! И это вы называете справедливыми законами?!
— Молчать!!! — опять рассвирепели красные. — А сам-то в гражданскую чем занимался?!
— Грешен, — сказал Липецкий. — Но видит Бог: с женщинами и ребятишками не воевал, безоружных не бил и в спину не стрелял.
— А мы победители, — говорят красные. — И ты нам, Липецкий, не судья, не указ! У нас свои вожди! И мы сами знаем, кого нужно засудить, а кого нет.
— Не знаете.
— Почему же не знаем?
— Ваш главный враг — не я...
— А кто же?
— Вы сами.
— Это почему же? Ты скажи нам!

Липецкий немного помолчал. Прикидывал: сказать или не сказать? Поймут или не поймут? Но все же в конце концов пояснил:
— В вас нет нутра. Вы все — как пустые орешки. Сверху орешек как орешек, а как раскусишь — там пусто, ничего нет. Одна пустота...
— Ты, значит, раскусил?
— С Божьей помощью.
— Смотри, как бы зубы не обломал!

[2] Катерины-Царицы — так ханты называли Екатеринбург.

— Одни сразу раскусили вас. Другие — в гражданскую. А вот когда последние люди раскусят вас и увидят, что в вас нет нутра и вы пусты — тогда вам конец придет.

— А чего в нас нет? Что там должно быть?

— В вас нет веры, нет Бога. А без Бога, озверев, рано или поздно, вы перегрызете друг другу глотки и тем кончите себя.

— Но сначала мы перегрызем глотки вам.

— Верно: сначала нам, а потом возьметесь за себя.

— И по-твоему, Липецкий, жизнь кончится на этом?

— Нет, люди останутся. Но не красные, а останутся просто люди с верою, люди с Богом...

— А нас, значит, не будет?

— Нет на вас креста — значит, вас не станет.

— Много на себя берешь, Липецкий — не выдюжишь!

— Вы кровавые — вас просто земля не выдержит, земля не станет носить...

— Ты, Липецкий, от нас теперь не уйдешь, — говорят красные. — Ладно, напоследок хоть языком почешешь...

— Уйду, — уверил их Липецкий.

— Уйдешь — поймаем! — говорят красные. — Ноги обломаем, язык укоротим! Не таких еще ломали...

— Это вы можете. Недаром вас кровью ненасытными кровавыми красными прозвали. Свой цвет оправдали...

— Ты, Липецкий, наш революционный цвет не трожь! Худо тебе будет!..

— Хуже некуда...

— Все равно от нас не уйдешь! Возьмем след!

— Кого пошлете по следу — бить стану.

— Еще посмотрим, кто кого побьет!

— Лучше пожалейте своих людей, оставьте меня в покое.

— Мы тебе такой покой устроим — всем чертям тошно станет!

Липецкий замолчал. Долго молчал. Потом сказал красным:

— Я вам объявляю войну.

— Ты, Липецкий, совсем свихнулся.

— Нет, я при своем уме.

— Ты же один, а нас много. Какая может быть тут война?!

— Мое дело: сказать вам.

— За что же будешь воевать? За Белого Царя?

— И за Белого Царя.

— Его же нет — зачем он тебе нужен?

— Вы у народа спросите, какой царь ему нужен: Белый или Красный? Тогда все поймете.

— Ты нам, Липецкий, зубы не заговаривай: не за кого тебе воевать. Все ушли, их уже не вернешь!

— Есть за кого. За жену свою. За дочку свою. За ребятишек Белого Царя. За все ваши безвинные жертвы. Вы считали, сколько людских душ погубили?

— Молчать! — закричали красные. — Это не твоего ума дело. Это дело революции!

— Бог вам никогда не простит того, что вы наделали.

Тут красные в ярости закричали:

— Мы сейчас из тебя, Липецкий, вытряхнем твоего Бога и ты станешь таким же красным и кровавым, как и мы...

— А это как решит мой Небесный Отец, так и будет! — сказал Липецкий.

И ушел он от красных. И тут за ним началась настоящая охота. «Охотниками» стали энкевэдэ. Сколько на него ловушек ставили — не попадался. Сколько его в разные хитроумные западни заманивали — не заманили. Сколько коней в погоне за ним запалили — не счесть. Сколько оленьих упряжек замучили — никто не считал.

Был Липецкий неуловим.

Однажды его выследили в доме. И энкевэдэ плотной цепью обложили двор. Стояли на почтительном расстоянии и кричали:

— Липецкий, бросай оружие! Выходи!

— Липецкий, сдавайся!

— Дом окружен — все равно не уйдешь!

Дом молчит.

Энкевэдэ стоят, ждут.

Потом опять стали кричать:

— Липецкий — сдавайся!

— Липецкий — выходи!

Тут из дома послышался голос Липецкого. Кричит:

— Одеваюсь, сейчас выйду! Ждите!

Энкевэдэ приготовились, подтянулись. Во все глаза смотрят — как бы не упустить. Дело было летом. И на женщину с ведром никто не обратил внимания. Мало ли женщин ходит по воду. Главное — Липецкого поймать.

Стоят, ждут.

Сколько же времени он там одевается. Стали кричать, потарапливать:

— Давай скорей!

— Выходи, давай!

Дом молчит.

Снова кричат.

А дом все молчит. Подойти же не решаются. Видно, крепко побаивались Липецкого. Да и наслышаны были о нем: знали, каков он из себя, как владеет оружием. А оружием владел отменно. Казалось, любая железка стреляла в его руках. Да как стреляла. Ни одна его пуля мимо цели не проходила. Мог ночью, в темноте стрелять. Мог не глядя, с завязанными глазами стрелять. Мог двумя руками одновремено из двух пистолетов стрелять. Как он умудрялся все это проделывать? Говорит, все очень просто: где глаз не видит, там ухо слышит. Значит, на звук стрелял. Говорит, жить захочешь — всему научишься. Говорит, война многим нужным и ненужным делам научила. Когда попадал в особенно тяжкую переделку, вытаскивал два ствола: одним управлял глаз, другим — ухо. Попробуй, возьми такого стрелка. Кому охота свой лоб под пулю подставлять? Особенно в мирное время.

Ловкий был.

Сообразительный был.

Стремительный был.

В первый раз как он от красных ушел? Дело, рассказывают, так было. После «задушевной» беседы красные передали его красным энкевэдэ. Он и не думал сопротивляться. Дал себя обыскать. Смиренно. Пояс отняли, карманы перетряхнули, бока ощупали. И в тюрьму повели. Спереди энкевэдэ, сзади энкевэдэ. Ведут. Все тихо, мирно. Вдруг, улучив момент, он резко встряхнул руками — из рукавов два пистолета. И двумя стволами одновременно — ба-бах, ба-бах, бах! Перевернулся через голову, колесом юркнул в кусты, оттуда в траву — и нет его. Скатился в низинку, в небольшую выемку — перезарядил там пистолеты — и снова готов к бою.

Так в первый раз ушел от красных.

И эти энкевэдэ, наверное, слыхали об этой истории. Поэтому и топтались сейчас в нерешительности. Еще сколько-то времени прошло. Нужно было что-то делать. И, наконец, когда их терпение совсем иссякло, двинулись к дому.

Тихо. Ни стука, ни выстрела.

Ворвались в дом.

В доме — полог. Сорвали полог. А в пологу — голая женщина.

А след Липецкого давно простыл. Переоделся во все женское, на глаза надвинул платок — и был таков.

Бывало, энкевэдэ возьмут след Липецкого, мчатся за ним — пока коней не запалят. Но ведь и у Липецкого не крылатый конь. Однако, он всегда находил свежего коня и отрывался от погони. А то, бывало, неожиданно исчезал его след. Как сквозь землю проваливался. Преследователи всю округу переворачивали и в конце концов так ни с чем и уходили.

Это лишний раз всех убеждало в том, что ловить Липецкого — дело пустое.

\+ + + +

Воды становились снегами и льдами, снега и льды — водами.

Так прошли годы.

И тут накатили лихие лета. Остяки вышли из повиновения и поднялись на красных. И красные поднялись на остяков [3].

Из Катерины-Царицы-города [4] войска пришли, аэропланы прилетели. И по земле, и по небу вдоль больших и малых рек двинулись.

Так война на нашу землю пришла.

И кто был пулей убит.

Кто был огненным камнем разорван [5].

Кто был холодом заморожен.

Кто был лиственничной дубиной-колотушкой забит.

Кто был в камере-темнице истерзан.

Ни один до тюрьмы-лагеря не дожил...

Прошло, прокатилось лихое время. Но еще долго войска прочесывали многие реки. От устья до верховья, от верховья до устья тянули свои «невода». Все пропеводили. Вылавливали всех, кто был причастен и непричастен... Особо не разбирались: попался — отвечай по всей строгости военного времени. После энкевэдэ свои сети-ловушки начали расставлять. Каждую реку, каждое болото и озеро, где восставшие проходили и где бои случались, рьяно просматривали и прослушивали.

Воды-земли многих наших рек были вверх дном перевернуты.

Но даже в эти бесконечные невода и плотно наставленные сети-ловушки Липецкий не попадался.

Но его все выискивали, все ловили.

Как-то зимой в наш дом наехали путники-гости. Кто в верховье реки едет, кто в низовье. Кто по промысловым делам, кто по родственным. Кто в поселок, кто из поселка. За одним большим столом сидим, чай пьем, новостями обмениваемся. Тут собаки на улице залаяли — новые упряжки подъехали, новые путники в дом вошли. Как это принято, гостям чай налили, за стол их посадили. Дальше разговоры ведем. Выяснилось, приезжие — два или три энкевэдэ с переводчиком — едут на поиски «врагов народа». Один из них, поговорив о том о сем, спросил через переводчика:

— Про Липецкого что-нибудь слыхали?

Рядом с ним сидящий охотник, прихлебывая чай из блюдца, по-хантыйски, через переводчика спрашивает:

— Про какого Липецкого?

— Про того, кто за белых воевал.

— Нас там не было: откуда мы знаем, который Липецкий за белых воевал, а который за красных. Поди, немало на свете Липецких...

— Про Леню Липецкого спрашиваю, которого ищем...

— А-а, так скажи...

— Так что про Леню слышно?

— Да ничего вроде бы не слышно.

---

[3] Речь идет о Казымском восстании 1934—1935 гг.

[4] В те годы Остяко-Вогульский национальный округ входил в состав Уральской области с центром в Свердловске, бывш. Екатеринбурге.

[5] «Огненный камень» — так ханы называли гранату.

— На вашей реке не появлялся?

— Такого слуха будто бы не было.

— Ну, смотрите!.. — строго говорит энкевэдэ. — Нам нужна его голова.

— Значит, у него какая-то особо ценная голова, да?

— Да, за его голову мы дорого заплатили.

— Кто бы так оценил наши головы, — шутит охотник. — Может, отдал бы свою...

Но энкевэдэ не до шуток. Снова напоминает с нотками угрозы:

— Смотрите, как только появится Липецкий на вашей реке — так немедленно в город нам сообщите!

— Ах-а, как же, немедленно сообщим! — поддакивает охотник-собеседник. — Пусть только покажется здесь! Сообщим, ждите!..

Сидят так энкевэдэ и охотник, коленка к коленке, чай пьют и через переводчика разговор ведут о том, как Липецкого поймать. И невдомек энкевэдэ, что этот жилистый охотник в малице и кисах [6] и есть сам Леня Липецкий.

Не однажды такое случалось. Сидит Липецкий рядом с энкевэдэ, рассуждает, как его самого в энкевэдэвские «сети» заманить. Между делом, конечно, вопросы вставляет, выспрашивает, что в последнее время слышно о Липецком, то есть о нем самом. Где его видели? Какие слухи о нем ходят? И, конечно, выведывает у энкевэдэ другие, нужные для себя сведения.

Пожалуй, ни одному энкевэдэ и в голову не приходило, что он с Леней Липецким за одним столом сидел, чай пил, разные сведения выдавал. Если, разумеется, тот не раскрывался. Бывало, рассказывают, он иногда разные шутки выкидывал над своими преследователями. Поговорит с энкевэдэ, чай с ним попьет, потом скажет на чистейшем русском языке:

«Липецкий тебе нужен?! Я — Липецкий, бери меня!..»

Энкевэдэ обычно вскакивал и кричал:

«Арестован! Руки вверх!»

Липецкий приподнимал руки, потом делал неприличный жест и насмешливо спрашивал:

«А вот этого не хочешь?!»

«Стой! Стрелять буду!» — кричал энкевэдэ и тянул руку к кобуре на боку.

«Х..м, что ль, будешь стрелять?!» — в лицо ему хохотал Липецкий.

Кобура оказывалась пуста. Либо — револьвер без патронов. Чак-чак — не стреляет.

Тут Липецкий вскакивал на коня или на нарту — и был таков.

Незадачливый энкевэдэ бросался в ярости на народ, на людей:

«Почему не выдали?!»

«На лбу не написано, кто он такой...» — люди разводили руками.

«Почему в дом пустили?!»

«По обычаю каждый путник входит в дом не спрашивая...»

«Почему чаем напоили?!» — кипятится энкевэдэ.

«Всем гостям чай принято наливать...»

Энкевэдэ, остывая, многозначительно обещает:

«Смот-рите!..»

Обычно же Леня Липецкий сидит себе спокойно, чай пошвыркивает, посмеивается, энкевэдэ про самого же себя через переводчика расспрашивает. Мол, для того интересуется, чтобы при случае подсобить в поимке Липецкого, сообщить в энкевэдэ о его появлении.

Таким вот Леня Липецкий был. Ничего не боялся. Никого не боялся.

\+ + + + +

Замолкает мой древний зять-старик.

Молчит и дом.

---

[6] Малица — хантыйская шуба мехом внутрь. Кисы — унты с меховыми чулками.

Молчу и я.

Потом, как бы уловив немой вопрос слушателей, мой зять-старик спросил:

— Почему его не могли поймать?

И сам же, выдержав нужную паузу, ответил:

— Простых людей он никогда не трогал, не обижал. Ни ханты, ни русских.

Старик снова помолчал, потом спросил:

— Энкевэдэ кого искали: русского человека, белого, офицера. Так?

— Так, наверное, — сказал я.

— Вот-вот, — улыбнулся мой зять-старик. — А Липецкий был совсем как ханты. Ходил в нашей одежде. На оленях ездил. Ножом и топором хорошо владел. На подволоках[7] крепко стоял. Словом, ничем от ханты не отличишь...

Старик задумался, опустил голову. Потом тронул меня за колено, сказал:

— А язык ханты он знал лучше нас с тобой...

— Ну, так скажи...

Пришло время второго вечернего чая. После, когда все в доме понемногу угомонились, я спросил зятя-старика:

— История Липецкого имеет ли конец, зять-старик?

— Имеет, — откликнулся старец.

— Так его и не взяли?

— Нет.

— Чем же все закончилось?

— Вот чем все закончилось... — вздохнул старец. — Сейчас расскажу...

Он тяжело помолчал. Помолчав, начал:

— Жил Липецкий у моего троюродного брата Кирилла на соседнем притоке нашей Большой реки. Многое про войну рассказывал. В бою как было: если ты не убьешь, то тебя убьют. Война, говорит, дело худое. В ней мы, люди, повинны. И за эту свою вину жизни свои кончали. Это можно понять как-то. Больше всего, говорит, коней было жалко. Ведь кони-то ни в чем не повинны...

+ + + + + +

Так вот, Липецкий жил у моего троюродного брата Кирилла. Но там только зимой жил. Как только наступала весна и открывались воды, он на все лето уходил на Обь. Осенью, перед самым ледоставом, с первыми снегами-льдами он возвращался в дом брата Кирилла на зимовку.

Так он и жил: летом на Оби, зимой — здесь.

Так прошло сколько-то лет и зим. Немало воды за эти годы утекло. Вот посчитай.

Закончилась война между белыми и красными.

Закончилась другая война между остяками и красными.

Пролетело еще несколько лет и зим, и началась еще одна война, далеко от нашей земли. Эту войну мы все хорошо помним. Много наших людей на эту войну взяли. И моих двух братьев на эту войну увезли. Так они и не вернулись, сгинули бесследно, в Нижний Мир ушли. Как русские говорят, погибли.

В первый год этой войны, в начале зимы, Леня Липецкий в доме брата Кирилла заболел. У него руки-ноги стали опухать. И тогда он сказал хозяевам дома: все, больше не выздоровлю. Конец мне пришел.

Потом такие слова добавил:

— Теперь, — говорит, — если хотите, меня в энкевэдэ сдайте. В город сообщите. Ни на кого, — говорит, — в обиде не буду. Вы мне дали, — говорит, — много дней и лет жизни...

[7] Подволоки — широкие охотничьи лыжи, подбитые мехом.

Однако, как и полагается за всяким больным и немощным, за ним ухаживали, его лечили. Но сбылись его слова: болел-болел, сколько-то времени прошло — и он умер.

Как и полагается всякому закончившему жизненный путь по Среднему Миру, его со всеми обрядами похоронили на родовом кладбище.

Еще сколько-то времени прошло, но в ту же зиму весть о его кончине дошла до энкевэдэ, до города. И вот из города приехали три энкевэдэ и потребовали, чтобы им показали могилу Лени Липецкого. Привезли их на родовое кладбище, на могилу. Тут они приказали, чтобы выкопали покойника. Все ханты, бывшие там, наотрез отказались. У ханты считается самым большим грехом — это потревожить прах ушедшего в Нижний Мир. Поэтому все ханты — хоть убей — не прикоснулись к могиле. Тогда эти энкевэдэ сами начали выкапывать покойника. Видно, немало времени прошло со дня похорон. Земля так промерзла, что ее не брали ни лопаты, ни топоры. Тогда привезли пешни. И пешнями стали долбить землю на могиле. Долбили-то, в основном, двое. А третий, старший энкевэдэ, прохаживался вокруг, распоряжался, командовал.

Наконец с большим трудом откопали могилу.

Энкевэдэ вытащили покойника, всего обыскали его. Только немного денег при нем нашли. И больше — ничего.

Что они искали — не знаю. Может быть, слышали про Божье Послание и его искали? Но и Божьего Послания на шее покойного не оказалось. Куда он подевал его перед смертью — тоже не знаю. Никому это не ведомо. Осталось это его тайной.

Так Леня Липецкий, даже мертвый, еще раз надул энкевэдэ, оставил их ни с чем.

Тут старший энкевэдэ взял пешню и всадил острие в голову покойника. И яростно заработал пешней. И разбил всю голову мертвому Лене Липецкому.

Люди, бывшие там, отвернулись в сторону, опустили глаза.

И молчали.

Молчали...

Перед уходом из жизни, будто уже в бреду, Липецкий все вздыхал: «Россия-Россия, скольких людей загубили...» А потом, уже более отчетливо, спрашивал:

— И за что?!. И за что?!

Так и не получив ответа на свой мучительный вопрос, Леня Липецкий ушел в Нижний Мир.

+ + + + + + +

После, когда энкевэдэ уехали, люди и эту окаянную пешню похоронили на родовом кладбище.

Замолк старец.

Молчал и дом.

И это молчание было похоже на то, как чтут память всякого преждевременно и насильственно отправленного в Нижний Мир.

ПОЭЗИЯ

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ

СКАЖИ, РОДНАЯ, ЧТО С ТОБОЙ?..

Две оккупации

Три месяца в селе моем родном
Немецкие стояли оккупанты,
По счастью, не убили никого.
Не оттого ль, что сельский патриарх
Акимыч наставлял: «Не поднимайте
На них глаза. И выживем, поди...»
Славянская ли мудрость помогла,
Сказались ли немецкие успехи,
Но было так.
Скорее, нибелунги
Свой орднунг не успели утвердить,—
Не мучали, не грабили, не жгли,—
Довольствовались яйками и млеком.

Тихонько, скорбно колокол звонил,
Священная творилась литургия.
То был отдохновенья островок
Для русского томящегося духа.

Врагов смело́ в густой декабрьской мгле
Лишь по лугам, в кустах остались каски

ДМИТРИЕВ Николай Федорович родился в 1953 году. Окончил Орехово-Зуевский педагогический институт, работал учителем в сельской школе. Автор сборников стихотворений «Я — от мира сего», «О самом самом», «Тьма живая», «Оклик» и других. Член Союза писателей СССР. Живет в подмосковном городе Балашиха.

Обломками какой-то страшной сказки,
Приснившейся и людям, и земле.

Я с губ лиловых
наших скорбных вдов
Сшептал ту быль и повторить готов.

...Скитаться молодая кровь звала,
И я село покинул лет на десять,
А возвратившись, не нашел угла —
Да что!— гво́здя — бродяжий плащ повесить.
Отняли дом, что мой отец срубил.
Довольный сельсоветовский Акакий
Мне доказал, что поздно хлопотать.
В глаза ему не глядя, я ушел,
Отцовский дом загородил ладонью.
Отняли речку светлую мою,
Петрищевские осушив болота, —
Наделали брикетов торфяных,
Чтобы титаны в поездах дымили.
Так речка по стаканам разлилась
Дурного эмпэзсовского чая.

А в храм Господний ссыпали зерно,
Оно во мраке влажном прорастало,
И получался самогонный солод,
И было чем восславить Сатану.

Скажи, земля родная, что с тобой?
Лежат заборы веерообразно,
В полях металл ржавеет. Что за бой
Здесь прогремел широко и ужасно?

Ах да! Здесь битва шла за урожай,
Как водится, с фанфарными вестями,
Железный гость прошелся, как Мамай,
И дол осыпал черными костями.

Мне страшно.
Покажитесь, земляки!
И что я слышу? «Твой дружок, Липатов,
На ферме влез в подсобку, на плиту,
Морозно было. А плита топилась...
Он в райбольнице умер в физрастворе.

А Сашу, пограничника, в петле
Нашли. Он за семью свою стыдился:
Все сестры — б... А мать в стакан глядит.
А Холодков...» Довольно! Замолчи!
Я на погосте был. Он наползает
На клеверное поле, на живых.

Цветет сирень. Могуче, небывало,
Листвы почти не видно на кусте,
Но и ее, непроходимой, мало,
Чтобы людской прикрыться срамоте.

Молчит соседка. Внучке подает
Трясясь, «гуманитарную» сосиску.
Нет, то не вермахт отдает долги,
Но — Господи, спаси и помоги!

Весна. 1990 г.

О, сколь их ныне, за собой манящих!
Глаза повылезали из орбит.
Помедли, Русь. Ты — Церковь Всех Скорбящих.
Теперь лишь только нелюдь не скорбит.

Вершки и корешки на пашнях сгнили,
Что убирать их? Есть почетней труд,
Оратаев ораторы сменили,
Которые не óрут, а орýт.

И куксятся, обиженно-надуты,
Недавние духовные отцы.
Еще торчат в райцентрах, как редуты,
Их перезимовавшие дворцы.

А по Руси — наличников орнамент
Да пáжитей прорешливых рядно.
Что там вверху? Монархия? Парламент?
Отцветшим людям вроде все равно.

Что прений им английские булавки?
Ведь ни иголки нет, и неспроста
Здесь чудо появленья автолавки
Приравнено к явлению Христа.

Пока Отчизну крепят обручами,
Пока ее вывозят за моря,
Мне чудится за дохлыми ночами,
Пусть робкая, — мужицкая заря.

Обнимет землю он, дитя природы
(Не заступи дорогу молодца),
И зацелует всласть, и примет роды,
И спустит
прихлебателей
с крыльца.

* * *

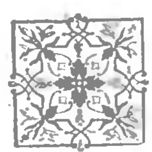
* * *

«Нет-нет, я не сойду с ума, —
Он восклицал, — от воя прессы.
Круг очерчу, как Брут Хома —
Пусть за чертой резвятся бесы.

Мне в круге этом, как в скиту,
Покойно, праведно и чисто.
Хлебну горилки и прочту
Раз сорок «Кодекс коммуниста».

О только бы не поглядеть
В глаза Грядущему. Так тяжко
Оно ступает. Это — смерть!»

Не вынес. Посмотрел. Бедняжка...



ПРОЗА

Отечественный архив

СВИДЕТЕЛЬ И УЧАСТНИК БУРНЫХ СОБЫТИЙ

В 1922 г., по инициативе В. И. Ленина, из России «на свалку истории» было выслано около трехсот виднейших представителей русской профессуры, писателей, историков, философов. Писатель Евгений Николаевич Чириков двумя годами опередил некоторых своих коллег по «европейской свалке», и тоже не без участия Ленина, с которым Чириков был знаком еще по Казанскому университету. Вскоре после Октябрьского переворота Чириков стал выступать в печати и на общественных собраниях против большевиков. После одного из таких выступлений, в Коломне, под Москвой, Ленин передал Чирикову совет немедля уехать подальше, иначе он вынужден будет бросить его в тюрьму.

Евгений Николаевич Чириков, мой дед с материнской стороны, родился в Казани в 1864 г. в семье безземельного дворянина Симбирской губернии. Умер он в изгнании, в Праге, в 1932 г. Предлагаемые читателю автобиографические зарисовки Е. Н. Чирикова «На путях жизни и творчества» печатаются с рукописи, еще никогда полностью не публиковавшейся, хотя отдельные эпизоды из воспоминаний печатались в зарубежной периодике. Думаю, что эти воспоминания могут стать камешком в мозаике хоть и далекого, но судьбоносного прошлого России, без знания и понимания которого невозможно осмыслить настоящее. А без понимания настоящего немыслимо будущее.

Жизненный путь Е. Н. Чирикова богат событиями, жертвенным служением народу, благородными порывами и горькими расплатами за эти порывы. Идеалист по натуре, он оставался до старости молод душой, вот почему к нему так льнула молодежь; он обладал большим чуаством юмора, умел посмеяться над другими и над собой. Но прежде всего Евгений Николаевич был цельным человеком. Он поступал и жил так, как ему подсказывала совесть.

Русская литература всегда пыталась быть больше чем просто литературой — изящной словесностью. Многие наши писатели, в том числе такие великие, как Толстой и Достоевский, были не только писателями, но считали своим долгом быть и наставниками и философами, историками и социологами, религиозными мыслителями и т. д. Е. Н. Чириков тоже пытался быть больше чем только писателем. Он разделяет свою творческую жизнь на два периода — на период, когда он был «общественником», и на более поздний, когда «художник победил общественника». Чириков отмечает в своих воспоминаниях, что толчком к переосмыслению его творческого пути послужили революция 1905 года и смерть любимой матери. Мне, однако, кажется, что литературное наследство Чирикова трудно хронологически разделить на два резко очерченных периода. Скорее всего, в годы своего творческого расцвета Чириков осознал присутствие в себе этих двух начал — художника и общественника, и сознательно отдал предпочтение первому, что, впрочем, не значит, что и до 1905 г., и после в каких-то произведениях художник побеждал общественника, а в других — общественник художника.

Воспоминания «На путях жизни и творчества» писал Чириков — общественник и патриот, боровшийся сначала против царского самодержавия, а потом, осознав свои заблуждения, — против большевистского кошмара. Мне кажется, что наибольшая ценность воспоминаний в том, что автор был свидетелем, пристальным наблюдателем и участником бурных событий конца прошлого и начала нашего века и сумел яркими мазками и в сжатой форме передать то, что и поныне жизненно важно и интересно для осмысления нашей действительности. Воспоминания писались в разное время за границей, куда Чириков уехал в 1920 г. Рукопись осталась без даты ее окончания. Воспоминания были закончены в Праге скорее всего в 1928 году.

Надеюсь, что «На путях жизни и творчества» вызовут новый интерес к богатому, хотя не всегда ровному литературному наследству почти забытого теперь писателя. До революции его рассказы, повести, романы и пьесы пользовались большой популяоностью. Не считая многочисленных рассказов и повестей, печатавшихся в волжских, а потом и столичных газетах и толстых журналах, в том числе в горьковском «Знании», собрание сочинений Е. Н. Чирикова, вышедшее до революции, насчитывает 17 томов, и некоторые книги выдержали несколько пе-

реизданий. Популярность Чирикова не снижалась в эмиграции до самой его смерти в 1932 году. Он и там много успел написать. Но я не берусь в этом коротком предисловии давать оценку произведений Е. Н. Чирикова по следующим причинам: за исключением одного сборника повестей и рассказов, вышедшего на родине писателя в 1961 г., и отдельных рассказов и упоминаний о Чирикове в письмах современников, о его литературном творчестве мало что известно. Его произведения, написанные в эмиграции, тоже стали библиографической редкостью, а в России вообще недоступны читателю. Писать же о произведениях, которых никто не читал, не имеет ни малейшего смысла. Вот если воспоминания «На путях жизни и творчества» вызовут интерес к литературному наследству Чирикова, тогда и найдутся издательства, готовые переиздать некоторые из его произведений. Найдутся и литературоведы, сумеющие оценить творчество Е. Н. Чирикова по его литературным, а не идеологическим достоинствам.

Алексей **РЕТИВОВ** (США).

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ

НА ПУТЯХ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

(ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

ВСТРЕЧА С ЧЕХОВЫМ

Странная судьба! Все мои попытки попасть в столицу, в Петербург или Москву, кончались катастрофами. До 40-летнего возраста я оставался ограниченным в правах жительства. Почти 20 лет волочилось за мной «клеймо политического арестанта», а между тем я никогда не был не только активным революционером, но даже активным политиком. Участие в студенческих беспорядках и «Ода императору» — были единственными прямыми услугами с моей стороны делу Революции во дни младости. Правда, словом своим я всегда боролся за дело освобождения страны и народа от всякого произвола и насилия, но ведь у нас свободного слова не было и все, что я печатал, появлялось с благословения цензуры! Не помогли ни «чиновник особых поручений при Калмыцком народе», ни чин губернского секретаря при Высочайшем рескрипте, где было сказано: «н а ш е м у», ни звание «Кавалера Его Величества», и никакие «либеральные генералы». Раз «назвался грибом, — полезай в кузов» неблагонадежности! Можно подумать, что г-жа Революция мстила мне за измену ей и 20 лет издевалась надо мной, внушив охранному начальству «внутреннее убеждение в моей опасности для государственного устройства Российской империи».

И вот 40 лет моей жизни прошли в провинции, которую я исколесил во всех направлениях и познал во всех мельчайших бытовых и психологических ее черточках. (Хорошо это или плохо было для меня, как писателя? Я — оптимист и склонен думать, что, творя злое дело преследования без особенных оснований, начальство, помимо своей воли, помогало мне изучать и свой народ, и свою родину не из прекрасного теоретического далека, а путем личных и непосредственных впечатлений и переживаний.) Правда, в силу этих обстоятельств я в литературном отношении был почти всегда одинок, как отбившийся от стаи журавль (на пути в литературно-солнечные страны), но и тут, как говорится, не было худа без добра: я не варился в специальной профессиональной среде, с ее литературно-партийной грызней, с ее скрещивающимися больными самолюбиями, тщеславием, завистью, не держался ни за какие хвосты благосклонных критиков. Я пробивал себе дорогу к душе и сердцу читателя сам, без всякой помощи и протекции литературных покровителей (и добился любви и внимания читателей гораздо скорее, чем многие другие криком и шумом критиков). До переезда в Москву накануне первой революции (1905 г.)

мои встречи и связи с писателями были случайны и малочисленны. Каронин[1], Короленко, Глеб Успенский, Мамин-Сибиряк, Анненский, Богданович. Но все это было во младости и мимолетно. И только с одним Карониным была душевная близость. Правда, попав ненадолго в Петербург, я успел увидеть почти весь столичный Олимп, но все это было «видение». Точно перелистал альбом с портретами. Не скажу, чтобы меня и огорчало особенно это обстоятельство. Ведь всё лучше издали, как и писатели. Но вот к кому меня тянуло неудержимо: к А. П. Чехову!.. К нему меня влекла какая-то исключительная симпатия. Должно быть, моя провинциальная натура и мое знание провинции, ее глухих уголков и ее героев давали резонанс в моей душе при чтении произведений этого писателя. Я любил его родственной любовью и тайно лелеял мечту когда-нибудь познакомиться с ним. И когда я жил в г. Минске, эта мечта исполнилась. Я впервые, получив на Пасху отпуск по службе, поехал в Крым.

Увидать и познакомиться с Антоном Павловичем было не только радостно, но и страшно. Хотя тогда имя Чехова уже нередко появлялось на обложках журналов рядом с моим, но я, провинциал, всегда стеснялся и избегал искусственных встреч со знаменитостями. Хотя, например, я знал, что Л. Н. Толстой пленился юмором простых рассказов и интересовался, расспрашивая других о Чирикове, но я все-таки не решился, когда меня звали, ехать в Ясную Поляну и потому не имел счастья видеть его. И к Чехову показаться было тоже страшно, но в нем я прозревал простого и скромного провинциала и потому поборол свой страх и застенчивость, хотя Чехов был уж в зените своей славы, «объелся» ею и, больной, искал тишины и уединения, боясь надоедливых поклонников и особенно поклонниц. Жил он на своей даче, в Аутке, над Ялтой, осаждаемой курортной публикою, съезжавшейся в Крым к Пасхе огромными стаями. Особенно докучали ему дамы и девицы, заочно влюбленные и искавшие случая объясниться или поговорить о его героинях, а может быть, и посвятить писателя в свой тайный порок литературной графомании...

И вот теперь едет еще один поклонник!

Живу в Ялте в номерах. Несколько раз уже ходил в Аутку и бродил, как влюбленный гимназист, мимо дачи Антона Павловича. Ждал — не выйдет ли? Не решался войти в калитку и возвращался. Так неужели так и уеду, не повидавши Антона Павловича? Обидно. А время бежит. Скоро конец отпуска. И вот не выдержал: написал Антону Павловичу письмо с приветом и извинился, что не явился лично, боясь помешать ему работать. Опустил письмо в почтовый ящик и стал мучиться ожиданием. Вечером в тот же день меня требуют к телефону. Кто меня может здесь звать? Покраснел от волнения. Бегу в телефонную будку.

— Я у телефона. Кто говорит?

— Чехов. Как вам не стыдно? Я ведь не губернатор и не пишущая машинка, чтобы всегда только писать... Жду вас! Сейчас же!

— Я боялся... Вам так здесь надоедают.

— Это совсем не может относиться к писателям. Для них я всегда доме и только рад, что меня не забывают. Приходите сейчас же... чай пьем!

Я взял извозчика и поехал. Спустя полчаса я был уже в кабинете Антона Павловича и — странно! — чувствовал себя так, точно давным-давно был в этом кабинете и знал этого милого, кроткого, застенчивого и деликатнейшего человека! Спросил о здоровье:

— Ничего. Покашливаю.

Кашляет и плюет в маленькие бумажные сверточки-фунтики, аккуратно складывая их на карнизе камина. На столе — раскрытый томик Мопассана:

— Любите его, Антон Павлович?

— Учусь! Вот где нет ни одного лишнего слова, ни одной ненужной запятой.

— Пишете что-нибудь?

— Письма пишу... актерам. Это труднее, чем рассказы. Очень обидчивый народ.

Заговорили о Художественном театре.

— Я никогда не был в нем.

---

[1] См. примечания.

— Надо посмотреть. Надо пьесы писать. Писатели должны это делать, а не ремесленники сцены. Вы сколько книг написали?

— Три тома.

— А вам сколько лет?

Я сказал. Антон Павлович глубокомысленно помолчал и произнес:

— Напишете еще десять.

Говорили о молодых писателях; обо всех отзывался хорошо, все интересны и талантливы. Изумительная черта: впоследствии я не встречал ее ни в одном писателе. О ком ни говоришь, непременно старается умалить и убавить. А Чехов ко всем доброжелателен и ласков. Спросил меня: есть ли дети.

— Трое.

Ласково улыбнулся.

— Книг написали три, и детей — трое. Я страшно люблю детей. Пришлите мне фотографию ребятишек... У меня — целая коллекция...

— Хорошо. Я пришлю вам Новеллу.

— Имя такое придумали?

— Да.

Снова веселая улыбка:

— В Италии, что ли, родилась?

— В Самаре.

— Фантазер вы... Так вот мне эту... Новеллу! Вон в одном семействе назвали младенца Аполлоном, а вышел курносый.

— У нас очень красивая девочка...

— Ну, слава Богу! А то надо быть родителям поосторожнее...

Посмеялись. В передней настойчиво звонил колокольчик. Услыша его, Антон Павлович притих и насторожился. Звонить перестали, и мы снова начали болтать о пустяках. Никакого желания казаться знаменитым, великим, мудрым, загадочным, что наблюдал я на многих из писательской братии впоследствии. Вошла старушка с мягким приятным лицом. Антон Павлович познакомил:

— Вот, мать, писатель Евгений Чириков... Три тома и трое детей. А кто там звонил?

— К тебе! Опять девица. Я сказала, что ты работаешь. Какие нынче дерзкие стали, я спрашиваю, по какому делу? «Это вас не касается!» — говорит... А в руке толстая тетрадка... Не драму ли сочинила...

— Ох, это всего страшнее... Я уж однажды чуть не убил одну даму...

— Пожалуйте чай кушать.

Прошли в столовую, а в передней снова звонок.

— Мама, спасайте!

Пошла и быстро вернулась.

— Кто?

— Да опять женщина, только эта тихая и скромная... Мне даже жалко было отказать. Чуть не плачет...

Антон Павлович опечалился:

— Я боюсь «сезонных», а из-за них приходится всем отказывать.

Разговорились об отношениях писателя и читателя, и вот какой интересный случай рассказал Антон Павлович.

— Был у меня один случай и вот я все боюсь теперь обидеть кого-нибудь. Принимать всех — это значит бросить совершенно работу и заниматься только приемами посетителей. А могут произойти ошибки... Года два тому назад, например, такой случай. Однажды утром я пошел погулять по набережной. Я гуляю рано, пока спит сезонная публика. Встретился с писателем Елпатьевским и присели мы с ним на лавочке, в уединении, чтобы вместе помолчать. Неожиданно подходит чистильщик сапог, татарин, и подает мне букет роз. Ну, думаю, беда: какая-нибудь сезонная дама, страдающая бессонницей.

— От кого? — спрашиваю.

Татарин показал жестом на сидевшую вдали от нас на скамейке одинокую даму... или девицу. Далеко: не разберешь! Я был в хорошем настроении духа и пошутил: передал цветы своему спутнику. Тот — мне обратно, я — снова ему. А потом мы встали и пошли, а цветы оставили на лавочке... Конечно, я очень скоро забыл об этом происшествии. И вдруг, спустя несколько месяцев, этот пустой случай

превращается в трогательную красоту женской души, пред которой до сих пор стыдно мне. Получаю письмо из Сибирской глуши, из Иркутской, помнится, губернии. Какая-то сельская учительница пишет мне, что она три года копила деньги, чтобы поехать и увидать и поговорить со мной! Пишет, что приходила в Аутку, но ее не пустили. Стала подкарауливать, и вот однажды утром ей удалось увидать меня издали. Подойти не решилась, а купила роз и послала с татарином. «Вы, пишет, бросили мои розы, но это все равно: я уже счастлива, потому что все-таки увидала моего любимого писателя!..»

— Да. Зло шутит иногда над нами жизнь... Эта девушка вспоминается мне теперь часто, когда в передней раздаются звонки...

Печальные глаза Антона Павловича помнятся мне вместе с рассказом его о бедной девушке с цветами...

Так я впервые познакомился с А. П. Чеховым, чтобы навсегда полюбить его не только как писателя, но и как редкого по душе человека. Награжденный книгами с автографами автора и счастливый от общения с ним, возвращался я в Минск из двухнедельного отпуска. Мы переписывались изредка. Несколько раз я бывал у него потом в Москве. Видел его в последний раз уже совершенно больным: он уезжал за границу, чтобы там умереть.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ И ЕГО «ЗНАНИЕ»

Тяжело и трудно делиться своими воспоминаниями, связанными с этим писателем и человеком, большим художником слова и революционером сперва «Духа», а потом «Брюха», сперва твоим другом, а потом непримиримым врагом. Но как из песни нельзя выкинуть слова, так невозможно выбросить из своей жизни этого человека и писателя, похожего не двуликого Януса. В 1915 г. Максим Горький написал претендующую на научность статью «Две души», в которой доказывал, что в русском народе воплотилось две души: славянская и монгольская. Если эта идея «евразийского порядка» абсурдна для нации, самая сущность которой заключается в наличии единой исторической души, то весьма правдоподобна в применении к отдельным личностям и безусловно верна для Максима Горького. Да, он — Янус: одно его лицо славянского типа с резким выражением доброты, мягкости, сентиментальности, широты порыва и размаха, расплывчатости в степных далях и волжских ширях; другое лицо азиатского типа, с резко выраженной жестокостью, твердостью, безжалостностью, хитростью, лукавством, и с деспотическими наклонностями своего «я». Первое лицо воплотилось в художнике, второе — в революции. До революции 1905 г. к нам было обращено первое славянское лицо, унаследовавшее от русской национальной литературы любовь к человеку и человеческой личности вообще, ибо «человек — это звучит гордо» без всяких классовых рамок, любовь к родине и к своему народу, искательство правды Божией на земле опять-таки для всех и во имя всех, и жажду борьбы и подвига на путях этого искательства. Было и еще нечто, что мгновенно привлекло сердца и души критиков и читателей дореволюционного М. Горького, давшего нам романтических «босяков», помимо их огромной художественной ценности и яркого красочного языка. Писатель выступил с ними в период разгула политической реакции, приведшей за собой чеховские «Сумерки» и «Хмурых людей», «Ионычей» и «Чебутыкиных», когда вся жизнь представлялась нашей передовой интеллигенцией одной сплошной «Скучной историей». И вдруг появляется на литературном горизонте самородок-писатель, с его босяками-ницшеанцами, забросавшими тихую сонную поверхность устоявшегося политического и морального тинного болота камнями своего анархического отрицания всех ценностей культуры и цивилизации. И критика, и читатели слишком злободневно восприняли яркую босяцкую ненависть к существующей общественной и личной жизни. Всякий вкладывал в босяцкие громы свое собственное недовольство, своего «Бога», непременно враждебного к существующему в России порядку. И так силен был этот самогипноз, что даже такие имена, как Лев Толстой и Антон Чехов, временно стали тускнеть пред обаянием имени Максима Горького. Прекрасная повесть «Фома Гордеев», напечатанная в журнале «Жизнь», сразу утвердила славу и популярность писателя в литературе, а его оригинальная биография, происхождение из народных низов наполнило гордостью «сознательных рабочих», и они

стали называть его своим классовым писателем. Ничего, однако, классового тогда в М. Горьком еще не было, и творчество его было непосредственным и свободным от всяких партийных рамок. И к этому периоду беспартийности относится все самое яркое и красочное, что написал М. Горький.

В 1902 году в Петербурге образовалось «Товарищество Знание», выпустившее в свет две первые книги М. Горького, три тома моих рассказов и повестей и первую книгу рассказов Леонида Андреева. В товариществе было пятеро пайщиков, в половине своей людей с «политическим прошлым»: Поссе, Чарушников, Протопопов, Пятницкий и бывший издатель журнала «Жизнь», фамилию которого я забыл. Учитывая популярность М. Горького, они пригласили последнего шестым пайщиком, вносящим свой пай отчислениями из гонорара от издания его произведений. Непосвященный в коммерческую сторону этого дела, я ограничусь одним фактом: спустя год издательство очутилось в руках М. Горького с Пятницким, а все прочие были отстранены и вместе со своими паями унесли навсегда обиду на М. Горького.

Ранее связанные с издательством «Знание», мы с Леонидом Андреевым оказались в издательстве М. Горького. Тогда мы этому только радовались, ибо искренно любили и высоко ценили этого писателя, а Л. Андреев даже, можно сказать, был открыт М. Горьким и прямо пылал к нему нежными чувствами... Я уже говорил, что встречался с М. Горьким в юности, когда я был смотрителем керосиновой станции, а он весовщиком в г. Царицыне. Вторая встреча была в Самаре, третья в 1896 г. в редакции «Нижегородского Листка» во время всероссийской выставки. Тогда я был уже постоянным сотрудником толстых журналов, а М. Горький только что начал печататься. Я, получив отпуск по службе, был приглашен на время выставки работать в местной газете, где уже работал М. Горький, только что поженившийся, бесконечно счастливый, жизнерадостный и милый. Общая работа в газете сблизила нас, так что когда в конце 1902 года я перевелся в Нижний Новгород из Ярославля и когда вновь встретился там уже с прославленным М. Горьким, мы быстро сошлись и подружились семьями. Тогда М. Горький был бесконечно приветлив к людям и его квартира служила центром, где за гостеприимным столом у самовара сходилась самая разношерстная публика, начиная от революционеров всех партий и кончая особами духовного звания! Горький еще не был тогда опьянен своей славою, не страдал тщеславием и нетерпимостью к чужому мнению и был индивидуалистом, а не коллективистом. Какая-то радость сверкала в его доме. Наезжали к нам в Нижний столичные писатели, артисты и всякие знаменитости искусства, и все это попадало в квартиру Горького. С этим временем совпадает попытка М. Горького организовать в Нижнем Новгороде народный театр силами Художественного театра, просуществовавший только один сезон и развалившийся за малыми доходами, и к этому же времени относится идея Горького собрать около «Знания» всех молодых и популярных писателей, освободив их от эксплуатации других издателей при выпуске своих книг. Тогдашняя популярность Горького и любовь к нему, как человеку и писателю, помогли осуществлению этой идеи: очень скоро около издательства М. Горького сконцентрировался кружок из всех известных тогда так называемых «молодых писателей», которые стали печататься и издаваться только в сборниках и в издательстве «Знание». Тут оказались: Горький, Андреев, Бунин, Вересаев, Куприн, Чириков, Серафимович, Скиталец, Телешов. Получилось нечто в роли монополии на всех новых по времени писателей, и дела издательства пошли блестяще. Сборники наши выдерживали до 70 тыс. повторных изданий, книги расходились с небывалой ранее быстротою. В большинстве своем состав писательской группы захватывал всех революционно или оппозиционно настроенных писателей своего времени, а это совпало с духом времени и настроением читательских масс. Никаких особенных выгод для всех нас, кроме Максима Горького и Пятницкого, отсюда, впрочем, не проистекало, ибо мы пайщиками издательства не были и лишь получали усиленный гонорар сравнительно с установленным в других изданиях. Сливки снимались «хозяевами предприятия», в карманы которых и шла вся так называемая «прибавочная стоимость». Честь этого открытия принадлежит А. И. Куприну. Он отдал в сборник «Знания» свой прекрасный рассказ-роман «Поединок», почти исчерпывавший содержание всего сборника. К роману было добавлено лишь несколько стихотворений. Роман Куприна имел исключительный успех: сборник, а в сущности роман, выдержал подряд три издания, в общем до 70 тысяч экземпляров. В нем было около 20 печатных листов. По усиленной расценке

гонорара, принятого в издательстве Горького, автор получил семь с чем-то тысяч рублей. Между тем, издай он свой «Поединок» отдельной книгою в 70 тысяч экземпляров, он получил бы по обычной тогда расценке в 20 процентов с номинальной стоимости 14 тысяч рублей, то есть ровно вдвое. Куприн откололся и вышел из «монополии». Мы остались, пребывая в очаровании Максима Горького. Хотя тогда уже началась погоня за популярным в массах писателем со стороны разных социалистических партий, чуящих значение такого писателя для своих партийных целей, но Горький еще присматривался и выбирал, как Владимир Святой, веру интеллигентскую, дабы принять какое-нибудь крещение. Он все еще не решался и оставался свободным. Когда-то в начале своей литературной карьеры он написал рассказ «Читатель». В нем автор ведет интимную беседу со своей писательской совестью. Содержание такое. В уединенном месте сада к сидящему на лавочке писателю подсаживается «читатель» и заводит с ним такой душевный разговор:

«— Кто твой бог? Покажи мне в душе твоей хотя что-нибудь, что помогло бы мне признать в тебе учителя!

— Кто мой бог! Если бы я знал это... Я открыл в себе много того, что обыкновенно называют хорошим, но чувства, объединяющего все это, стройной и ясной мысли, охватывающей все явления жизни, я не нашел в себе.

Он, писатель, — добавляет автор, — представлял себя твердо стоящим на ногах — и немым. Он мог бы крикнуть людям: «Как живете! Не стыдно ли?» — и мог обругать их. Но если спросят, а как надо жить? он прекрасно понимал, что после этого вопроса ему пришлось бы слететь с высоты кувырком, туда, под ноги к людям. И смехом проводили бы его гибель...»

Это нечаянно в юности вырвавшееся искреннее сознание тайно жило еще в душе М. Горького и в начале 90-х годов, когда он красочно воевал с устоявшейся жизнью, но все еще не сотворил себе партийного интеллигентского кумира, взирая на социалистическую веру интеллигенции с притягивающей симпатией, не зная, где истина: у социалистов-революционеров или у социал-демократов? Горький хорошо знал себе цену как художнику слова, но он знал еще, что читатель русский привык смотреть на писателя как на учителя жизни, и чувствовал: чтобы подняться до учительства, надо найти одну какую-то общую мысль, идею, охватывающую все явления жизни. И оттого, что он не попал еще в когти такого «прокрустова ложе», яркая индивидуальная непосредственность бурлила в его творчестве... Вот он написал пьесу «На дне», и в ней все еще все люди, всех классов и положений, в падении своем до глубин полного и одинакового ничтожества, все герои без различия, от барона до старьевщика-татарина, имеют одинаковое право на любовь и сострадание автора...

Таким я застал М. Горького в Нижнем Новгороде и таким любил его и с ним содружествовал. Закрепившись в издательстве «Знание», я получил возможность бросить всякую службу и с 1903 года превратиться в профессионального писателя. Доход с моих книг и сотрудничества в сборниках «Знания» давали достаточно, чтобы прожить безбедно моей семье.

В Нижнем Новгороде я написал пьесу «Евреи» и почувствовал вообще тяготение к драматургии.

К последнему периоду моей провинциальной жизни и дружбы с Максимом Горьким относится такой памятный эпизод.

В провинции уже гремела слава нового Художественного театра г.г. Станиславского и Немировича-Данченко, а я не видал еще этого чуда. Страшно тянуло нас с женой побывать в Москве на спектаклях этого театра, но на пути все еще стояли рогатки: я все еще не был полноправным гражданином и не имел права жительства в столицах. Однажды, когда М. Горький собирался в Москву с женой, мы с женой решили, игнорируя воспрещение, присоединиться, чтобы посмотреть Художественный театр. Кстати в Москве гостил тогда А. П. Чехов: хотелось повидаться с ним. Я решил жить в Москве на нелегальном положении: день и ночь блуждать по знакомым, нигде не прописываясь.

Приехали. Горький с женой остановились в Лоскутной гостинице, моя жена — там же, а я нигде не остановился: ходил по писателям, а вечера проводил на спектаклях Художественного театра, встречаясь там с женой. Очарование театра было непередаваемо. Я никогда не мог даже вообразить, чтобы театр мог создавать такую иллюзию действительной жизни. Первые день и ночь прошли благополучно.

Ночевал у Леонида Андреева. До театра были у Чехова. Здесь все кружилось вокруг театра: и люди, и разговоры. В театр отправились все вместе: А. П. Чехов, супруги Горькие и мы с женой. Сидели в одной ложе. Ставили «Дядю Ваню» Чехова, и мы проливали слезы. Автор прятался в глубине ложи, а М. Горький впереди и в антракте сделался предметом общего внимания: разнесся слух, что в театре Горький, и молодежь хлынула в коридор нашей ложи. Антон Павлович скрылся в директорской ложе, а Горького успели задержать, и начались шумные овации. Он пытался, было, нырнуть в директорскую ложу, за мной, но молодежь отрезала ему путь, загородила. Тогда он сказал такую речь:

— Что вы, господа, таращите на меня глаза? Я не балерина и не утопленник. Идет пьеса Чехова, а хлопаете мне. Погодите — напишу пьесу, тогда и хлопайте!

Публика обиделась и быстро разошлась. Когда узнал об этой речи Горького А. П. Чехов, он не одобрил:

— Что вы так уж разругали их... Как вам не жалко? Вас так любят, а вы...

На следующий вечер все были на «Одиноких» Гауптмана. После спектакля я пошел проводить жену до гостиницы.

— Зайди, выпьем чаю!

Зашел, а уходить не хочется. Идти ночевать далеко: в Малые Грузины! Разнежился и решил ночевать у жены, а рано утром уйти незаметно. Расположился, как полноправный гражданин и законный супруг. Только успели заснуть — стук в дверь:

— У вас посторонний мужчина! Это воспрещается. Попросите гостя удалиться.

Надо было спасать честь собственной жены:

— Здесь не гость, а законный муж.

— Тогда потрудитесь представить паспорт!

— Представлю завтра утром. Мы — в постели, раздеты...

— Просуньте в дверь паспорт! Иначе уходите. Не имеем права без паспорта.

Безвыходное положение: уйти — значит набросить тень на жену, остаться и отдать паспорт — попасть в лапы полиции. Конечно, пошел на самопожертвование — отдал паспорт. А рано утром меня арестовали, составили протокол по делу о моем незаконном проживании в Москве и препроводили на поезд к немедленной высылке по месту постоянного жительства в г. Нижний Новгород. Жена побыле несколько дней и вернулась. Она видела еще две пьесы. Художественный театр воспламенил меня к драматическому творчеству. Захотелось написать пьесу и увидать ее на сцене этого именно театра. После нескольких неудачных опытов я добился намеченной цели. Последовал совету А. П. Чехова:

— Вам надо написать комедию из провинциальной жизни.

Написав такую пьесу, я отправил ее сперва Чехову и получил ответ, в котором он писал: «Читал вашу «Новую жизнь» — так сперва называлась пьеса — и много от души хохотал. Отличная пьеса! Надо только переменить заглавие: публика просмотрит пьесу и спросит: «А где же новая жизнь?» Она не поймет, что вы это — с иронией. Публика придирчива. Надо давать такие заглавия, которые ни к чему не обязывают автора. Переделайте заглавие и посылайте Немировичу. Я пишу ему об этом». Я переделал заглавие на «Ивана Мироныча» и послал. В 1904 г. Художественный театр ее поставил, и пошла она множество раз с большим успехом. В том же году я сделался полноправным гражданином и мы переехали жить в Москву. Туда же перебрались и Горькие. Революционер «духа», анархист по природе, певший «песню безумству храбрых», неожиданно и противоестественно нашел и выбрал своим богом Маркса, в котором обрел «единую идею», объединяющую все явления духа и плоти человеческой в «классовой борьбе» и «производственных отношениях», и примкнул не к Плеханову, а к Ленину, упростившему эту объединяющую идею до «революции брюха».

В воздухе уже пахнет близкой революцией. Неудачи войны с Японией и закулисный авантюризм ее поводов возбуждают всенародное негодование, завершившееся невиданной в истории забастовкой всех классов, сословий, состояний, даже всех возрастов, начиная с гимназического. Не классы, а подлинно весь русский народ вырывает у самодержавного царя Манифест с обещанием всех свобод и с самоограничением в форме Государственной думы парламентарного характера. Большевики с Лениным во главе стремятся к углублению революции путем восстания в Москве. Горький принимает в нем участие в качестве добывателя денег.

Восстание не удается, подавляется самыми крутыми мерами, и Горький, боясь возмездия, бежит за границу, на остров Капри, где окончательно подпадает под партийное иго большевиков. Они забирают в плен духовный писателя, а с ним и издательство «Знание», ибо хотя Горький и пребывает за границей, но редактирование сборников оставляет за собою, и туда начинают влезать г.г. Луначарский, Богданов и вообще ленинская компания. Тогда кружок писателей, сгруппировавшихся около «Знания», пытается охранить себя от большевистского плена и избирает в редакторы Леонида Андреева. Горький не соглашается, и все мы, за малыми исключениями, уходим, и Горький остается сам-друг с г. Пятницким. Горький, избалованный головокружительным успехом и вообразивший, что достаточно одного его имени для прежнего успеха дела, пытается продолжать его, но неудачно. Года два издательство еще влачит свое существование и затем сходит со сцены. Бывшие в группе писатели распыляются по различным издательствам: Л. Андреев в изд. «Шиповник», Куприн и я — в «Московском книгоиздательстве». Свое постоянное сотрудничество я переношу в «Вестник Европы» и «Современный мир».

Наши пути с бывшим другом, М. Горьким, расходятся в разные стороны, чтобы в будущем никогда не сходиться на литературном и общественном поприще.

ПЕРЕЛОМ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ

Период пребывания в горьковском «Знании» — 1902—1906 гг., — совпавший с предреволюционной и революционной горячкой русской интеллигенции и всего культурного общества страны — был последнею вспышкой моего писательского боевого настроения. Большая часть написанного и напечатанного мной за эти годы в сборниках «Знания» было данью своему времени. Сюда относятся: «На пороге жизни», «На поруках», «Мятежники», «Красные огни», «Легенда старого замка», «Евреи» и другие. Лик революции, явленный в Московском вооруженном восстании, искусственно созданном большевиками безумстве, окончательно охладил мои чувства, вскормленные наследственным боготворением Великой Французской революции. Всего более меня оттолкнула от профессиональных революционеров демагогическая ложь и неразборчивость в средствах и безжалостность по отношению к трудовым массам, которые они толкают на смерть в жертву своим фанатическим идеям, сами прячась за их спинами или за границей, куда убежали Максим Горький, Ленин, Луначарский и многие из тех, которые, почуя безопасность, поспешили вернуться в Россию, чтобы сделаться ее предателями впоследствии...

Великая разница вскрылась теперь между старыми революционерами и революционерами марксистского толка... В «народнической вере» красной нитью проходит христианско-моральная подоплека и любовь к своей родине и своему народу. Свой революционный путь народники неизменно освещали религиозным настроением, Христовой моралью, этическими побуждениями долга пред ближним, а не дальним. В их спорах то и дело дебатировался вопрос: «Имеем ли мы нравственное право?» Хотя формально они Бога игнорировали, как и национальность, но в сущности сделали своим богом отвлеченное понятие — человечество, — а в нем — свой народ во образе «мужика», идеализация которого именно и проистекала из сильного национально-патриотического чувства. В новой марксистской вере не было ни религиозного настроения, ни моральной подоплеки и все духовные ценности человека признавались лишь надстройкою буржуазной идеологии, подлежащей к разрушению, а патриотизм и национальное чувство упразднялись во имя грядущего многоликого и вездесущего «Интернационала». Пролетариат, поставленный на место своего русского народа, играл лишь роль тарана-разрушителя стен буржуазного Иерихона и потому полагалось льстить ему и обманывать его, питая демагогией и охраняя от излишнего знания социальных законов истории. Мало того, отсиживаясь за границей, Ленин с Горьким издали в 1906 г. брошюру, в которой рекомендовалось, в случае новой войны, поднять всероссийский бунт крестьян с помощью мужицкой жадности к земле, имея в виду, что мужик — буржуй и в будущем придется вести с ним войну, как с врагом социализма. Правда, — и народники не брезговали обманом мужика. Золотой грамотой царя, призывавшего

будто бы народ к захвату помещичьих земель, но этот обман имел в основе не только использовать силу, но действительно наградить своего живого русского мужика землей. Здесь, у новых революционеров, русский народ в образе мужика должен был играть роль спровоцированного во имя Интернационала болвана!

Нет, мне не по дороге с этой новой формацией революционной интеллигенции, в лапы которой попал теперь бывший мой друг Максим Горький, вместе с Лениным и Луначарским устроивший на острове Капри школу большевицких провокаторов для будущей революции...

Я впервые явственно ощутил таившуюся в новой идеологии разрушительную силу, грозившую моей родине, моему отечеству и государству, если не гибелью, то огромными бедствиями. Во мне стало просыпаться усыпленное временно социальными утопиями национальное здоровое чувство, этот прирожденный каждому народу инстинкт национально-государственного самосохранения. Я почувствовал себя не просто человеком, а человеком и писателем русским. Казалось бы, что в таком чувстве нет ничего дурного, а тем более политически реакционного, а между тем вскоре на этой именно почве разыгралась семейная интимная писательская история, проскочившая на интеллигентскую улицу в форме крупного литературного события, давшего богатейшую пищу для журналистики, публицистики и всякого литературного, партийного и разговорного шума вокруг моего имени.

В числе моих новых петербургских друзей был артист г. Ходотов, дом которого был салоном, открытым для служителей всех девяти муз искусства и науки в лице их наличного состава столицы, от знаменитостей до непризнанных гениев богемы. Было время, когда у нас поднимал голову свой доморощенный символизм, с доморощенными «Метерлингами», объявившими смерть быту в искусстве. Я вовсе не был противником символизма, но считал, как и теперь продолжаю думать, что и реализм, а с ним неразлучный быт, и символизм — не призваны воевать и уничтожать друг друга принципиально, а две школы, имеющие одинаковое право на свое утверждение в искусстве. Есть, однако, много таких нетерпимых на этом поприще, которые похожи на цепных собак около своей конуры. Такими были в Петербурге моего времени молодой небесталанный писатель г. Дымов[2], называвший себя «русским Метерлингом», и театральный рецензент г. Аш[3], оба были близкие приятели с известным критиком Волынским[4]. Недавно с громадным успехом прошла в Петербурге и за ним в Москве и по всей провинции моя пьеса «Евреи», написанная под впечатлениями, вынесенными из пребывания в Минске, в черте еврейской оседлости, и еще более под свежим впечатлением ужасного Кишеневского погрома. Конечно, эта пьеса в полном смысле слова бытовая. Однако она не встретила со стороны названного рецензента недружелюбия, а сильно восхвалялась. Моя другая поставленная в Петербурге пьеса «Белая ворона», посвященная быту помещичьей жизни и вышедшей оттуда революционной интеллигенции, встретила совсем иную оценку, как пьеса умершего быта, причем в рецензии вообще служилась панихида о быте. В Петербург приехал еврейский писатель г. Шолом-Аш[5] с целью провести свою новую пьесу «Голубая кровь» на императорскую сцену. Автор очень скверно и говорил и понимал по-русски. Его пьесу перевел писатель г. Дымов. И вот артист г. Ходотов устраивает у себя интимный вечер писателей и артистов для прочтения пьесы. Надо сказать, что вечера Ходотова и его салона всегда напоминали просто веселые товарищеские пирушки, вперемежку с литературными и артистическими выступлениями певцов, декламаторов, рассказчиков. Ужин всегда сопровождался значительными возлияниями Бахусу и частенько пиры кончались бедою: не только ссорой, но иногда и драками людей с громкими именами! На сей раз драка вышла словесная, но из тех, про которые говорится: «Свои собаки дерутся — чужая не приставай!» Прочитали пьесу, начали ужинать, принося жертву Бахусу. Когда общество пришло в приподнятое настроение, начались разговоры и речи о прочитенной пьесе г. Шолома-Аша, сидевшего тут же и ничего не понимавшего. Я пришел сюда взвинченный только что прочитанной рецензией рецензента Аша о новой картине нашего знаменитого национального художника И. Е. Репина: автор рецензии, во имя лозунга «Смерть быту!», не только ругал новое полотно Репина, его «Стеньку Разина», но и вообще, отпевая быт, развенчивал И. Е. Репина как устаревшего и теперь ненужного. Надо сказать, что прочитанная пьеса г. Шолом-Аша «Голубая кровь», написанная ярко, красочно и талантливо, словом, хорошая пьеса, вполне достойная любого из столичных театров, носила,

однако, резко бытовой характер и строго-национальную еврейскую окраску, рисуя с положительной стороны еврейскую аристократию древней чистоты крови и с отрицательной — тенденцию к ее разжижению, причем была полна бытовыми картинами старого еврейства. Воздав должное, вместе с другими гостями, Бахусу, в ждал, что скажут наши могильщики быта. Надо заметить, что критик Волынский, по собственному признанию, пьесы не читал и к чтению ее у Ходотова тоже запоздал. И вот теперь, во время ужина, начинается критика пьесы. Первым говорит переводчик пьесы, г. Дымов, символист и отрицатель быта в искусстве. Неудержимо хвалит! Вторым — рецензент г. Аш: сплошной дифирамб. Третьим — критик Волынский: очень серьезно и глубокомысленно хвалит. Он, не читавший даже пьесы! Во мне просыпается юморист и автор прежних сатирических общественных фельетонов. Легкое опьянение заостряет лезвие языка, и я жажду сразиться остроумием с писателями символической школы. Когда дошла очередь говорить мне, я, похваливши пьесу с литературной стороны, стал довольно язвительно высмеивать предыдущих ораторов:

— Пьеса прекрасная, но вот что меня удивило здесь: один из объявивших смерть быту, г. Дымов, не только перевел эту исключительно бытовую пьесу, при том далеко не с демократическими тенденциями, а еще произнес хвалебное слово. Другой могильщик быта, похоронивший нашего великого национального художника Репина, теперв из всей мочи хвалит бытовую пьесу. А третий, не читавши пьесы, превозносит автора и его бытовую пьесу. Что же, господа, это значит? Может быть, наш русский быт умрет, а еврейский не может и не должен умирать?

Как разорвавшаяся бомба были эти мои слова за ужином приятелей!

Ничего не понявший автор, вообразивший, что я ругаю его произведение, встал и на своем ломаном русском языке весьма запальчиво и темпераментно заявил, что я не понял пьесы, причем воспользовался мудростью русской пословицы:

— Чтобы понять мою пьесу, надо три пуда соли съесть вместе с евреями! — таков был конечный смысл заявления.

Я принял удар и отразил его:

— Вы утверждаете, что я, русский человек, неспособен понимать вас, евреев! Но вот все евреи были в восторге от моей пьесы «Евреи», а художественный гипноз у читателей был так велик, что один из провинциальных евреев, проживающий в Сибири, прислал мне письмо, в котором спрашивает, правда ли, что я сам из евреев? Если вы, однако, настаиваете на невозможности для русского понять еврейскую бытовую пьесу, то мне остается только пожалеть, что мои бытовые пьесы подвергаются критике со стороны рецензентов-евреев, не способных понять меня как русского. Ведь большинство рецензентов у нас в Петербурге — евреи...

Тут подлил масла в огонь один журналист с революционной репутацией пострадавшего за правду общественную: он встал и произнес речь о том, что русская интеллигенция ни в революции, ни в литературе не проявляла желания обособиться, а вот евреи поминутно напоминают нам о национальном различии. Вы — шовинисты. Вы даже в социал-демократической партии отгородились от нас своим «бундом». А теперь отгораживаетесь в художественном творчестве! Не думаю, чтобы в России это вам было выгодно...

И вот приятельская интимная схватка за ужином, где шла больше личная пикировка, чем обсуждение еврейско-русских отношений, пирушка, окончившаяся после ужина дружескими объяснениями, неожиданно вырвалась на улицу, и муха родила слона! В еврейской газете «Фреунд» появилось лживое письмо четырех мною обиженных: г.г. Дымова, Аша, Шолома-Аша и Волынского, в котором происшедшее в частном доме и в интимной компании преподносилось публике в извращенном виде. В нем утверждалось, что Евгений Чириков, автор пьесы «Евреи», произнес публично громовую антисемитскую речь, говорил о захвате прессы евреями, о необходимости обособиться от них в литературе и в театре и т. д. Почти одновременно во всех крупных провинциальных газетах появились телеграммы из Петербурга под крупными заголовками: «Автор пьесы «Евреи», Евгений Чириков, — антисемит!» Пьяная Муха превращается в трезвого Слона: П. Б. Струве печатает статью о «Национальном лице», в газетах начинается трезвон, причем никому нет дела, что мне приписана речь, которой я вовсе не произносил. Лидер сионистов Жаботинский тоже употребляет меня в дело в качестве доказательства, что

впрыснутые в большой дозе в зараженного ницшеанством босяка с буйными разрушительными наклонностями, убили в нем искренность и непосредственность ума и сердца. Они сделали из Горького склад всевозможных чужих мыслей, в которых он путался, как муха в тенетах паука. Большой некогда художник стал напоминать посредственного профессора, ушибленного в детстве большевицкой нянькой!

Началась всемирная война: Горький потирал от удовольствия руки и выбрасывал пораженческие лозунги. Однажды я заметил:

— Почему тебя радует неуспех? Ведь с ним гибнет народ...

— Чего жалеть? Людей на свете много. Народят новых. Чего жалеть дураков!

— Почему «дураков»?

— Не ходи воевать!

Однажды Горький прочитал своим гостям, в числе которых был и я, свое новое научное произведение «Две души», напечатанное потом в первом № журнала «Летопись» в измененном виде. Это произведение буквально огорошило меня. Словно писал его не русский писатель, а немецкий профессор, который показывает, что немцы имеют право на всемирное первенство среди народов и моральное право поглощать менее культурные народы, каким является народ русский! Русский народ Горький изображал, как ленивую пьяную и жестокую помесь славянина с азиатом, стоящую поперек дороги человеческому прогрессу, прославлял культуру германскую и пророчествовал, что именно ей предстоит скоро сделаться единой общечеловеческой культурой. Одним словом — Дойтшлянд! Дойтшлянд! Убер аллес Дойтшлянд! Услышать такое произведение из уст русского писателя во время войны, когда на карту поставлена судьба родины, было противно и страшно. Я не сдержался:

— О какой собственно культуре ты пророчествуешь?

— Вообще о культуре и о цивилизации.

— Но ведь в эти понятия входит: и язык, и религия, и литература, и искусства, и все свойственное народу, как исторической национальности... Вообще статья весьма туманная и лучше ее не печатать...

Горький не мог дать никаких пояснений. Единая культура свелась им к единой технике, науке и... к социализму, который призвана осуществить именно Германия! В этой статье была уже в наличности смердяковская умственность и лакейство пред ленинским социализмом, вскормленность германским золотом. Как она написана: заведомо или по научной наивности? Одно несомненно: она написана с целью гасить русский национально-патриотический подъем интеллигенции и расчистить путь для будущего торжества предполагаемой победительницы, Германии. В печатном виде эта знаменательная статья появилась с сокращением именно тех мест, где говорилось и пророчествовалось о неизбежном торжестве германской культуры и цивилизации... Вскоре я был поражен и глубоко возмущен М. Горьким: без моего ведома и согласия он опубликовал мое имя в числе сотрудников будущего своего журнала «Летопись». Я потребовал объяснений:

— Я вижу в числе сотрудников большинство наших «пораженцев», а потому прошу выкинуть мою фамилию из числа сотрудников.

Горький сделал страдальчески-дружескую улыбку, фальшивую улыбку, которая давно уже была мной разгадана!

— Какое пораженчество! Ведь журнал подцензурный! Журнал марксистский, в числе задач — борьба с нашей азиатчиной и... самодержавием.

— Значит, — революция?

— Ну, да...

— Да ведь это и будет поражением!

— Ерунда. Дело каких-нибудь двух недель. Напротив, этот переворот — единственный выход из поражения...

— Я отказываюсь и прошу меня исключить.

— Хорошо.

Я был прав: первая же книжка журнала в ряде своих руководящих статей во главе с горьковскими «Двумя душами» была сплошным развенчиванием идеи родины, отечества, национальности и открытым вызовом ко всей интеллигенции, вставшей на точку зрения жертвенной борьбы с врагами, а с другой стороны там восхвалялась система государственной милитаризации немецкой промышленности, как шаг к будущей социализации, и эзоповским языком предсказывалась неизбежная победа Германии, а потому и поражение России. И глупая цензура ничего не поняла!

Я написал по поводу горьковского журнала большую статью в журнал «Современный мир», где вскрыл всю подоплеку пораженческой позиции нового журнала, и между нами произошел второй и окончательный разрыв даже и в личных отношениях.

До самой Февральской революции 1917 г. М. Горький в своих журнале и газете расчищает путь для торжественного въезда в запломбированном немецком вагоне своего учителя и наставника Ленина и его дружины, ведет борьбу с г. Плехановым, с этим так называемым «отцом русской социал-демократии», лидером меньшевиков, вставшим на патриотическую позицию социалистом, всеми средствами дискредитируя Плеханова в глазах рабочих и солдат и матросов. Он и «социал-предатель», и продавшийся буржуазии идеолог, и презренный соглашатель, вонзающий нож в спину революции. Эта демагогическая травля М. Горького повела к тому, что несколько матросов ворвались на квартиру Плеханова и стали с ним разговаривать толчками ружей и угрозами убить за измену. Все средства хороши, только убрать бы с дороги политического противника с таким крупным именем среди русских социалистов! Больной Плеханов бежит в Финляндию. А когда он там умирает, М. Горький посылает на его могилу огромный венок из красных роз, с надписью: «М. Горький — нашему бывшему другу», или что-то в этом роде.

Плеханов побежден. Его газета «Единство» закрылась. Меньшевики раскололись, и часть их стала переползать в так называемые «полуленинцы», которых покойный Плеханов называл более вредными, чем чистые ленинцы. Ленин откровенно говорил о своих целях: разложить армию, произвести всероссийский крестьянский бунт, захватить власть и объявить диктатуру пролетариата. Полуленинцы принимали все, кроме немедленного захвата власти, они провозгласили, вместо захвата власти, «углубление революции до ее естественного конца». Что они разумели под таким концом, — они умалчивали, но видимость была по отношению к Ленину — оппозиционная. Наученный неудачным опытом Московского вооруженного восстания и первым неудачным выступлением большевиков в Петербурге, М. Горький не верил в возможность захватить и удержать власть, а потому оказался в стане «полуленинцев» и временно в оппозиции к Ленину. Когда Ленин захватил-таки власть, Горький не верил в ее продолжительность и к этому периоду относятся дни просветления писательской совести Горького и вся та правда, которая вырвалась тогда из души и из-под пера его по адресу большевиков. Вот что писал он тогда в своей «Новой Жизни» под рубрикой «Несвоевременные мысли»:

«Жизнью правят люди, находящиеся в непрерывном состоянии запальчивости и раздражения. Гражданская война, т. е. взаимоистребление демократии, затеяна и разжигается этими людьми».

«Советская власть расходует свою энергию на бессмысленное и пагубное и для нее самой и для всей страны возбуждение злобы, ненависти, злорадства».

«Мы совершаем опыт социальной революции — занятие весьма утешительное для маньяков этой идеи и очень выгодное и полезное для жуликов. Как известно, одним из наиболее громких и горячо принятых к сердцу лозунгов нашей самобытной революции явился лозунг «Грабь награбленное!». Грабят изумительно, артистически. Грабят и продают церкви, музеи, пушки, интендантские склады, дворцы, расхищают все, что можно расхитить.. И вот вожди народа не скрывают своего намерения зажечь из сырых поленьев костер, огонь которого зажег бы Западный мир. Костер зажгли. Он горит плохо, воняет грязненькой пьяненькой и жестокой Русью. Несчастную Русь тащат на Голгофу, чтобы распять...»

«Народные комиссары относятся к России, как к материалу для опытов. Русский народ для них — лошадь, которой бактериологи прививают тиф для добывания сыворотки. Вот именно такой жестокий, заранее обреченный на неудачу опыт производят комиссары над русским народом, не думая о том, что лошадка может издохнуть».

«Мы видим, что среди служителей Советской власти то и дело попадаются взяточники, жулики, спекулянты, а честные люди, чтобы не умереть с голода, занимаются физическим трудом. Это нелепость! Идиотизм!»

«Большевицкая политика выражается в равнении на бедность и ничтожество. Я обязан с горечью признать: враги правы — большевизм — есть национальное

несчастие, ибо грозит уничтожить русскую культуру в хаосе возбужденных им инстинктов».

«В «Правде» различные зверушки науськивают пролетариат на интеллигенцию. Это называется «классовой борьбой»...»

«Несмотря на то, что интеллигенция превосходно пролетаризирована и готова умирать голодной смертью, моральное чувство не может позволить ей работать с правительством, которое печатает в своих распоряжениях угрозу красных моряков убить сотню тысяч буржуев за одного своего товарища и тому подобные гадости».

«Рабочих постоянно развращают демагоги, подобные Зиновьеву. Эта демагогия, возбуждая темные инстинкты масс, ставит рабочую интеллигенцию в трагическое положение чужих в родной среде. Советская политика — предательская политика по отношению к рабочему классу!»

Я мог бы продлить это изобличение Максима Горького еще сотней выдержек из написанного и подписанного им своим именем. «Товарищ Зиновьев» постращал М. Горького в «Правде»:

«Когда на светлом празднике сольются пролетарии, ранее воевавшие друг с другом, будет ли там место Максиму Горькому?» — спрашивает Зиновьев. Но Горький, не видя приближения этого праздника, храбро отвечает:

«На празднике, где будет торжествовать свою легкую победу деспотизм полуграмотной массы и личность человека, как и раньше, останется угнетенной, мне на этом празднике делать нечего и для меня это — не праздник!»

Казалось бы, что после такого ясного и гордого ответа М. Горький навсегда освободится от опутавшего его красного спрута. Но ведь в Германии начинается «Спартаковское движение», в Болгарии — восстание, в Венгрии — коммунистический переворот, в Румынии — восстание, в Италии — тоже... Советские газеты затрезвонили о наступлении праздника социальной революции и напугали Горького. И вот М. Горький, воспользовавшись покушением на Ленина, шлет ему поздравление с чудесным событием и делает полный оборот на месте, а Ленин публично хвастается:

«Мы одержали одну из самых крупных побед: мы завоевали М. Горького!»

РЕВОЛЮЦИОНЕР ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА

Было это в Финляндии, незадолго до начала всемирной войны. Я жил тогда на своей даче в финляндской деревне Нейвола, где тогда проводили лето М. Горький, Бонч-Бруевич, Демьян Бедный, Нахамкес[1]. Вероятно, такое изобилие революционной публики и было причиною того, что скрывшийся из своего заточения знаменитый монах Иллиодор, бывший друг, а потом злейший враг знаменитого Распутина, задумавши бежать за границу, пришел искать временного приюта в нашу деревушку. Только на одну ночь. Рано утром ему должны были привезти фальшивый заграничный паспорт и требовался только безопасный ночлег.

Однажды под вечер ко мне заявляется известный в то время писатель, исследователь русского сектантства, г-н Пругавин, и, полный таинственности, просит поговорить наедине.

— В чем дело?

Пругавин объясняет: нужно приютить Иллиодора на одну ночь. Он бежит за границу, чтобы опубликовать изобличающие тайны нашего царского двора. Так вот, не разрешу ли я Иллиодору переночевать в своей даче? Я был не только изумлен, но возмущен:

— Почему вы предлагаете мне помогать Иллиодору, зная, что он мой злейший политический враг, ибо он враг всей русской интеллигенции...

— Он совершенно переродился! Теперь он — гонимый и травимый — понял все свои ошибки и сделался активным врагом самодержавия. Если не хотите сделать это для него, сделайте для меня! Ведь и мы с вами в свое время подвергались преследованиям... Надо понять и простить...

Я упрямился: еще так живо было в памяти шествие Иллиодора по Волге, избиение учениками и последователями Иллиодора на улицах Саратова встречной интеллигенции, комедия всенародного сожжения «гидры революции», его содружество

с Распутиным и т. д. Немало обломал я перьев в свое время, воюя в своих провинциальных обозрениях с этим хулиганом из духовного ведомства, а теперь он просит у меня же защиты и приюта!

— Неужели он не знает, что я писал о нем?

— Знает, но верит в ваше христианское отношение к человеку... Поверьте, что он искренно жаждал правды и лишь ошибался в путях...

Пругавин в конце концов вырвал-таки мое согласие и, ушедши к леску за оврагом, вернулся оттуда с гостем. Ничего духовного! Высокий, здоровенный, мордастый, скуластый, с маленькими острыми глазками, в больших сапогах, озорная вызывающая фигура и жесты, только рука — мягкая, холеная, женоподобная, привыкшая к целованиям паствы. Гляжу и сам себе не верю: иеромонах или волжский разбойник? Явное могущество плоти пред духом. Человек, который приспособлен проталкиваться кулаком и локтями, но вовсе не словом Божиим! Так недавно я громил его в печати, а теперь он сидит в моем доме, на балконе, за чайным столом!

— Вы читали, что я писал о вас?

— Конечно. Кто меня только не травил в газетах. Другие — пусть, но вы — по недоразумению, как и все люди вашего лагеря.

— Ошибаетесь: я писал в здравом уме и не отказываюсь ни от одного своего написанного о вас слова.

— О сем поговорим душевно.

Пругавин ушел. Иллиодор был тогда злободневной знаменитостью и, конечно, женщины моей семьи не сдержали своей любознательности и начали расспрашивать редкостного гостя о Гришке Распутине, с которым Иллиодор теперь воевал смертельной враждою. Много порассказал Иллиодор про Гришку, сверкая образным языком, фигурами и сравнениями, много насплетничал и про царскую семью. Теперь, когда все сплетни уже пущены в оборот, я не буду на них останавливаться. Но расскажу душевное признание Иллиодора о том, как он переродился и сделался революционером, отвергнувшим царя и самодержавие. После чая, когда уже стемнело, мы пошли побродить под гору, к лесу, и Иллиодор начал свою исповедь.

— Да, и вы меня травили, травили газеты, травила и вся интеллигенция ваших взглядов. А я вас всех тоже травил! Но все это было, как я теперь понимаю, одно недоразумение с обеих сторон.

— Я не считаю это недоразумением!

— Позвольте, позвольте! Вы думаете, что я ищу оправданий и хитрю с вами? Нет, я вам исповедуюсь. Мы шли к одной цели, но разными путями. Я сам вышел из народа и со школьной скамьи горел жаждою вывести народ на прямую дорогу. Плохо я разбирался в государственной жизни, а был только религиозен до страсти и по внутреннему призыву души пошел по духовной дороге. Я еще верил тогда в то, что в облачении духовном, именем Бога, я смогу послужить не только Господу, но и своему народу. С детства меня воспитывали и просвещали по системе двоебожия: на небе — Бог, Царь Небесный, на земле — бог, царь земной. И царь был всегда моим вторым богом. Рос я и присматривался к жизни: везде — неправда, обман народа, его страдания, но всю эту неправду и обманы я не относил к царю, ибо хула на царя была для меня как хула на Бога. Всю неправду и зло я относил, как и сам народ, не к самодержавному владыке, а к тем, кто стал между царем и народом. «Если бы царь знал всю правду, — думал я, — если бы сановники, помещики, купцы и чиновники не закрывали бы царских очей, народ жил бы хорошо и счастливо, в правде жил бы! И вот родилась у меня идея: царь и народ, а все прочее — средостение, нарост, шелуха, которую надо отмести прочь. Надо сделать так, чтобы у нас было мужицкое и рабочее царство... А все вы, наша интеллигенция, представлялись мне врагами Бога и царя. Я знал, что вы желаете с помощью социализма осчастливить народ, но я не верил вам и вашим путям: у вас были другие боги: не Царь Небесный и не царь земной. Скоро я убедился, что мое духовное слово — моя сила, увидал, что моя проповедь притягивает народ и что именем Бога и царя я могу вести стадо человеческое не только в царство небесное, но и в царство Божие на земле. А вы, безбожники, казались мне дьяволами, мешающими мне на путях моего служения народу. Возненавидел я интеллигенцию, губернаторов, купцов, полицмейстеров и стал громить их в своем слове, желая сотворить мужицкое царство с двумя богами: земным и небесным. Вся наша культура казалась мне гробом повапленным...

ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ НА ПУТЯХ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Иллиодор примолк, а я спросил:

— А теперь?

— Жизнь разбила мою заветную мечту и надежду. Случилось так, будто дали мне в детстве коробочку с драгоценными камнями, велели беречь, как свою жизнь, но не раскрывать ее никогда. Вот с этой коробочкой и жил я, храня свои тайные драгоценности. Но жизнь заставила раскрыть коробочку... и я вдруг увидал, что вместо драгоценных камней я всю жизнь берег цветные стекляшки!

— Как же это случилось?

— Судьба приблизила меня ко Двору, к царю и царскому семейству, и обаяние пред земным богом разбилось. Как самый обыкновенный темный мещанин оказался мой земной бог и его благочестивое семейство. И самая вера моя стала терять власть надо мною, ибо Распутин осквернил чистоту нашей Церкви, а наш Синод распинал Христа. Теперь у меня нет коробочки, с которой я прошел полдороги жизни. Выкинул я из нее стекляшки и бросил самую коробочку. Я потерял земного бога. Он оказался идолом. Ищу новых драгоценностей: я ушел в сектантство, где еще жив Христос. А что касается земных путей, так я приблизился к вам: надо разбить идолослужение... Вот я напишу такую книгу, что у всех слепых прозреют очи...

— Ну, а как же мужицкое и рабочее царство...

— Если бы нашелся такой человек, который...

Иллиодор не докончил фразы. Помолчал и произнес:

— Народ верил и шел за мной, как за пророком...

Иллиодор встряхнул по-казацки головой:

— Да, вы мне сильно мешали. Кабы не эта травля, все по-другому вышло бы...

Сделалось сыро, из лощины пополз пронизывающий туман, и мы вернулись к даче. Долго еще говорили об интеллигенции, о народе, о мужицком царстве. И когда Иллиодор вспоминал о могуществе своего слова пред народом, он весь преображался, загорался пафосом, говорил громче и красивее, размашисто жестикулировал, глазки его делались злобными и горели, — в эти минуты он напоминал мне Гришку Отрепьева...

Кто знает, как далеко простирал свои мечты этот честолюбивый авантюрист духовного ведомства? Не мечтал ли он о том: что именно ему было суждено сотворить такое царство и сесть в нем на престол?

Теперь, вспоминая эту своеобразную фигуру монаха-революционера, я часто думаю: «Какой яркий предвестник будущего Ленина! Предтеча нашего большевизма в монашеской рясе!»

Оба авантюристы, фантазеры, фанатики, честолюбцы и властолюбцы, только один удачник, а другой неудачник... Все дело в коробочке: Иллиодор раскрыл ее, а Ленин всю жизнь не раскрывал и передал ее в наследство своим ученикам... И те тоже не сдержались, как Иллиодор: раскрыли уже, увидали тоже стекляшки вместо драгоценных камней, но стараются скрыть это от народа и от самих себя...

Но жизнь нельзя обмануть. Она громко кричит теперь на весь мир:

— Не верьте большевицкой коробочке: там не драгоценности, а одни пустые слова!

БОРЬБА С ЛЕНИНЫМ

«Медовый месяц» революции протекал в радостно-приподнятом самочувствии всех петербургских жителей, без различия пола, классов, возрастов. Все пребывали в революционном угаре от всяких свобод, и над этим физическим и духовным хаосом столицы как чудотворное видение возносился прославленный лик г-на Керенского, объявившего революцию «бескровной»... Всегда и везде революции сопровождались зверствами и кровавыми жертвами, а вот у нас — благодаря вмешательству новоявленного чудотворца г-на Керенского — будет хотя и «великая», но бескровная! Тысячи портретов великого мага и чародея печатались в литографиях, и не было квартиры, от богатого особняка до убогой чиновничьей комнатки, где бы не красовался образ этого «великого человека» и государственного мужа! Теперь нам смешно. Да. Но не вправе ли г. Керенский, подобно гоголевскому городничему, сказать нам:

— Над кем смеетесь? Над собой смеетесь...

Не глупо ли, в самом деле, обвинять во всем г. Керенского, когда Временное правительство, впустившее в страшную для государства минуту «Троянского коня» в виде запломбированного вагона с Лениным и его бандой, имело в своем составе столько излюбленных мужей разума, среди которых был и испытанный политик и историк Милюков? Не он ли распорядился впустить Троцкого в пополнение передвижной труппы г. Ленина? Ленин не скрывал своих разрушительных планов, опубликованных еще в 1906 г. и намеченных им при первой новой войне. Правительство не могло не знать этих планов, а между тем не только приняло «немецкий дар» в запломбированном вагоне, но допустило торжественную встречу и манифестацию с музыкой, устроенную его единомышленниками и получившую благодаря огромной толпе любопытных характер торжественного и значительного события положительного характера. Мало того, оно допустило торжественное выступление будущего предателя страны в зале заседаний Государственной Думы. Я случайно был в это утро в Таврическом дворце и наблюдал с хор, что творилось внизу. Здесь был весь наличный состав столичных революционеров различных партий и масса вольнослушателей, в том числе солдат и рабочих. В двухчасовой речи Ленин откровенно изложил всю свою программу действий, вплоть до превращения войны в гражданскую и захвата власти и объявления диктатуры. Попутно он высмеивал Временное правительство, призывал к недоверию и свержению его как власти буржуазной, бросал в толпу кровожадные лозунги... Вообще это был прямой призыв к бунту. Только однажды публика запротестовала, когда Ленин сказал, что царская армия должна быть распущена. Тут загудели недовольно солдаты, раздались интеллигентские протестующие выкрики. Но Ленин быстро поправился и сменил гнев толпы на взрыв рукоплесканий. Он сказал, что армия должна быть не царской, а народной, служить не царю и помещикам и фабрикантам, а трудящемуся народу...

И все это творилось на глазах правительства, под одной с ним кровлей Таврического дворца!

Надо сознаться: после речи Ленина и взрывов рукоплесканий на скамьях интеллигенции, восседавшей в депутатских местах, и в солдатской толпе, перемешанной с рабочими, я впервые усомнился в чудотворстве г. Керенского, которого так зло высмеял Ленин за намерение делать революцию в перчатках... В зале сразу запахло кровью... Медовый месяц революции сразу оборвался. Началась бешеная вакханалия большевицкой пропаганды, захват типографий, дач, особняков, водворение в дворце балерины Кшесинской, под охраной броневиков с пулеметами. Марсово поле, казармы, площадь пред дворцом Кшесинской — представляли собой беспрерывные большевицкие митинги, на которых творилось спешно и злобно разрушение всех основ государственности. И никакого сопротивления со стороны Временного правительства. Эти базары, где бесплатно раздавались брошюры и прокламации, выкрикивались кровожадные лозунги, призывавшие к убийствам и грабежам, к бунтам и ниспровержениям! Милицейские власти только требуют внешнего порядка, следят, чтобы не было драк, а говори что хочешь:

— Раз свобода слова объявлена, мы не можем останавливать...

В казармах устраиваются митинги, на которых открыто выступают ленинцы и молчат их противники. Их попытки всегда неудачны: достаточно двух-трех демагогических выкриков вроде: вы — помещик или капиталист? — как толпа разражается гоготанием и антибольшевика забрасывают насмешками, не давая говорить. Отрезвляющее слово принимается враждебно... Я однажды попробовал вылезти и заговорил.

— Вы какой партии? — закричали с разных сторон.

— Партии здравого смысла! — огрызнулся я.

— Довольно нам здравого смысла! Все буржуи вопят о нем теперь!

— Я не думал, что тут не требуется здравый смысл и предпочитается глупость.

— Товарищи! Что сказал наш пролетарский поэт Максим Горький? Он сказал: «Безумству храбрых поем мы песни!» К черту здравый смысл!

— Правильно-ооо! Долой-ой! Вон его!

— Довольно морочить нашего брата!

— Они нам царство небесное, а себе пироги с капустой! Воюй, говорят, а мы за твоей спиной деньгу считать будем! Война только вам, буржуям нужна!

Толпа — это огромный и страшный идиот. Трезвой мыслью и словом на нее

не воздействуешь. Большевики предлагают бросить войну, делить помещичью землю, захватить фабрики и заводы, а что могли обещать мы?

Ни к каким партиям я тогда не принадлежал, но работал все-таки вместе с Плехановым в его газете «Единство», которое предназначалось для рабочих. Это была единственная возможность продуктивной борьбы. Так как для так называемых сознательных рабочих Карл Маркс был уже неопровержимым доказательством, а он один в двух лицах: и активный революционер (по Коммунистическому манифесту) и эволюционист, как человек спокойной науки. Чем же воевать в рабочих массах, как не тем же Марксом, которым сражается сам Ленин? Так именно сражался Плеханов, так делал тогда и я. Это ограшивало «сознательных» и мешало им слепо идти за Лениным, пока тот еще не овладел, вместе с Россией, и ее рабочим классом.

Революция надолго оборвала мое художественное творчество. Я всецело отдался борьбе с врагами родины, которые очутились скоро ее властелинами. Так как в Петербурге дело становилось безнадежным в этом смысле, и борьба словом и пером не находила больше места, я перебрался накануне большевицкого переворота в Москву. Однако и здесь скоро началась последняя попытка отстоять родину, ее сердце, кончившаяся тщетным кровопролитием. Большевики водворились в Кремле. Пока они церемонились с прессой, я продолжал борьбу словом в «Русских ведомостях», выступлениями на собраниях, чтением лекций. За одно из таких выступлений я едва не поплатился жизнью.

Я только что вернулся из поездки с лекцией. Побывал в Вологде, где большевики сорвали мою лекцию выстрелом на галерке театра в пространство, что произвело переполох и разогнало публику. Был в Рыбинске, Костроме, в Нижнем Новгороде. После лекции в городе здесь заявилась ко мне депутация от Сормовского завода и попросила прочитать лекцию на заводе специально для рабочих. Когда я приехал с этим намерением в Сормово, летний театр, где должна была состояться лекция, был оцеплен красноармейцами. Я стоял с толпой рабочих пред воротами сада, ожидая впуска. Рабочие начали роптать и требовать, чтобы нас впустили. Тогда из-за оград сада открылась стрельба из ружей и толпа побежала врассыпную. Я укрылся в семье одного инженера. Меня искали, чтобы арестовать, но я благополучно уплыл ночью на лодке в Нижний. Здесь была страшная тревога: чехи взяли Казань и среди большевиков была явная паника. Для меня было совершенно ясно, что, двинься чехи тогда на Нижний и Москву, Россия была бы спасена от них навсегда. Но чехи повернули на Сибирь. А как их ждали в Нижнем! Как поджали хвосты торжествующие насильники! Многие из них уже уложились, чтобы бежать, многие выпроваживали свои семьи из города. Растерянность властей принимала комический характер, а жители ходили с гордо поднятой головой!..

Вернулся в Москву. Молодой писатель Б. Пильняк, живший тогда в Коломне, под Москвой, пригласил меня с дочкой посмотреть Коломенский кремль, которого я никогда не видал. Чтобы не тратить зря времени, я решил прочитать там лекцию. Лекция моя, хотя и антибольшевицкая, но построенная на эволюционном лике Карла Маркса, в спокойном, якобы научном тоне прошла хотя и с выступлениями горячих противников, но благополучно. В местном Совете заседали интеллигенты, еще не потерявшие почтительности к писательским именам. А мое имя еще не числилось в разряде писателей-контрреволюционеров. Выступали и некоторые члены Совета против меня, но дебаты велись в корректной форме. Это было в пятницу, а в субботу меня пригласили учителя на свой уездный съезд и избрали меня вторым, почетным председателем. На съезде выступил с докладом об единой трудовой школе большевик. Очень путался в словах, говорил иногда ерунду, смешившую публику. Я этим воспользовался, как почетный председатель, просил у докладчика разъяснения его глупостей, тот путался еще больше и, наконец, выведенный из терпения, заявил, что здесь творится явный саботаж и раздраженно покинул съезд. Учителя просят меня сказать что-нибудь по поводу переживаемых событий. Я вместо речи читаю свое сатирическое стихотворение на большевиков. Приведу несколько начальных строк:

Нас немец победить не мог, —
Ему Ильич в этом помог.
Сей «барин красный», хотя русский,
Приехал к нам за пломбой прусской
И, чтоб пожар внутри зажечь, —
Повел предательскую речь:
К чему вам родина, отчизна
И прочий буржуазный хлам?
Иную заповедь я дам:
Буржуй — единственный ваш враг!

Режь! грабь! — и всех в один овраг:
Попов, купцов, интеллигентов,
Всех бар-помещиков, студентов,
Профессоров и инженеров,
Кадет, эсдеков и эсеров.
Всех генералов, патриотов
И разных прочих идиотов,
Зовущих вас спасать Россию...

Далее приводился разговор Ленина с мужиком, солдатом и рабочим, с демагогическими посулами каждому и создавшийся из них триумвират:

Так создался триумвират:
Мужик, рабочий и солдат,
Спиной к врагу, штыком к народу,
Творили новую свободу,
И русский воз социализма
Приехал в царство коммунизма...

Затем описывался коммунистический рай, в котором все трое оказались обманутыми батраками коммунистической партии... Моя басня произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Сперва учителя и учительницы перепугались и минута прошла в тишине, а потом кто-то смелый зааплодировал, и все собрание загремело рукоплесканиями и криками «браво». Съезд устроил мне овацию, которая продолжалась и на улице, при моем выходе из собрания. На другой день я с дочерью, в сопровождении писателя Пильняка с сестрой, утром, отправились осматривать Коломенский кремль. Едва мы вошли туда, как позади раздался грозный окрик:

— Стой!

Мы оглянулись: нас настигал рослый черный бородатый мужик с револьвером в сопровождении двух латышей с винтовками.

— Где у тебя спрятана прокламация, сволочь этакая? Руки вверх!

Рожа прямо разбойничья, запомнилась навеки: на верхней губе шрам, глаза черные свирепые, ноздри раздуваются, как у лошади. Обыскал меня. Я потребовал объяснений, спросил мандат.

— Вот тебе мандат! — разбойник направил в мое лицо револьвер и закричал: — Убью, как собаку! Объявляю тебя арестантом! Читай вот мой мандат! — Он вытащил бумагу, и я прочитал, что предъявителю этой бумаги предоставлено арестовывать всякое подозрительное по контрреволюции неизвестное лицо. Моя дочь наивно сказала:

— Тут сказано «неизвестного», а папу знает вся Россия!

— Не суйся, а то и тебе...

Пока меня обыскивали и пока я пререкался с разбойником, Пильняк с сестрой отделились и скрылись. Дочь заявила, что она пойдет вместе со мной.

— Куда вы ведете папу?

— А вот узнаешь куда! — задыхаясь от злобы, говорит разбойник, а один из латышей на ломаном русском языке добавляет:

— Ты буржуй, тебя надо расстрелять!

— Вас без того скоро вешать будут, а ты, сволочь, приехал против Ленина революцию разводить! Мы знаем, что с вами делать!

Я понял, что меня ведут на расстрел. Желая не делать свидетельницей этой расправы свою дочь, я посоветовал ей идти и дать телеграмму матери и попугал разбойника: «Пусть немедленно скажет по телефону Ленину!» Никакого эффекта, впрочем, моя хитрость не произвела. Дочь ушла. Меня вели под гору за город и уже не оставалось сомнений, что часы моей жизни сочтены. Странно, что совсем не было страшно: какое-то тупое безвольное безразличие овладело душой.

Привели на пустырь к полуразрушенному дому и втолкнули в калитку, на двор. Дом оказался обитаемым: во флигелях и на дворе бегали красноармейцы, больше латыши. Мелькнуло: это чека. Вогнали в задний флигель, в пустую комнату. Дверь была открыта, и было слышно, что в другой половине дома, через сени, — говорят, кричат люди, трещит телефон. Вошел латыш с винтовкой и начал посматривать на меня с таким любопытством, что я угадал его мысли: у меня часы, хорошее пальто и ботинки. А телефон трещит, потом крикливый разговор в трубку. Прислушиваюсь и начинаю понимать, что дело идет о моей судьбе. Как потом выяснилось, писатель Пильняк, бросив меня, побежал в местный совет и заявил там, что меня арестовали и повели за город. Местный совет, зная, что мне грозит расстрел, как тоже потом выяснилось, потребовал меня на допрос в свою судебную комиссию

Разбойник спорил и не желал меня выпустить из рук... Прошло минут пять и я увидал чрез окно двух велосипедистов интеллигентной наружности, оказавшихся потом членами совета и революционного трибунала. Потом я явственно услышал громкое пререкание из-за меня: разбойник настаивал на своем праве судить меня здесь, а велосипедисты требовали вести в совет, причем шел спор о моем выступлении: насколько я был контрреволюционен в своих словах. И у меня моментально мелькнула мысль: спорящие спорят о разных выступлениях: велосипедисты полагают, что меня арестовали за прочитанную лекцию, во время которой они не только присутствовали, но и выступали оппонентами, а разбойник слышал мои стихи на съезде и о них говорил, но по малограмотности не соображал, что тут недоразумение. После долгих препирательств меня повели под конвоем в город, и я очутился пред лицом советского заседания. Разбойник остался в канцелярии и ждал, что меня ему выдадут. Началось выговором председателя:

— Вы сами виноваты, что нам приходится пользоваться малоразвитыми людьми. Если бы к нам шла помогать интеллигенция, такие случаи не имели бы места... Он человек глубоко преданный идее коммунизма, но, конечно, не понял вашей лекции...

— Вы сами присутствовали на лекции и потому можете судить, можно ли за научный доклад на основах Маркса арестовывать и... могло случиться, что и расстреливать...

Началось обсуждение моей лекции. Только один молодой человек, еврей, находил, что моя лекция все-таки была направлена против власти и дискредитировала идеи большевизма. Большинством голосов, за исключением молодого человека, меня признали заслуживающим выговора и постановили немедленно выслать из Коломны! Когда я проходил мимо разбойника, тот крикнул:

— Кабы знал, что тебя отпустят, я бы не так сделал! Дурака свалял...

Бог спас от расстрела! Мы с дочерью ушли окрайной на вокзал и уехали с первым поездом. Скоро пришлось и Москву покинуть: я напечатал в «Рус. Вед.» статью «Великий провокатор» — о Ленине, и чрез брата своей жены получил совет от Ленина — немедля уехать подальше, иначе он вынужден будет бросить меня в тюрьму. В это время открылось сообщение с оккупированной немцами Малороссией, и мы перебрались в Крым.

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

В Крыму мы узнали, что старший сын наш, студент Новочеркасского политехникума, Евгений, ушедший под знамя генерала Корнилова, раненный в боях под Екатеринодаром, при отступлении потерявшей вождя армии, был брошен в одной из попутных станиц. Полные отчаяния, мы с женой решили поехать на Красную Кубань и, если еще не поздно и возможно, спасти его от неминуемого расстрела. В советских газетах били тревогу: оправившаяся белая армия снова перешла в наступление и двигалась по направлению к Екатеринодару. Это усиливало опасность нашего предприятия и, если сын еще жив — приближало его гибель. Пробравшись в Керчь, мы на греческой фелюге пробрались в Новороссийск, а оттуда в Екатеринодар. Здесь я бывал несколько раз и имел связи в кругах местной интеллигенции. Многие из ее среды, прикрывшись красным плащом, служили теперь в большевицких учреждениях и помогали спасать белых. От них я узнал, что мой сын жив и находится в станице Дядьковской. Блеснула надежда спасти сына при помощи псевдокрасных доброжелателей. План был такой: добиться разрешения властей взять сына на поруки и, похитив его, вывести чрез Анапу в Крым. Пока я налаживал это дело, жена, превратившись в простую бабенку, отправилась искать сына. В первых числах июля 1918 г., приняв по возможности демократический облик, направился и я в Дядьковку, имея в кармане разрешение взять сына на поруки, с обязательством при первом требовании представить его в революционный трибунал и с угрозою, в случае побега, очутиться на положении заложника. Помогло этому то обстоятельство, что местные власти не были еще осведомлены о моей антибольшевицкой позиции и продолжали по старой памяти числить меня попутчиком и своим доброжелателем.

— Как вы, товарищ Чириков, допустили, чтобы ваш сын... и т. д.

— Мальчишка! Ему 18 лет... Учился в Новочеркасске и соблазнился, убежал...

Добравшись по железной дороге до станицы Медведицкой, я нанял попутного казака и на телеге поехал в Дядьковку. Стоял тихий погожий денек, беззаботно пели птички и мой возница напевал что-то себе в бороду, когда впереди, в золотистом пыльном тумане, всплыли силуэты всадников.

— Каратели!— прошептал, обернувшись ко мне, казак и добавил:— Обыскивать не стали бы. Буржуев и кадет ловят...

«Помоги, Господи!»— мысленно произнес я и принял невинный вид удрученного годами и равнодушного ко всему в мире человека. Облака пыли, разливная казацкая песня и загорелые рожи частью в папахах, частью в сдвинутых на затылок военных фуражках. Есть с типичными донскими хохлами, а есть подлинные лики пропойц и каторжников. Слава Богу, проехали! Мой возница стеганул кнутом лошадь, телега покатилась быстрей, но позади прозвучал злобный окрик «стой!» и разбойничий свист, потом выстрел... Казак обеими руками осадил лошадку. Подскакали три всадника с винтовками наготове.

— Кто ты такой?

Не знаю сам, как и почему я произнес точно Богом подсказанное слово:

— Драматург!

— Что такое?!

— Драметург.

Вопрошавший недоуменно оглянулся на своих товарищей, и один из них, как видно старшой, как бы хвастаясь своими познаниями, разъяснил дуракам:

— Это которые кинематографы показывают!

— А!

Рожи расплылись и сразу сделались доброжелательными. Пошептались и старшой махнул рукой:

— Проезжайте с Богом!

Когда всадники ускакали, я незаметно перекрестился и почувствовал усталость во всем теле. Это страх смерти, стоявшей рядом... Под вечер приехали в Дядьковку. Отыскал жену. Она остановилась у казачки, сын которой ушел к белым, и потому была к нам трогательно-доброжелательна.

— Видела Женю? Ну, что? как?

На глазах жены слезы. Потупилась.

— Видела... Он... без ноги... — прошептала и заплакала.

Казачка утешает, говорит, что грешно плакать:

— А ты скажи — слава Богу, что жив остался. Два раза их к смерти определяли.

Начала жуткую повесть о брошенных корниловцах. Дважды исповедовались и причащались, чтобы смерть принять. И дважды воскресали. Подлинные чудеса Божии! Однажды наскочил конный отряд полупьяных красных, узнали, что в станице Деникин лазарет бросил, — туда! Под окошками суд устроили и всех к расстрелу приговорили. Батюшка всех исповедовал... А Бог не допустил.

— Что же случилось?

— Да бабы с девками не дали. Народу собралось около лазарета видимо-невидимо. Очень уж нам жалко было: все молоденькие да хорошенькие... и пожить на свете мало пришлось. Вот мы и начали им препятствовать...

— Неужели баб и девок послушались?

— А мы их в гости приняли, развели по домам. Выпили, поплясали, с девками поиграли, а тут им и время вышло: на коней да и марш! А в другой раз еще страшнее было. Наскакали и — суд! Не стоит, говорят, эту сволочь хлебом кормить. А дохтур белый и скажи: мы, дескать, свой хлеб едим, потому генерал Деникин капитал нам оставил. Как это они узнали про деньги, и про суд забыли. Стали дохтура пытать, сколько денег да где спрятаны. Дохтур отдал. Сказывают, не меньше двух сотен тысяч было. Стали они их промежду собой делить, да и повздорили, драка началась, друг в дружку стрелять начали и все ускакали друг за дружкой да так и не вернулись. Только двое пьяных остались. Они, прежде чем уехать, зашли в лазарет, дохтура в кровь избили, двух белых полковников убили, а других исковеркали... Вот, видно, и сынка-то вашего...

Да, сына они исковеркали. Подошли к постели:

— Куда ранен?

— В ногу.

Отвернули одеяло: нога в гипсе. Давай молотить ее спинками ружейных прикладов. Бросили в бессознательном состоянии и к следующему. Раздробили кости. Началась гангрена. Страшный налет и наступивший в лазарете хаос помешали вовремя сделать операцию, а потом доктор махнул рукой: поздно! все равно умрет! Но тут снова произошло нечто чудесное... Лазарет навещала одна добрая культурная молодая женщина — не буду называть пока ее полное имя и положение. Пусть остается Ольгой Н. Узнав, что в лазарете лежит сын любимого ею писателя, она превратилась в его родную мать, окружив больного юношу трогательной заботливостью. После зверства, учиненного над сыном, она страдала, мучилась и молилась. Когда она узнала, что юноша обречен смерти, она и сама заболела. И вот снится ей сон: подошла к сыну, тот жалуется на невыносимую боль и просит ее переложить изуродованную ногу. Ольга Н. хочет взять ногу, а ее нет!.. И тут точно свыше осенило меня!— рассказывала она потом,— надо отрезать ногу! Пошла к доктору Иванову и стала умолять об ампутации. Тот сперва упрямился, находя это бесполезным, но она настояла. При самых несовершенных технических условиях отняли сыну ногу выше колена. Сын выжил!..

Со слезами на глазах вошел я в лазарет в комнату, где лежал сын.

— Папа!

Он вскочил и на одной ноге прыгнул мне навстречу. Мы крепко обнялись. Я скрипел зубами, чтобы не дать воли чувствам, не разрыдаться.

— Ннкак, вы играете в шахматы?

— Да. Вот позволь тебя познакомить: мой партнер сперва в боях, а теперь в шахматах... Мудьюгин! Мой сосед...

Совсем мальчик. Бежал из Ростова, из 4-го класса гимназии. Без руки. Уже полна комната любопытных: кто в повязках, кто на костылях, а лица радостны:

— Правда ли, что белая армия идет снова на Екатеринодар? Слухи хорошие, а правда ли?

В этот вечер не удалось побыть с сыном наедине, чтобы обсудить вопрос о побеге. А на другой день и самый вопрос о побеге был лишним: из беседы с друзьями и по достоверным слухам с фронтов выяснилось, что по обеим линиям железных путей, в средине которых лежит Дядьковка, идут уже жестокие бои, дорога на Анапу отрезана и побег невозможен. Мы с женой перебрались жить к Ольге Н., муж которой пользовался особенным уважением среди тайных врагов большевизма.

— Наши побеждают! — радостно шепчет он, потирая руки.

— Почему вы в этом уверены?

— Слышите, какой скрип по дорогам? Это снимаются наши «иногородние» (не казаки, а пришлое население). Они ведь сообщники большевиков, надеющиеся получить казацкие земли. Когда красных гонят, иногородние бегут впереди.

Десятого июля эта догадка подтвердилась: к мужу Ольги Н. явилась депутация от местного Совета, и произошел такой разговор:

— Вот мы могли бы перебить корниловцев, а не тронули. А вот придут ваши белые, нас расстреляют... Скажите по совести: оставаться нам? Заступитесь или нет?

— Если лазарет останется цел, я первый заступлюсь. Сохраните нам корниловцев, тогда и мы отстоим вас.

— Мы не тронем, а опасность вот какая: кто первым ворвется в Дядьковку? В боях люди как полоумные, как можно поручиться?

Делегаты пошептались между собою и предложили:

— Мы крови не прольем, а чтобы снять с себя всякую вину, разрешаем вам разобрать корниловцев по рукам и попрятать, где хотите. А уж как дальше выйдет, мы бессильны, отвечать не можем...

Так и поладили.

Этот договор с несомненностью свидетельствовал о том, что слухи о победном приближении белой армии — правильны. Трудно передать тот радостный взрыв, который охватил лазарет, когда мы приступили к тайной эвакуации. Казачки самоотверженно помогали нам, предлагая свои огромные огороды, бани, погребницы и разные укромные места в садах, на сенницах, мельницах. Они не только бралась прятать, а еще и обслуживать их пищей. Мы спрятали сына в соседнем огороде-саде и стали трепетно ждать событий. Уже гремела пушечная канонада в отдалении, а к ночи 10 июля стала доноситься и страшная работа пулеметов. Точно где-то шили на швейных машинах! Станица как-то опустела и притихла. В воздухе висела невидимая, напряженная тревога... И вот настал Ольгин день — 11 июля, именины нашей славной Ольги Н. Никогда в жизни я не бывал и никогда не буду на таких именинах! Точно обреченные, сбились мы в тесный кружок в чистенькой уютной квартире именинницы, одетой в белое, с каким-то просветленным святым лицом. Все были тихи, по особенному кротки и ласковы друг с другом и больше шептались, чем разговаривали. Были и пирог, и вино, и чай, но ни у кого не было аппетита. Стемнело. Мимо станицы текли скрипучие обозы беглецов и визг немазаных колес, мычание коров и обозленные голоса женщин врывались в раскрытые окна. То и дело в кухню заходили вестники и вестницы и вызывали то Ольгу Н., то ее мужа. В страшном томлении тянулись часы и минуты. Ведь решалась общая участь! Если придут наши — всем жизнь, если придут красные — всем нам смерть. Вот пришла казачка и сообщила, что все советское начальство, побросав дома и семьи, утекло! Потом кто-то вдохновенно закричал в кухне:

— Наши взяли Кореновку!

Кореновка — верстах в 30 от Дядьковки. Мы пожимались и подергивались, одолевала нервная позевота и хотелось потягиваться. Однако все притворно бодрились. Голубое летнее небо сверкало звездами. На горизонте затрепетало зарево пожарища. Слышалась канонада со всех сторон и казалось, что бой шел близко-близко. Сидели на крылечке и молча слушали грохот пушек, трескотню пулеметов, скрип обозов и какие-то странные выкрики не то людей, не то хищных птиц. Изредка пробегали по площади темные силуэты людей и внушали какую-то мистическую жуть своим тревожным мельканием и исчезновением. Вернулись в комнаты. Кто-то подсел к пианино и взял несколько пугливых аккордов. Раздался тревожный стук под окном и голос:

— А вы не играйте! Нехорошо. До музыки ли теперь. Лучше и огонь-то потушили бы!

Это осторожный сосед. Не понимает, что именно эта жуть момента и толкнула кого-то заглушить ее звуком музыки. Так мы томились до рассвета. Как вдруг все встрепенулись разом, повскакавши с места: загудел набатный колокол на колокольне! Бросились на крыльцо:

— Что? Что случилось?

Пробегавшие торопливо, на ходу, кричали:

— Белые! Белые! За корниловцами приехали!..

Не берусь описывать наше душевное состояние. Мы точно воскресли из мертвых. Вся станица на ногах, в движении, в криках. На площади содом невообразимый. Появился сын. Лицо его сияет. Допрыгав до стола, торопливо и жадно пьет вино и напевает: «Смело мы в бой пойдем за Русь святую!»[8] Направляемся к лазарету, а здесь уже формируется обоз для вывозки корниловцев. В церкви — благодарственный молебен.

Горстка дроздовцев, человек в 50, с риском гибели, прорвалась узкой полосой, свободной от боев, в Дядьковку и спасла корниловцев и всех, кто был теперь около них.

Когда солнышко всплыло над степью и радостью засверкал новый день, мы, двигаясь рядом с телегами больных и раненых корниловцев, под охраною конного отряда дроздовцев, покидали одно из страшных лобных мест великого похода. Как опишешь это радостное летнее утро, когда, казалось, вся природа ликовала вместе с нами! Еще ночью мы сидели в мрачном трепете, в ужасе, как уже приговоренные к смерти, а взошло солнышко, и мы — не вольной волюшке, пьем аромат свежего раннего утра и переполнены благодарностью к Господу и к покачивающимся в седлах героям-дроздовцам, большинству которых суждено было погибнуть в следующую же ночь. О, если бы могли тогда знать это? А теперь они гордо торжествовали, были поглощены общей радостию и пели:

Марш вперед! Трубят в поход,
Черные гуса-а-ры!
Звук лихой зовет нас в бой,
Наливайте чары!

Песню подхватывают на телегах корниловцы, и летит она по степи с ветерком во все дали и шири, возносится к небесам... А стихла песня, — где-то ворчат пушки,

словно отдаленный гром. Но теперь он не пугает, а лишь острее делает нашу радость спасения. О, незабвенная радость! Вот прошло уже десять лет, а стоит в памяти, как вчерашний день. Тяжелое и ужасное, пережитое в эти проклятые годы братской бойни, отодвинулось и потускнело, а радость жива до сей поры. Она поднимает дух и тайно подсказывает: верь, будет еще одна огромная радость, радость спасения и воскресения родины! Еще одна последняя радость в моей жизни, бегущей к закату!..

Публикация А. РЕТИВОВА.

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

[1] С. Каронин (настоящие имя и фамилия Николай Елпидифорович Петропавловский) (1853—1892) — русский писатель-народник.

[2] Дымов Осип Исидорович (настоящая фамилия Перельман) — писатель, автор повестей и рассказов, выполненных в импрессионистской манере.

[3] Аш — псевдоним критика Анатолия Шайкевича.

[4] Волынский Аким Львович (настоящая фамилия Флексер) (1863—1926) — искусствовед и критик, один из проповедников декадентства. До 1917 года выступал против социал-демократов, после победы большевиков быстро «перестроился» и стал одним из творцов новой «пролетарской» «культуры».

[5] Шолом-Аш (1880—1957) — еврейский писатель. Родился в Польше. С 1909 года жил в США. В своих произведениях идеализировал патриархально-религиозные устои старого еврейского быта. Критики начала века превозносили достоинства этого автора до небес, чуть ли не противопоставляя его Пушкину, Достоевскому, вообще всей русской литературе, что вызывало гнев многих тогдашних писателей, в том числе Чирикова, Куприна, Андрея Белого (см. его «Штемпелеванную культуру».— «Наш современник», 1990, № 8).

[6] Страсти вокруг так называемого «чириковского инцидента» не утихают до сих пор. Не так давно, в 1984 году, израильский журнал «22» под рубрикой «Культура и современность» опубликовал дискуссию по поводу этого скандала, а также по поводу письма А. И. Куприна — Ф. Б. Батюшкову, написанного в связи с «чириковским инцидентом». Собственно говоря, дискуссия предварялась публикацией письма Куприна и была посвящена в большей степени письму, нежели вызвавшему его скандалу. Текст купринского письма в журнале «22» был сильно искажен, то и дело там встречается значок «нрзб.», хотя в тексте письма, копия которого хранится в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (фонд № 20, ед. хр: 15.125. ХСо1), эти места вполне «рзб.». Поскольку письмо вплотную связано с публикуемыми нами воспоминаниями Чирикова, мы считаем своим долгом напечатать его. Можно считать, что это письмо, с некоторыми текстуальными уточнениями, перепечатано нами из израильского журнала «22», мужеству и бесстрашию которого можно только позавидовать.

А. И. КУПРИН — Ф. Б. БАТЮШКОВУ

Житомир, 18 марта 1909 года
(в начале текста нарисован портрет Чирикова, чернилами, анфас)

Чириков (хотя у меня вышел не то Водовозов, не то Измайлов) прекрасный писатель, славный товарищ, хороший семьянин, но в столкновении с Шолом Ашем он был совсем не прав. Потому что нет ничего хуже полумер. Собрался кусать — кусай. А он не укусил, а только послюнил.

Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самом-самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но в сто раз ужасней то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно печатно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуй-ка еврея! Ого-го! Какой вопль и визг поднимется среди этих фармацевтов, зубных врачей, адвокатов, докторов и особенно громко среди русских писателей, — ибо, как сказал один очень недурной беллетрист, Куприн, каждый еврей родился на свет Божий с предначертанной миссией быть русским писателем.

Я помню, что ты в Даниловском возмущался, когда я, дразнясь, звал евреев жидами. Я знаю также, что ты — самый корректный, нежный, правдивый и щедрый человек во всем мире, — ты всегда далек от мотивов боязни, или рекламы, или сделки. Ты защищал их интересы и негодовал совершенно искренне. И уж если ты рассердился на эту банду литературной сволочи — стало быть, они охамели от наглости.

И так же, как ты и я, думают — но не смеют сказать об этом — сотни людей. Я говорил интимно с очень многими из тех, кто распинается за еврейские интересы, ставя их куда выше народных, мужичьих. И они говорили мне, пугливо озираясь по сторонам, шепотом: «Ей-богу, как надоело возиться с их болячками!»

Вот три честнейших человека: Короленко, Водовозов, Иорданский. Скажи им о том, что я сейчас пишу, скажи даже в самой смягченной форме. Конечно, они не согласятся и обо мне уронят несколько презрительных слов, как о бывшем офицере, о человеке без широкого образования, о пьянице, ну! в лучшем случае как о enfant terrible*. *Но в душе им еврей более чужд, чем японец, чем негр, чем — говорящая, сознательная, прогрессивная, партийная (представь себе такую) собака.*

Целое племя из 10.000 человек каких-то айно, или гиляков, или ороченов, где-то на крайнем севере, перерезали себе глотки, потому что у них пали олени. Стоит ли о таком пустяке думать, когда у Хайки Мильман в Луцке выпустили пух из перины? (А ведь что-нибудь да стоит та последовательность, с которой их били и бьют во все времена, начиная от времен египетских фараонов!) Где-нибудь в плодородной Самарской губернии жрут глину или лебеду — и ведь из года в год! — но мы, русские писатели, т. е. ты, я, Пешеходов, Водовозов, Гальперин, Шполянский, Городецкий, Шайкевич и Кулаков, испускаем вопли о том, что ограничен прием учеников зубоврачебных школ. У башкир украли миллион десятин земли, прелестный Крым обратился в один сплошной лупанарий, разорили хищнически древнюю земельную культуру Кавказа и Туркестана, обуздывают по-хамски европейскую Финляндию, сожрали Польшу как государство, устроили бойню на Дальнем Востоке — и вот, ей-богу, по поводу всего этого океана зла, несправедливости, насилия и скорби было выпущено меньше воплей, чем при «инциденте Чириков — Шолом Аш», выражаясь тем же жидовским, газетным языком. Отчего? Оттого, что и слону, и клопу одинаково больна боль, но раздавленный клоп громче воняет.

Мы, русские, так уж созданы нашим русским Богом, что умеем болеть чужой болью, как своей. Сострадаем Польше и отдаем за нее жизнь, распинаемся за еврейское равноправие, плачем о бурах, волнуемся за Болгарию, идем волонтерами к Гарибальди и пойдем, если будет случай, даже к восставшим ботокудам. И никто не способен так великодушно, так скромно, так бескорыстно и так искренно бросить свою жизнь псу под хвост во имя призрачной идеи о счастье будущего человечества, как мы. И не оттого ли нашей русской революции так боится свободная, конституционная Европа, с Жоресом и Бебелем, с немецким и французским буржуа во главе.

И пусть это будет так. Тверже, чем в мой завтрашний день, верю в великое мировое загадочное предначертание моей страны и в числе всех других ее милых, глупых, грубых, святых и цельных черт горячо люблю ее за безграничную христианскую душу. Но я хочу, чтобы евреи были изъяты из ее материнских забот. И чтобы доказать тебе, что мой взгляд правилен, я тебе приведу тридцать девять пунктов.

Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал «извините», побежал в угол мастерской и стал ссать на обои и, когда его клиент окоченел от изумления, фигаро спокойно объяснил: — Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с.

Таким цирюльником во всех веках и во всех народах был жид, со своим грядущим Сионом, за которым он всегда бежит, бежит и будет бежать, как голодная кляча за куском сена, повешенным впереди ее оглобель. Пусть свободомыслящие Юшкевич, Шолом Аш, Свирский и даже Васька Рапопорт не говорят мне с кривой усмешкой об этом стихийном стремлении как о детском бреде. Этот бред им, рожденным от еврейки — еврея, присущ так же, как Завирайке охотничье чутье и звероловная страсть. Этот бред сказывается в их скорбных глазах, в их неискоренимом рыдающем акценте, в плачущих завываниях на конце фраз, в тысячах внешних мелочей. Но главное — в их поразительной верности религии, а отсюда, стало быть, по свойствам этой религии — и в гордой отчужденности от всех других народов.

Корневые волокна дерева вовсе не похожи на его цветы, а цветы на плоды, но все они — одно и то же, и если внимательно пожевать корешок и заболонь, и цветок, и плод, и косточку, то найдешь в них общий вкус. И если мы примем мишуреса из Проскурова, балагулу из Шклова, сводника из Одессы, фактора из Меджибора, цадика из Крыжополя, хасида из Фастова, бокаляра, шмуклера, контрабандиста и т. д. — за корни, а Волынского с Дымовым и с Ашкенази за цветы, а Юшкевича и Дымова за плоды, а творения их за семена, — то во всем этом растении мы найдем один вкус — еврейскую душу, и один сок — еврейскую кровь.

А кровь — das ist ein ganz besonderer Geist**, *как сказал Гёте. У всех народов мира кровь мешаная и отливает пестротой. У одних евреев кровь чистая, голубая, 5000 лет хранённая в беспримерной герметической закупорке. Но зато ведь в течение этих 5000 лет каждый шаг каждого еврея был направлен, сдержан, благословен и одухотворен религией — одной религией! — от рождения до смерти, в беде, питье, спанье, любви, ненависти, горе и веселье. Пример единственный и, может быть, самый величественный во всей мировой истории. Но именно поэтому-то душа Шолом Аша и Волынского и душа гайсинского меламеда мне более чужда, чем душа башкира, финна или даже японца.*

* Ужасное дитя (франц.)

** Это совершенно особенная сила (нем.)

Религия же еврея — и в молитвах, и в песнях, и в сладком шепоте матери над колыбелью, и в приветствиях, и в обрядах — говорит об одном и том же каждому еврею: и бедному еврейскому извозчику, и саронскому цветку еврейского гения — Волынскому. Пусть в Волынском и в балагуле ее слова отражаются несколько по-разному:

Балагула:	Волынский и Аш:
а) еврейский народ — «избранный» Божий народ и ни с кем не должен смешиваться;	а) еврейский народ — самый талантливый, с самой аристократической кровью;
б) но Бог разгневался на него за грехи и послал ему испытания в среде иноплеменных;	б) исторические условия лишили его государственности и почвы и подвергли его гонениям;
в) но Он же пошлет Мессию и сделает евреев властителями мира.	в) никакие гонения не сокрушили еврейства, и все лучшее сделано и будет сделано евреями.

Но в сущности — это один и тот же язык. И что бы ни надевал на себя еврей: ермолку, пейсы и лапсердак или цилиндр и смокинг, крайний, ненавистнический фанатизм или атеизм и ницшеанство, бесповоротную, оскорбленную брезгливость к гою (свинья, собака, гой, верблюд, осел, менструирующая женщина — вот «нечистое» по нисходящим степеням по талмуду) или ловкую философскую теорию о «всечеловеке», «всебоге» и «вседуше», — это все от ума и внешности, а не от сердца и души.

И потому каждый еврей ничем не связан со мной: ни землей, которую я люблю, ни языком, ни природой, ни историей, ни типом, ни кровью, ни любовью, ни ненавистью. Даже ни ненавистью. Потому-то в еврейской крови зажигается ненависть только против врагов Израиля.

Если мы все — люди — хозяева земли, то еврей всегдашний гость. Он даже нет, не гость, а король — авимелех, попавший чудом в грязный и черный участок при полиции. Что ему за дело до того, что рядом кричат и корчатся избиваемые пьяные рабы? Что ему за дело до того, что на окнах кутузки нет цветов и что люди, ее пополняющие, глупы, грязны и злы?! И если придут другие, чуждые ему люди хлопотать за него, извиняться перед ним, жалеть о нем и освободить его — то разве король к ним отнесется с благодарностью? королю лишь возвращают то, что принадлежит ему по священному божественному праву. Со временем, снова заняв и укрепив свой 5000-летний трон, он швырнет своим бывшим заступникам, кошелек, наполненный золотом, но в свою столовую их не посадит.

Оттого-то и смешно, что мы так искренно толкуем о еврейском равноправии, и не только толкуем, но часто отдаем жизнь за него! Ни умиления, ни признательности ждать нам нечего от еврея. Так, Николай 1, думая на веки вечные осчастливить Пушкина, произвел его в камер-юнкеры.

Идет, идет еврей в Сион, вечно идет. Конотопский пуриц идет верой, молитвой, ритуалом, страданиями. Волынский — неизбежно душою, бундом (сионизмом). И всегда ему кажется близким Сион, вот сейчас, за углом, в ста шагах. Пусть ум Волынского даже и не верит в сионизм, но каждая клеточка его тела стремится в Сион. К чему же еврею строить по дороге в чужой стране дом, украшать чужую землю цветами, единиться в радостном общении с чужими людьми, уважать чужой хлеб, воду, одежду, обычаи, язык? Все в стократ будет лучше, светлее, прекраснее там, в Сионе.

И оттого-то вечный странник еврей таким глубоким, но почти бессознательным, инстинктивным, привитым 5000-летней наследственностью, стихийным кровным презрением презирает все наше, земляное. Оттого-то он так грязен физически, оттого во всем творческом у него работа второго сорта, оттого он опустошает так зверски леса, оттого он равнодушен к природе, истории, чужому языку. Оттого-то хороший еврей прекрасен, но только по-еврейски, а плохой отвратителен, но по-всечеловечески. Оттого-то, в своем страническом равнодушии к судьбам чужих народов еврей так часто бывает сводником, торговцем живым товаром, вором, обманщиком, провокатором, шпионом — оставаясь чистым и честным евреем.

Вот мы и добрались до языка, а стало быть, сейчас будет очередь и Чирикова и его правоты.

Нельзя винить еврея за его презрительную надменную господскую обособленность и за чуждый нам вкус и запах его души. Это не он — не Волынский, не Юшкевич, и не Малкин, и не цадик — а 5000 лет истории, у которой вообще даже ошибки логичны. И если еврей хочет полных гражданских прав, хочет свободы жительства, учения, профессий и исповедания веры, хочет неприкосновения дома и личности, то не давать ему их — величайшая подлость. И всякое насилие над евреем — насилие надо мной, потому что всем сердцем я велю, чтобы этого насилия не было, велю во имя любви ко всему живущему, к дереву, собаке, воде, земле, человеку, небу. Ибо моя пантеистическая любовь древнее на сотни тысяч лет и мудрее и истиннее еврейской исключительной любви к еврейскому народу.

Итак, дайте им ради Бога все, что они просят и на что они имеют священное право человека. Если им нужна будет помощь — поможем им. Не будем обижаться их королевским презрением и неблагодарностью — наша мудрость древнее и неуязвимее. Великий, но бездомный народ или рассеется и удобрит мировую кровь своей терпкой, пахучей кровью, или будет естественно (не насильно) умерщвлен.

Но есть одно — одна только область, в которой простителен самый узкий национализм. Это область родного языка и литературы. А именно к ней евреи — вообще легко ко всему приспособляющиеся — относятся с величайшей небрежностью. Кто станет спорить об этом?

Ведь никто, как они, внесли и вносят в прелестный русский язык сотни немецких, французских, польских торгово-условных, телеграфно-сокращенных нелепых и противных слов. Они создали теперешнюю ужасную по языку нелегальную литературу и социал-демократическую брошюрятину. Они внесли припадочную истеричность и пристрастность в критику и рецензию. Они же — начиная от «свистуна» (словечко Л. Толстого) М. Нордау и кончая засранным Оскаром Норвежским — полезли в постель, в нужник, в столовую и ванную к писателям.

Мало ли чего они еще наделали с русским словом. И наделали и делают не со зла, не нарочно, а из-за тех же естественных глубоких свойств своей пламенной души — презрения, небрежности, торопливости.

Ради Бога, избранный народ! идите в генералы, инженеры, ученые, доктора, адвокаты — куда хотите! Но не трогайте нашего языка, который вам чужд и который даже от нас, вскормленных им, требует теперь самого нежного, самого бережного и любовного отношения. А вы впопыхах его нам вывихнули и даже сами этого не заметили, стремясь в свой Сион. Вы его обоссали, потому что вечно переезжаете на другую квартиру и у вас нет ни времени, ни охоты, ни уважения для того, чтобы поправить свою ошибку.

И так, именно так думаем в душе все мы — не истинно, а — просто русские люди. Но никто не решался и не решится сказать громко об этом. И это будет продолжаться до тех пор, пока евреи не получат самых широких льгот. Не одна трусость перед жидовским галдением и перед жидовским мщением (сейчас же попадешь в провокаторы!) останавливают нас, но также боязнь сыграть в руку правительству. О, оно делает громадную ошибку против своих интересов, гоня и притесняя евреев, — ту же самую ошибку, которую оно делает, когда запрещает посредственный роман и тем создает ему шум, а автору лавры гения и венец мученика.

Мысль Чирикова ясна и верна, но неглубока и несмела. Оттого она и попала в лужу мелких, личных счетов, вместо того чтобы зажечься большим и страстным светом. И проницательные жиды мгновенно поняли это и заключили Чирикова в банку авторской зависти, и Чирикову оттуда не выбраться.

Они сделали врага смешным. А произошло это именно оттого, что Чириков не укусил, а послюнил.

И мне очень жаль, что так неудачно и жалко вышло. Чириков сам талантливее всех их, евреев, вместе: Аша, Волынского, Дымова, А. Федорова, Ашкенази и Шолом Алейхема — потому что иногда от него пахнет и землей, и травами, а от них всего лишь жидом. А он и себя посадил, и дал случай жидам лишний раз заявить, что каждый из них не только знаток русской литературы и русской критики, но и русский писатель, но что нам об их литературе нельзя судить.

Эх! Писали бы вы, паразиты, на своем говенном жаргоне и читали бы сами себе вслух свои вопли. И оставили бы совсем, совсем русскую литературу. А то они привязались к русской литературе, как иногда к широкому, умному, щедрому, нежной душой, но чересчур мягкосердечному человеку привяжется старая истеричная припадочная блядь, найденная на улице, но по привычке ставшая давней любовницей. И держится она около него воплями, угрозами скандалов, угрозой травиться, клеветой, шантажом, анонимными письмами, а главное — жалким зрелищем своей болезни, старости и изношенности. И самое верное средство — это дать ей однажды ногой по заднице и выбросить за дверь в горизонтальном направлении.

А. КУПРИН

Сие письмо, конечно, не для печати и не для кого, кроме тебя. Меня просит Рославлев подписаться под каким-то протестом ради Чирикова. Я отказался. Спасибо за ружье.

Целую.

А. КУПРИН.

Любопытно, как комментирует это письмо израильский журнал: «Оно развернуто демонстрирует позицию многих деятелей русской культуры в отношении к евреям и еврейству. Это документ большого идеологического значения, который призывает вдуматься в него и определить свою позицию к высказанным в нем мыслям». Опубликовавшая письмо Виктория Левитина, начиная дискуссию о письме Куприна, пишет: «Оно дышит убежденностью, в нем то, что давно назревало и вот теперь прорвалось, излилось. Его следует рассматривать как выражение кредо». «Купринский инцидент» действительно остался тайным, себя необнаружившим, известным только одному человеку. Трудно даже вообразить, что поднялось бы в обществе, если б эти мысли стали его достоянием! Ведь Чириков стал притчей во языцех из-за одной бестактно-неосторожной фразы, двусмысленно прозвучавшей, которая не идет ни в какое сравнение с тем, что написал Куприн. Рядом с его бешеным шовинизмом замечание Чирикова — невинный лепет». В заключение Левитина в качестве последнего замечания пишет, что русские писатели все были антисемитами, но «Куприн — единственный случай в русской литературе, когда художественное и эпистолярное друг другу противоречат. Ростовщик в «Скупом рыцаре» — это и есть истинное отношение Пушкина, Моисей в «Испанцах» — это и есть истинное (в то время) отношение Лермонтова. А у Куприна прямо-таки наоборот». Вступающий в дискуссию с В. Левитиной М. Хейфец придает письму Куприна и «чириковскому инциденту» куда более широкий, можно даже сказать — всемирно-исторический смысл: «Сейчас мы понимаем, — пишет он в своей статье «Противоречие Куприна?», — что «инцидент Чириков — Аш» не носил локально-писательско-

го, более того — локально еврейско-русского характера. В этом инциденте отразился, возможно, центральный или, во всяком случае, громаднейшей важности вопрос о существовании Российской империи и многих других империй XIX века». Далее М. Хейфец выстраивает цепь рассуждений о том, что гибель таких империй, как Россия и Германия, была неизбежной именно в силу необходимости осуществления идей сионизма. Если бы не рухнула Великая Россия, не мог бы создаться современный Израиль. Почему? Просто потому, что тогда евреям не хотелось бы уезжать из хорошей и благополучной страны в необустроенную Палестину. Итак, природный антисемитизм русского народа и гибель России — вот два фактора, повлиявшие и влияющие поныне на переселение евреев в Израиль. Даже несмотря на всю логику рассуждений М. Хейфеца, конец его статьи ошарашивает: «В. Левитина считает, что теперь, после ее публикации, мы больше не должны считать Куприна «другом». Почему же?.. Главный урок письма Куприна к Батюшкову — как раз в том, что это письмо друга, а не врага евреев. И что именно так о нас мог думать даже друг и благородный человек. Письмо Куприна заставляет нас еще раз посмотреть на себя со стороны. Увидеть еще раз наши недостатки, которые мы привезли из России и из других стран в Израиль. И заняться в условиях «нормальной жизни» самовоспитанием. То есть, перефразируя и Чехова, и Куприна, выдавливать из себя по капле припадочную истеричную блядь, которая привязалась к широкому, умному щедрому человеку и изводила его своей любовью и угрозами самоубийства. Когда наблюдаешь за поведением многих наших соотечественников в Израиле, и за его пределами тоже, догадываешься, как много верного таилось в этой метафоре. Поэтому письмо Куприна Батюшкову — современный и объективно сионистский документ. Не случайно в Советском Союзе его скрывают, а первая публикация появилась в Израиле — в той «больнице», где происходит выздоровление «галутного» пациента от психопатических заболеваний прошлого. Болезнь серьезная, лечение долгое, веновое. Но зато здесь «в надежде славы и добра глядим вперед мы без боязни».

[7] Нахамкес — настоящая фамилия Стеклова Юрия Михайловича (1873—1941), один из главарей большевиков, публицист, член Президиума ВЦИК, автор трудов по истории марксизма и революционного движения, в том числе книги о Чернышевском.

[8] Очень многие русские песни, сочиненные во время первой мировой войны и в других походах, после большевистского переворота 1917 года были переделаны в присвоены большевиками. «Смело мы в бой пойдем» — одна из таких песен. В ее припеве пелось:

Смело мы в бой пойдем
за Русь святую!
И как один прольем
кровь молодую.

Михаил АГУРСКИЙ

27 августа в Москве скоропостижно скончался видный израильский публицист и историк Михаил Агурский. Он был автором «Нашего современника», не раз обсуждал с его сотрудниками важнейшие и острые проблемы современности, издавал в Израиле материалы, публикуемые в нашем журнале. Михаил Агурский известен как горячий сторонник открытого и честного русско-еврейского диалога. Он начал его еще в 1974 году в изданном за рубежом сборнике «Из-под глыб», где его собеседниками были такие люди, как Александр Солженицын и будущий член редколлегии «Нашего современника» Игорь Шафаревич. При всех возможных спорах и несогласиях мы были единодушны с Михаилом Агурским в чрезвычайно важном: признании необходимости прямого и нелицеприятного разговора обо всех, в том числе и самых болезненных, национальных проблемах. И он принадлежал к тем — увы, не очень многочисленным — людям своего круга, которые обладали здравым смыслом и смелостью, без которых такой разговор невозможен.

Мы скорбим о безвременной смерти Михаила Агурского и приносим соболезнование его родиным и друзьям.

Редколлегия.

ПРОЗА

Отечественный архив

БОРИС ШИРЯЕВ

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

РОМАН

* * *

Каждый год начинавшаяся в мае навигация приносила на Соловки новые наслоения. Они отражали, как капля воды — океан, процессы, происходившие на одной шестой мира.

Сначала большинство прибывающих составляли офицеры. Потом — крупные партии повстанцев: среднерусских, украинских и окраинных, грузин и народов Средней Азии — туркмен, узбеков, «фанатиков», как прозвала их шпана. В разгар нэпа — контрабандисты, валютчики, проститутки и нищие, получившие за свою голодную жадность к еде кличку «леопарды».

В 1925 г. красный Ленинград добивал остатки императорского Петербурга: прибыли «дипломаты» — чиновники министерства иностранных дел, «фараоны» — бывшие полицейские, рядовые и служившие в департаменте, и лицеисты.

К этой последней группе относились не только бывшие питомцы Александровского лицея, но и правоведы, и просто сенатские чиновники. Эта группа была наиболее яркой, имела свое определенное лицо, свои культурные традиции, уходившие корнями к временам первого пушкинского выпуска.

Инкриминированным им «преступлением» была панихида, отслуженная по Царе-Мученике. Служил ее также бывший лицеист, ставший священником, отец Лозино-Лозинский, изящный, утонченный, более напоминавший изысканного аббата XVIII века, чем русского семинара. В этой группе приехали на остров и воспитанники Лицея — сенатский чиновник Кондратьев, талантливый пианист, ученик Сен-Санса барон Штромберг и другие.

Утонченность культурной традиции, заметная в большинстве лицеистов и порой становившаяся болезненным гротеском, в Кондратьеве сказывалась особенно ярко. Ей не противоречил ни один его поступок, ни одно его слово, ни один его жест.

Одетый в просмоленный овчинный кожух, в какой-то уродливой ушастой шапке, он все же оставался самим собой, изящным светским петербуржцем, именно петербуржцем, а не москвичом или парижанином. Еловая палка в его руке превращалась в тросточку фланера, а огромные тупоносые валенки, казалось, не изменили его походки, выработанной на натертом воском паркете.

Но снобом он не был. Столь же, сколь внешность, были утонченны и чутки струны его души.

Продолжение главы 26-й; 27, 28, 29-я главы. Начало публикации романа в №№ 4—8 за 1991 год.

В предыдущем номере на стр. 110 допущена ошибка. Глава 21-я относится к части четвертой романа.

Служба в сенате была для Кондратьева клеткой, оковами. Он был рожден не чиновником, не юристом, а артистом, глубоким, чутко отзывавшимся на каждую коснувшуюся его эмоцию.

В Петербурге он учился сценическому искусству у Варламова, и знаменитый старик считал его одним из лучших учеников. Но для полной отдачи себя искусству перевоплощения лицеист должен был порвать со своей средой, ее традициями, а быть может, даже с семьей, с налаженной обеспеченной жизнью. На это у Кондратьева не было сил. На Соловках соотношение влечения к сцене и отталкивания от нее в душе Кондратьева изменилось. Призвание победило, и, несмотря на осуждения части своих друзей и однокашников, он вступил на «подмостки большевицкого театра».

Опошленные, к сожалению, определения творчества актера: «горел», «светил», «внутренний огонь» — как нельзя более подходили к сценическому служению, именно служению Кондратьева. Быть может, яркости его эмоции своеобразно способствовал туберкулез, обостряющий их, как говорят врачи.

Кондратьев не только «горел» и «светил». В силу какого-то таинственного внутреннего процесса он, созвучно духу Святого острова, углублял каждую роль, доходя до каких-то смутных метафизических, даже мистических истоков. Знаменитая реплика Кречинского «сорвалось!» звучала в его устах как удар рока, а не крик досады неудачливого игрока. Этой глубинностью своего преображения он касался в душах зрителей тех сокровенных струн, о существовании которых они и сами не подозревали...

Внутренно он будил духовность. Внешне — осуществлял мечту в иллюзии...

В пошленькой переводной комедии «Три вора» он смог столь ярко героизировать банальную роль вора-джентльмена, крадущего из любви к искусству, ради острых переживаний, и вложить в нее столько неподдельной грации, что попавший на «большевицкий» спектакль старичок-дипломат времен чуть ли не канцлера князя Горчакова заплакал подлинными слезами:

— Фрак-то, фрак как он носит... Ведь этого больше не увидим... никогда... никогда...

А экспансивный воришка Фомка Рулек, выходя из зала, кричал, бешено жестикулируя:

— Вот это всамделишный уркаган! Фартовый в три доски! А мы — что?

«Фартовый» в этом случае означало безудержно широкий, могучий, сверхчеловек в его представлении.

В обеих оценках звучала тоска по недостижимому. Мечта. О прошлом или о будущем — не все ли равно!.. Актер Кондратьев подарил им иллюзию ее осуществления.

Предела своей глубинности он достиг в роли царя Феодора Иоанновича. Пьеса А. Толстого была сильно урезана, не по цензурным соображениям, а по недостатку актеров, но роль самого Феодора стала от этого еще выпуклее, ярче.

— А где его мощи лежать? — спросил меня после спектакля тамбовский мужик-повстанец.

— Чьи мощи? Какие?

— Вот этого царя, какого представляли...

— Так он же не святой. И мощей никаких от него нет.

— Коли не знаешь, скажи, что не знаешь, — вразумительно и веско ответил повстанец, — а врать зачем? Не могёт того быть, чтобы от него мощей не осталось!..

* * *

И Кондратьев, и я имели постоянный пропуск на выход из кремля. Это давало нам возможность уходить даже ночью на берег устланного серебристым туманом Святого озера, в суровую тишь подступавшей к нему дебри.

Так было и в ночь после постановки сцен из «Царя Феодора Иоанновича». Стояла средина мая. В укрытых лапами елей низинах и под раскиданными по дебре валунами еще лежали остатки колкого, покрытого льдистой корой снега. Солнце еще надолго пряталось за серою гладью согнавшего лед моря, но ночи уже бледнели. Зимнюю тьму сменял лиловатый сумрак. Сладко пахло липким березовым листом и талой сырой землей.

Кондратьев остановился возле высокого креста, одного из многих, поставленных монахами на просекавших лес дорогах. На них, вопреки православному канону, тело Христово было не нарисовано, а вырезано из дерева какими-то безымянными трудниками-художниками.

— Когда я готовил роль царя Феодора, я приходил сюда, — тихо, боясь нарушить покой лилового сумрака, проговорил Кондратьев. — Я искал понимания ее до конца, до глубины, у Него... именно вот у этого, только у Него, а не у другого...

— Почему у Этого? И только у Него?

— Всмотритесь в Него. Разве Он походит на тех, что вы видели под куполом Исакия, на полотнах Эрмитажа? Нет. *Этот* совсем иной. Смотрите, как выдаются скулы. И глаза маленькие, даже чуть-чуть косят, а борода редкая, клочковатая... Ведь это мужичонка ледащий из какого-то завязшего в болотах села Терпигорева. Надеть бы ему рваный зипунишко, закинуть за плечи котомку — и пошел бы Он по заметанным пургою путаным дорогам...

— Куда?

— Куда? К Своему царству. К тому, что «не от мира сего»...

— А где оно, это царство?

— Не знаю! И Он не знает. Не знает, а идет. Искал его и в неведомой Опоньской земле, и в сумраке Киевских пещер, у вод Валаамской купели, в строгой тишине Полуночной пустыни, и здесь... Вот сюда дошел и поднялся на крест, гвоздями себя с ним сбил воедино, как плотник доски сбивает. Накрепко. Навек. Чтобы не сорвало ни метелью, ни бурей...

— И так навек?

— Да. «Здесь» — навек. Сошествие с креста — «там». Вот к этому-то Христу, скуластому, косоглазому, в зипунишке, с котомкой, и шли сюда пятьсот лет такие же, в зипунишках и с котомками...

— И мы, мы тоже сюда к Нему пришли?

— Нет. Мы не пришли, а нас пригнали. Против нашей воли метелью сюда занесло, и в этом непознанное нами Откровение. В грозе и буре, со Зверем, с Конями растаптывающими, с Блудницей, растлившей наш разум. Пригнали, чтобы показать: вот Он, о Котором вы позабыли...

— Знаете, кому вы созвучны сейчас?

— Кому?

— Нестерову, художнику, Михаилу Васильевичу. Мне пришлось посидеть с ним в Бутырках дней пять. Его скоро выпустили. Луначарский вызволил, да и делу была грош цена: продал пару картин в чье-то полпредство. Я как раз в это время получил приговор. Конечно, испугался. Соловки... Кровь... Холод, смерть... Все в камере мне сочувствовали, охали... Только Нестеров шепнул: «Не печальтесь! Это к лучшему. Там Христос близко», — а вечером и потом еще две ночи мне рассказывал, как он приезжал сюда летом почти каждый год и здесь задумал и скомпоновал свое огромное полотно «Святая Русь». Помните его? На фоне вот этих, по-здешнему нежных березок, на полянке стоит Христос, а к Нему из лесной чащи, из темной дебри, на Светлую полянку идут калеки и сермяжники, девушки, старики, отроки — все...

— Помню. Он назвал ее также «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененни, и Аз упокою вы». Только у него всё же не то. Он от Писания Христа показал... И к Нему идут обремененные... А этот безымянный художник слил уже их с Христом, объединил в вере и любви. У этого не «приидите», а уже пришли и «Я в них». Вот этот-то безымянный художник и разъяснил мне Феодора. Феодор тоже уже «пришел».

— Поэтому и царевать он не умел?

— Да. Поэтому. Потому что «царство его не от мира сего»... К этому царству и шли сюда. К нему и нас пригнали. Ведь все мы — калеки и убогие... Вся Русь.

— И Ногтев, и Васьков?

— И они! Может быть, еще сильнее нас покалечены.

Слово Пригвожденного ко Кресту звучит одною и тою же единственной правдой на всех человеческих языках. Оно звучит и на языке искусства. Актер и лицедей Кондратьев сказал его с «подмосток большевицкого театра». Достоин ли он имени праведника?

Глава 27
СКАЗЫ КАМНЕЙ

В те уже далекие теперь двадцатые годы нигде, кроме Соловков, не смыкались так плотно последние образы древней, уходившей в прошлое Руси с теми новыми формами, которые несла в буре пришедшая советская власть.

В стенах, сложенных из обтертых доисторическими льдами камней по указу правителя царства Бориса Годунова на Полуночном море, в их твердыне, крепившей силу первопрестольной Москвы, красная Москва учредила свой застенок-каторгу.

Пылкая фантазия шпаны превратила могилу последнего запорожского кошевого Петра Кольнишевского в гробницу «святого Кудеяра», «патрона» разбойников, бандитов и прочих уголовников. Невдалеке от нее, на кремлевском дворе, стояла сложенная еще руками монахов пирамида неразорвавшихся бомб, выпущенных по монастырю английской эскадрой в 1855 г. По преданию, их фитили были потушены в воздухе ширококрылыми соловецкими чайками, взятыми за это под особую охрану монастыря. Традиция их охраны перешла и к чекистам: Эйхманс настрого запретил убивать спокойно прогуливавшихся по дворам птиц, и этот запрет выполнялся, хотя в белые ночи непрерывный крик чаек изводил заключенных, да и в пищу они годились бы с голодухи... Ели кое-что и похуже.

Комнаты корпусов-общежитий даже в ротных списках именовались не по-тюремному — камерами, а по-монастырски — кельями. Оставшиеся на острове соловецкие монахи были зачислены инструкторами в каторжанские рыболовные артели, на кирпичный завод, на вязку плотов и считались на службе ОГПУ, получая зарплату и паек.

В таком же странном сочетании сплетались тонкие, цветистые шелка прошлого с грубым, жестким суровьем новых веяний в душе военкома Соловецкого особого полка Петра Сухова. Еще недавно был он бравым боевым вахмистром одного из строгих и блестящих кавалерийских полков, состоял на сверхсрочной службе, знал твердо и непоколебимо, верил сам и другим внедрял веру в то, что «Русское знамя есть священная хоругвь»...

Но сменилось знамя. Помимо его, вахмистра Сухова, воли вместо «Спаси, Господи, люди Твоя»... запели «Вставай, проклятьем заклейменный», вместо царственных величавых орлов нацепили пятиконечные звезды. Лик Спасителя был сорван с древка пробитого бородинскими пулями штандарта, и на том же древке повисла красная тряпица, наскоро сметанная из гусарских штанов штабного писаря. На том же древке...

Значит, так надо, и вахмистр Сухов стал служить пришедшим на смену знаменам так же верно и честно, как служил ушедшему. Так же твердо и неуклонно.

Когда кончилась война с немцами, вахмистр Сухов пригнал на двор военного комиссариата небольшой табунчик отощавших, запаршивевших от чесотки коней, свалил там же в кучу нерастасканные седла, поставил пустой денежный ящик и древко с красной тряпкой — всё, что осталось от трехсотлетней истории славного боевого и блестящего полка.

— Получите под расписку, товарищ начальник, а мне позвольте назначение на предмет дальнейшей службы, потому славный ....ский гусарский его бывшего Высочества полк приказал долго жить.

Получив назначение на новый фронт, Сухов, так же, как и прежде, не раздумывая, но выполняя приказ, пошел против нового врага. Были немцы, стали буржуи, кадеты. Это не его, Сухова, дело, кто враг, а вверенный ему эскадрон, теперь уже полк, в полном порядке — и задания выполнены.

То, что против него бились теперь не немцы, а русские, не наводило Сухова на размышления. Это был враг. О врагах и в старом и в новом уставе ясно сказано.

Только раз в душу его заглянуло сомнение. Он сам об этом так рассказывал:

— Уже перед самым окончанием войны, когда Ростов у нас в тылу остался, настигли мы ихний эскадрон... Да какой там, к чертям, эскадрон! Одно название, десяти рядов не насчитаешь. Разомкнулись в лаву, настигаем. У них кони сморенные, как на стоячих идем. Я впереди, конечно. Жеребец у меня — огонь, под Воронежем с казенного завода взят, кровный. Достигаю отсталого. Заезжаю слева, как полагается, взял клинком замах. Гляжу, погон-то наш, золотой, просветы небесные, по ним гусарский зигзаг вьется... Один такой во всей кавалерии у нашего полка был. Сумно мне стало. Не рубаю, кричу: «Сдавайся, товарищ полковник, жизню оставим!» Он обернулся, вижу — наш эскадронный, какой меня к первым двум крестам представлял. Я ему, как другу, кричу: «Сдавайтесь, товарищ, ваше благородие (сам не знаю, как это у меня получилось)!» Он оглянулся и, видно, тоже мою личность вспомнил. «Серый волк тебе товарищ, иуда-христопродавец, отцеубийца»...— кричит... Ну, тут я, конечно, рубанул. Не то чтобы обидно мне стало, а как иначе? Война! Ночи три он потом мне снился. Я даже пьян напился, хотя вообще на службе пить остерегаюсь и в строю сроду пьяным не был. Оно, так сказать: он действительно мне заместо отца на старой службе был. Добром его поминаю...

Кончилась война, направили Сухова в совпартшколу. Новый устав. Новая присяга: «Служу трудовому народу». Господь Бог в ней ни словом не упомянут. Значит — отменен окончательно, вычеркнут из списков, и Сухов Его тоже вычеркнул. Обучающий на занятиях разъяснил по всей науке, что никакого Бога нет и быть не может. Одна поповская выдумка. Значит, так. Правильно!

На Соловках комиссару полка приказ за приказом: усилить, углубить антирелигиозную работу, учитывая местонахождение полка в центре распространения религиозного дурмана.

Правильно. Здесь и монахи еще целы, а на каждом перекрестке дорог стоят трехметровые распятия. Чудит товарищ Эйхманс: везде кресты и даже самые малые крестики посняты, а здесь вон какие стоят. Только дощечки понабиты с надписью: «Религия — опиум для народа». И Спаситель на этом распятии необыкновенный, навроде статуи крашеной. Таких у нас не бывало. И личностью с нашим не схож, попроще, на Бога не походит, а вроде мужика...

Однако не его это, Сухова, дело. Островом Эйхманс заведует, а у Сухова — полк. Полк в полном порядке. Спаситель же на распятии деревянный, и вреда от него быть не может.

Раз в сумерки, возвращаясь с охоты на соловецких оленей, Сухов выпалил оба заряда в бледно маячившую грудь распятого Христа.

— Получи, товарищ! Все шестнадцать картечин в мишени,— подсчитал он.— Кучно бьет двустволочка!

Выпалил в Христа — и ничего не случилось! Так-то.

* * *

Замшелые, источенные ветрами камни Соловецких башенных стен повествуют суровые были об адамантах и смарагдах истового русского благочестия, долгие годы пребывавших в их нерушимом молчании.

Камни много расскажут тому, кто захочет прослушать их беззвучную, бессловесную повесть. Соловецкие камни — книга четырех веков.

Тот, кто сумеет прочесть эту книгу, узнает о многих трудниках, стекавшихся сюда «по воле» и «поневоле» со всех концов Святой Руси, чтобы омыть свои души в Соловецкой купели. Эти люди были различны, как и камни в стенах. Иные из них грозными громадами давили друг друга. Так и теперь: камни в стенах словно борются между собой, столкнувшись в твердыне стен, борются так же, как боролись меж собой в ушедших веках созидавшие Русь исполины — камни стен ее рухнувшей ныне храмины. Не о них ли хранит в себе память этот нетленный синодик?

Могучий и грозный патриарх Никон был тоже в молодости иноком Анзерской пустыни. Не здесь ли окаменел его непреклонный, непреоборимый дух? И другая громада стародавней кондовой Руси прикатилась сюда. Ее имя и по сей день сохранила мрачная темница в кремлевской стене — «Аввакумова щель».

А на полке соловецкого антирелигиозного музея теперь лежит иной, меньший по размерам, но столь же твердый камень. В давние времена он лежал в головах сбитого из неструганых и ничем не покрытых жердей ложа чернеца Филиппа Колычева, инока соловецкого, митрополита Московского царства, столь же грозного и непреклонного, как и сам царь его Иван. На этом камне в часы недолгого монашеского сна покоилась голова, не склонившая свой терновый мученический венец перед державною шапкой Мономаха. Слово святительское стало тогда против царского слова во имя Христовой правды. Стало и победило его в веках.

Не один такой камень лежит в соловецких стенах. Камни-люди громоздили

эти валуны, камни-люди в них жили. Камнем был и соловецкий архимандрит, затворивший врата обители перед поправшим предания древней Руси патриархом. Камнями были и его иноки-воины, десять лет продержавшиеся в затворе против стрельцов патриаршего воеводы Мещеринова. Много здесь побывало и других таких же камней, не оставивших нам своих имен.

Древни, но нетленны сказы соловецких камней и нет им конца... В ряд с замшелыми камнями ушедших веков теперь становятся новые, времен сущих, текущих, но столь же твердые и непоколебимые.

Одним из таких новых, но столь же несокрушимых, как прежние, камней соловецкой обители Духа стал архиепископ, владыка Илларион.

С первого же дня его соловецкого жития имя владыки окуталось легендой силы и славы. Рассказывали, что в недалеком еще тогда прошлом он был послан Синодом на усмирение какого-то кавказского монастыря, охваченного безумием проповеди тоже тогда еще не забытого исступленного фанатика монаха Иллиодора — «русского Савонаролы». Монастырь отказался подчиниться Святейшему Синоду и затворился. Применение полицейских мер в этой чисто церковной распре было бы бестактностью. Монастырь не принял молодого еще тогда викария, заперев ворота, и не стал слушать его увещеваний. Это не остановило воина Христове. Силою своего мощного слова владыка собрал верующих, пошел крестным ходом на монастырь и взял его приступом, как крепости-монастыри в стародревние времена.

В этой легенде было не зерно, а много правды. Позже мне приходилось слышать ее подтверждение из нескольких различных источников. Но в другой легенде о нем, возникшей к концу первого года его пребывания на Соловках, фактической правды совсем не было, но, вместе с тем она крайне интересна и очень ярка для познания этой замечательной личности чисто русского иерарха. В этом плене в ней была своя правда, не фактическая, а внутренняя, как в апокрифе.

Рассказывали, что в Кемь приехал нунций римского папы с целью использовать трагическое положение православного духовенства ради создания унии. Говорили, что ОГПУ было вынуждено, в силу дипломатических соображений, разрешить ему совещание с заточенными русскими иерархами, которые избрали якобы для переговоров владыку Иллариона. Описывали с яркими, красочными подробностями встречу в Кеми двух князей двух церквей, пышное облачение нунция и убогое рубище Иллариона, повторяли речь посланника римского престола и предложенные им тезисы условий соединения церквей, обещания вывезти из Соловков все русское духовенство и гордый трагически-непреклонный ответ владыки, избравшего терновый венец и отвергнувшего предложенную ему тиару кардинала... Спорили даже о таких подробностях, как икона, держа которую вышел к нунцию владыка Илларион.

Но ни капли фактической правды в этом апокрифе не было и не могло быть. Посольство папы и тем более разрешение на встречу его с заточенными со стороны ОГПУ были абсолютно невозможны, и все бывшие на Соловках иерархи решительно отрицали этот факт.

Тем не менее апокриф родился и жил на острове. Он даже перекинулся на материк: позже я слышал его в Москве.

Легенда возникла и жила потому, что люди *хотели* видеть реальное воплощение духовной силы церкви, ее несокрушимой твердыни, и самым подходящим объектом для этого воплощения был владыка Илларион.

Огромная внутренняя сила его проявилась с первых же дней по прибытии на каторгу. Он не был старейшим из заточенных иерархов, но разом получил в их среде признание высокого, если не первенствующего авторитета. Среди верующих мирян эта авторитетность его достигла еще большей высоты: его называли хранителем и местоблюстителем патриаршего престола, возведенным в этот сан тайным завещанием патриарха Тихона, что тоже было апокрифом; говорили и о посулах ему со стороны ГПУ за переход и возглавление созданной этим органом «живой церкви» и о его решительном отказе.

Последнее вполне возможно. Подобные предложения не раз делались и высшим иерархам и рядовому духовенству.

Силе, исходившей от всегда спокойного, молчаливого владыки Иллариона, не могли противостоять и сами тюремщики: в разговоре с ним они никогда не позволяли себе непристойных шуток, столь распространенных на Соловках, где не только чекисты-охранники, но и большинство уголовников считали какой-то необходимостью то злобно, то с грубым добродушием поиздеваться над «опиумом».

Нередко охранники, как бы невзначай, называли его владыкой. Обычно — официальным термином «заключенный». Кличкой «опиум», попом или товарищем — никогда, никто.

Владыка Илларион всегда избирался в делегации к начальнику острова Эйхмансу, когда было нужно добиться чего-нибудь трудного, и всегда достигал цели. Именно ему удалось сконцентрировать духовенство в 6-й роте, получить для него некоторое ослабление режима, перевести большинство духовных всех чинов на хозяйственные работы, где они показали свою высокую честность. Он же отстоял волосы и бороды духовных лиц при поголовной стрижке во время сыпнотифозной эпидемии. В этой стрижке не было нужды: духовенство жило чисто. Остричь же стариков-священников значило бы подвергнуть их новым издевательствам и оскорблениям.

Устраивая других — и духовенство и мирян — на более легкие работы, владыка Илларион не только не искал должности для себя, но не раз отказывался от предложений со стороны Эйхманса, видевшего и ценившего его большие организаторские способности. Он предпочитал быть простым рыбаком. Думается, что море было близко и родственно стихийности, непомерности натуры этого иерарха, русского князя церкви, именно русского, прямого потомка епископов, архимандритов, игуменов, поучавших и наставлявших князей мира сего, властных в простоте своей и простых во власти, данной им от Бога.

* * *

Когда первое дыхание весны рушит ледяные покровы, Белое море страшно. Оторвавшись от матерового льда, торосы в пьяном веселье несутся к северу, сталкиваются и разбиваются с потрясающим грохотом, лезут друг на друга, громоздятся в горы и снова рассыпаются.

Редкий кормчий решится тогда вывести в море карбус — неуклюжий, но крепкий поморский баркас, разве лишь в случае крайней нужды. Но уж никто не отчалит от берега, когда с виду спокойное море покрыто серою пеленою шуги — мелкого, плотно идущего льда. От шуги нет спасения! Крепко ухватит она баркас своими белесыми лапами и унесет туда, на полночь, откуда нет возврата.

В один из сумеречных, туманных апрельских дней на пристани, вблизи бывшей Савватиевской пустыни, а теперь командировки для организованной из остатков соловецких монахов и каторжан рыболовной команды, в неурочный час стояла кучка людей. Были в ней и монахи, и чекисты охраны, и рыбаки из каторжан, в большинстве духовенство. Все, не отрываясь, вглядывались в даль. По морю, зловеще шурша, ползла шуга.

— Пропадут ведь душеньки их, пропадут,— говорил одетый в рваную шинель старый монах, указывая на еле заметную, мелькавшую в льдистой мгле точку,— от шуги не уйдешь...

— На всё воля Божия...

— Откуда бы они?

— Кто ж их знает? Тамо быстринке проходит — море чистое, ну и вышли, несмышленые, а водой-то их прихватило и в шугу занесло... Шуга в себя приняла и непрочь не пускает. Такое бывало!

Начальник поста, чекист Конев, оторвал от глаз цейсовский бинокль.

— Четверо в лодке. Двое гребцов, двое в форме. Должно, сам Сухов.

— Больше некому. Он охотник смелый и на добычу завистливый, а сейчас белухи идут. Они по сто пуд бывают. Каждому лестно такое чудище взять. Ну, и рискнул!

Белухами на русском Севере называют почти истребленную морскую корову — крупного белого тюленя.

— Так не вырваться им, говоришь? — спросил монаха чекист.

— Случая такого не бывало, чтобы из шуги не гребном карбасе выходили.

Большинство стоявших перекрестилось. Кое-кто прошептал молитву.

А там, вдали, мелькала черная точка, то скрываясь во льдах, то вновь пока-

зываясь на мгновение. Там шла отчаянная борьба человека со злобной, хитрой стихией. Стихия побеждала.

— Да, в этакой каше и от берега не отойдешь, куда уж там вырваться,— проговорил чекист, вытирая платком стекла бинокля.— Амба! Пропал Сухов! Пиши полкового военкома в расход!

— Ну, это еще как Бог даст,— прозвучал негромкий, но полный глубокой внутренней силы голос.

Все невольно обернулись к невысокому плотному рыбаку с седоватой окладистой бородой.

— Кто со мною, во славу Божию, на спасение душ человеческих? — так же тихо и уверенно продолжал рыбак, обводя глазами толпу и зорко вглядываясь в глаза каждого.— Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да вот этих соловецких двое... Так и ладно будет. Волоките карбас на море!

— Не позволю! — вдруг взорвался чекист.— Без охраны и разрешения начальства в море не выпущу!

— Начальство, вон оно, в шуге, а от охраны мы не отказываемся. Садись в баркас, товарищ Конев!

Чекист как-то разом сжался, обмяк и молча отошел от берега.

— Готово?

— Баркас на воде, владыка!

— С Богом!

Владыка Илларион стал у рулевого правила, и лодка, медленно пробиваясь сквозь заторы, отошла от берега.

* * *

Спустились сумерки. Их сменила студеная, ветреная соловецкая ночь, но никто не ушел с пристани. Забегали в тепло, грелись и снова возвращались. Нечто единое и великое спаяло этих людей. Всех без различия, даже чекиста с биноклем. Шепотом говорили между собой, шепотом молились Богу. Верили и сомневались. Сомневались и верили.

— Никто, как Бог!

— Без Его воли шуга не отпустит.

Сторожко вслушивались в ночные шорохи моря, буравили глазами нависшую над ним тьму. Еще шептали. Еще молились.

Но лишь тогда, когда солнце разогнало стену прибрежного тумана, увидели возвращавшуюся лодку и в ней не четырех, а девять человек.

И тогда все, кто был на пристани,— монахи, каторжники, охранники,— все без различия, крестясь, опустились на колени.

— Истинное чудо! Спас Господь!

— Спас Господь! — сказал и владыка Илларион, вытаскивая из карбаса окончательно обессилевшего Сухова.

* * *

Пасха в том году была поздняя, в мае, когда нежаркое северное солнце уже подолгу висело на сером, бледном небе. Весна наступила, и я, состоявший тогда по своей каторжной должности в распоряжении военкома Особого Соловецкого полка Сухова, однажды, когда тихо и сладостно, пахуче распускались почки на худосочных соловецких березках, шел с ним мимо того распятия, в которое он выпустил оба заряда.

Капли весенних дождей и таявшего снега скоплялись в ранах-углублениях от картечи и стекали с них темными струйками. Грудь Распятого словно кровоточила.

Вдруг, неожиданно для меня, Сухов сдернул буденовку, остановился и торопливо, размашисто перекрестился.

— Ты смотри... чтоб никому ни слова... А то в карцере сгною! День-то какой сегодня, знаешь? Суббота... Страстная...

В наползавших белесых соловецких сумерках смутно бледнел лик распятого Христа, русского, сермяжного, в рабском виде и исходившего землю Свою и здесь, на ее полуночной окраине, расстрелянного поклонившимся Ему теперь убийцей...

Мне показалось, что свет неземной улыбки скользнул по бледному лику Христа.

— Спас Господь! — повторил я слова владыки Иллариона, сказанные им на берегу.— Спас тогда и теперь!..

Часть пятая

НА ТРОПЕ К КИТЕЖУ

Глава 28

САМОЕ СТРАШНОЕ

Соловецкий парижанин Миша Егоров умел устраиваться во всех случаях жизни: размашисто, смачно жить до революции, неплохо прокатиться и прожуировать в Париже при революции. Не смутили его и Соловки.

Когда отстроили новый театральный зал с глубокою сценой, «карманами», софитами, костюмерной, бутафорской и прочими атрибутами настоящего профессионального театра, потребовался и директор. Им стал Миша. Директором он был дельным; замоскворецкая купеческая сметка помогала; работал для театра, не забывая себя. Прежде всего он отыскал себе квартиру, удобную, уютную, скрытую от лишних глаз и довольно оригинальную. Это был небольшой подвал под сценой. Миша эффектно декорировал его сценическим барахлом, расставил театральную мебель, повесил картины, и получился апартамент, похожий не на соловецкую камеру-келью, а на номер элегантного отеля или студию модного художника.

Гости, конечно, повалили валом, но Миша пускал к себе с разбором, и скоро создалась небольшая группа «завсегдатаев подполья», получивших кличку «фантомов» — в честь героя какого-то бульварного французского романа, пользовавшегося успехом у соловецких любителей легкого чтения. Состав «фантомов» был пестрым: большинство московская интеллигентская молодежь с налетом богемы, обычным в те годы, но были и ссыльные интеллигенты-чекисты, вовлеченные в русло интеллектуально-духовной жизни каторги.

В «подполье» говорили свободно. Присутствие ссыльных чекистов никого не смущало. Знали: эти не «стукнут», хоть и чекисты, но «свои». Самой интересной фигурой среди них был тот, кого я назову здесь условно Отен.

Его настоящая фамилия была чисто польской, шляхатской, но, очевидно, род уже давно обрусел, и Отен был православным, по-польски не говорил. По профессии он был инженером-металлургом, кажется, хорошо знавшим свое дело, хотя и молодым. На Соловках Отен заведовал чугунолитейной мастерской — должность по соловецкой иерархии неважная, нехлебная. Но среди чекистов-правленцев и охраны он пользовался большим авторитетом. Видимо, в прошлом он имел какие-то специальные заслуги и чекистские связи его не порвались.

Из специфически польских черт Отен сохранил в себе лишь одну — типично польскую, не русскую, несмотря на его православие,— религиозность. Он верил экстатически вплоть до изуверства, тайно говел по несколько раз в году и фанатично выполнял посты и епитимьи, которые, вероятно, сам на себя накладывал. Русские так не молятся, не пролеживают ночи, раскинувшись крестом на холодном полу, не бичуют себя... не постятся по рациону — один сухарь в день... У нас — земные поклоны и внутреннее устремление в себя, а он давил на себя извне, словно борясь, преодолевая и истязая какую-то иную, угнездившуюся в нем, но чуждую ему личность.

О его религиозности, конечно, знали в правлении, однако допускали и доверия не лишали. В некоторых случаях ЧК смотрит сквозь пальцы на подобные «чудачества», вернее, смотрела тогда. Теперь — вряд ли...

Музыка вообще, и особенно религиозная музыка, действовала на Отена потрясающе. Иногда он затаскивал в пустой клуб, в часы, когда тот бывал закрыт, ученика Сен-Санса барона Штромберга и заставлял его играть Глюка, Баха, Генделя. После этих сеансов при запертых дверях милейший и талантливый, но недалекий Штромберг разводил руками:

— Я боюсь, говорю вам без шуток, боюсь его! Это сумасшедший! Положительно сумасшедший... Он бесится под музыку. Это ужасно! Под музыку можно танцевать, петь, ну, пить вино... Но хлестать себя ремнем!.. Нет, он сумасшедший!

И вместе с тем в личной, повседневной внешней жизни Отен был необычайно аккуратен, практичен и даже стяжателен. Не получая помощи с материка, он жил на Соловках «богато», всегда был хорошо одет, в чистом и даже щегольском белье; его койка блистала редкостью Соловков — простынями, наволочками и покрышкой на подушке... Заманчивое содержимое Мишиных парижских чемоданов постепенно, вещь за вещью, перешло к Отену; через него по высокой цене можно было достать водку и прочие радости из закрытого распределителя, сбыть утаенный золотой крестик, цепочку, колечко, коронку с зуба...

* * *

Однажды поздним зимним вечером — в подполье засиживались до двух-трех часов ночи — там шел жестокий спор. Тема его: преимущества русской духовной музыки над западной... Спорили с пеной у рта — по-русски; доказывая, пели; притащили оставшуюся от монахов маленькую фисгармонию, служившую, вероятно, регенту хора, и услужливый Штромберг, сам не принимавший участия в споре, играл на ней то Баха, то Бортнянского, то Чимарозу, то Венявского.

Отен был одним из главных спорщиков, пожалуй, даже самым глубоким и страстным из них. Неожиданно его позвали сверху. Он вышел и, вернувшись, шепнул Мише:

— Дай, пожалуйста, на минутку ключ от мастерской.

— Зачем тебе? — удивился тот.

— Инструмент один срочно нужен. Я с Головкиным пройду... Дай на минутку.

Головкин был театральным плотником, декоратором, личностью тоже небезынтересной, помнившим и любившим рассказывать о первых выступлениях молодого Шаляпина на Нижегородской ярмарке.

Отен исчез, но часа через полтора вернулся и снова страстно вступил в еще не оконченный спор.

В этот момент у спорщиков шел разбор заупокойной литургии Иоанна Дамаскина. Прекрасно знавший церковную службу, Милованов возглашал своим могучим басом и за священника, и за диакона, и за хор. Штромберг тихо вторил на фисгармонии.

— Помилуй мя, Господи, научи мя оправданиям Твоим...

Мощные, торжественные, полные сверхчеловеческого трагизма звуки наполняли «подполье».

— Смотри, как Отена разбирает,— шепнул мне Глубоковский.

На того было страшно смотреть. Выпрямившись, напрягшись всем телом, как натянутая до предела струна, он вглядывался в пространство огромными, расширенными, остекленевшими глазами. Окружающее для него не существовало. Он видел иной мир, порожденный в его душе взлетами боговдохновенной мелодии...

* * *

На следующий день, под вечер, когда солнце уже скрылось за темно-синей стеной бора, мы вышли вдвоем с Глубоковским из стен кремля. Наползали лиловые сумерки с тою ясной, мягкой прозрачностью, какая бывает лишь на русском Севере в начале осени, когда уютно пахнет грибами и прелым листом.

Мы обогнули кремль по берегу зеркального Святого озера и вышли к кладбищу. Во время таких тихих вечерних прогулок мы оба любили заходить туда, бродить между замшелыми, изъеденными червем крестами, древними, русскими, с острым князьком наверху. Надписи не были интересными; на каждом кресте стояло только имя почившего инока, его духовный чин, дата кончины и слова:

«Жития его было в обители столько-то лет».

— Смотри,— сказал я Глубоковскому,— как подолгу жили иноки! На каждом кресте 55, 60, 65 лет в обители, меньше 50 и нет...

— Спокойно жили, оттого и подолгу. Да и климат здоровый. А знаешь, как от цинги они лечились? Мне Иринарх рассказывал: еловый отвар пили и, взяв увесистое беремечко дров, раз по пятнадцать в день на колокольню поднимались... «Крови разгоняли», говорит... И помогало.

Вот и конец монастырских могил. На краю несколько новых, одни с крестами, другие без крестов. Дальше, впереди, никогда не закрывающийся, отверзлый зев «общей»: свалят мертвецов, слегка засыплют землей и известкой и снова добавляют на следующий день... В «шестнадцатую роту» всегда идет пополнение.

— Посмотрим, кто крайний в этой очереди, кого последнего похоронили с крестом? Вот он, на углу общей. Читай, есть надпись.

На простом кресте, сбитом из неоструганных еловых обрубков с уже окаменевшими смолистыми слезами, была прибита дощечка, а на ней выжжено раскаленным гвоздем:

> Генерального штаба полковник Даллер.
> + 17 ноября 1923 года.
> Я не первый воин, не последний,
> Будет долго Родина больна.
> Помяни за раннею обедней
> Мила друга, верная жена.

— Ишь, из Блока эпитафию взяли... Думал ли он, Александр Александрович, что сюда эти строки попадут? А? Вряд ли... Только ведь это, пожалуй, почетнее, чем в «Весах» и в «Аполлоне» напечатанным быть... Как думаешь? Кто писал, интересно?

— Свои, генштабисты, надо полагать.

— Вряд ли. Они дальше «земли пухом» не раскачались бы. А, впрочем, разный теперь народ пошел. Ты его знал?

— В Бутырках вместе в 78-й сидели. И приехали сюда вместе. Тебя еще не было тогда. Его Ногтев на приемке из карабина шлепнул. Я за ним третьим стоял. Вторым — Тельнов.

— Значит, теперь твоя очередь. Тельнова вчера израсходовали.

— Что ты врешь! Я с ним вчера вместе ужин брал!

— Ну, и брал... А после ужина его взяли. По предписанию Москвы. А в расход вывели вечером, когда мы у Мишки Гайдна слушали... Очень просто. Так ты говоришь, за Даллером тогда стоял? Страшно было?

— Было.

— Очень?

— Очень.

— А хочешь, я тебе самое страшное расскажу? Такое, что пострашнее самой шлепки? Идем. Сесть бы где-нибудь... На гроб разве?

По другую сторону разверстой «общей» белели еле-еле видные в спустившейся тьме неструганые доски «почетного» гроба, единственного на Соловках. Если друзья умершего хотели проводить его на кладбище, они могли брать этот гроб, доносить в нем покойника до могилы, сбрасывать туда, гроб же ставить на место. У каторжан этот церемониал назывался «прокатить на автобусе».

Мы подошли к гробу. Глубоковский внимательно осмотрел его, приподнял крышку, внутрь заглянул и даже пощелкал пальцем по доскам.

— Слажено крепко. Должно быть, мужичок какой-нибудь сбивал, плотник рязанский. Шпана бы наскоро, кое-как сколотила... А заметь, стиль-то как эволюционирует!

— Какой стиль? Чей? Гроба?

— Ясно, гроба, а не ленинского мавзолея! У того по-иному, а здесь смотри: не то гроб, не то ящик, носилки, в каких для мостовых щебень таскают. Ширина-то какая! Троих уложить можно. Разве такие гробы бывают? А почему? Видишь, держаки прибиты, как к носилкам. Сделай его узким — взяться будет нельзя. А тут все приспособлено. Темпы, братец, индустриализация!.. А крышка еще правильная, как у настоящего гроба, с поднятым возглавием. Традиция с прогрессом в гробу сплелась. Здорово!

— Знаешь, Глубоковский, что мне вспомнилось: в Риме, в Латеранском музее я собрание первых христианских гробниц смотрел. Там тоже: на гробу высечен Пастырь Добрый с овечкой на плечах, а вокруг крылатые амурчики с виноградны-

...и лозами пляшут и козлоногие сатиры за вакханками гоняются... Значит, и тогда тоже сплеталось... Закон такой.

— Закон-то закон, а разница большая. Тогда-то Он, Пастырь с овечкой, сатиров-козлов в людей переделывал, Дух Свой вечный в них, в козлов, вкладывал... Даже святые сатиры бывали, если Мережковскому верить. А уж Мессалина в Магдалину преображалась — это факт, вакханки — в сестер Беатрис, Урсул там разных — тоже факт... А теперь усыпальница вечная, русская наша домовина — в мусорный ящик преобразилась! Такой же факт, а не реклама. Вот тебе и прогресс! Гуманизм, черт его задери! Храм — агитпункт, гроб — помойка, могила — свалка, Евангелие — промфинплан... Приехали гуманисты на всех парах к социализму! Осчастливили человечество!

Он ткнул гроб ногою, заглянул в яму с белевшей на дне россыпью извести и потянул носом.

— Нет, здесь нехорошо. Попахивает из «общей». Душком грешным несет. Тельновским, может быть... со вчерашнего ужина. Ну ее к Аллаху, эту la fosse commune... Правда, забавная игра слов получается? По-русски выходит «коммунистическая»... Лучше уж на частновладельческую, буржуазную могилку сядем. Курить есть?

Ну, слушай. Вот когда я про Тельнова сказал, передернуло тебя? Передернуло, не ври. Я видел. А тебя мертвецом не удивишь. Только не думай, что я тебе «ужасы Чека» или про «комвриков» рассказывать буду. Это, брат, бутафория, картон крашеный. Щенячьи забавы, вроде Эдгара По, что про маятник с колодцем выдумал. Подумаешь, удивил! Этакого маятника теперь самый плюгавый чекистишко постыдится: прыгнет у него подследственный в колодец этот — и концы в воду! И вообще никаких «ужасов Чека» в природе нет. Есть иной ужас — русский, всероссийский... Слушай. Помнишь, когда вчера Отена сверху позвали? Помнишь? Штромберг тогда гайдновский хорал играл... А наверху Отену сказали: «Идем Тельнова шлепать». Он и собрался в момент. Прямо с Гайдна. Здорово? Только и это чушь, детство. Не в самой шлепке дело. Кстати, и производится здесь эта операция очень гуманно. Выведут из кремля, руки свяжут и идут по лесу... Двое с боков, один сзади... не больше... Никакой излишней торжественности, будни... Ведут, а связанный думает: «Еще, может быть, сто метров пройду... не сейчас еще... ну, хоть пятьдесят метров»... А его в затылок — цок! И готов голубчик... Ей-богу, гуманно! Думаешь, шучу?

Но слушай. Не в том ужас, что Отен прямо от Гайдна шлепать пошел. И не в том, что идти его не тянули... добровольно шел... а в том... Знаешь, что он у Головкина взял? Клещи и плоскогубцы. Тельновский рот помнишь? Весь в золоте, в коронках... Так вот, для них — клещи, а Отен — в качестве спеца-оператора... он же и коммерческий директор треста... Понял? Дай курить.

Глубоковский оторвал кусок газеты, насыпал махорки, завернул, прорвал бумагу, снова завернул и после нескольких жадных затяжек зашептал:

— Теперь представь картину: лес, Тельнов еще тепленький лежит, может быть, и дергается еще... глаза не закрыты... мутные... сам знаешь, какие бывают у свежих мертвецов... А они — кругом! Трое. Не больше. А то по малу золота на рыло выйдет. Один рот Тельнова растягивает, другой фонариком светит, по лицу желтенький кружочек бегает — рука дрожит, а Отен во рту оперирует, то клещами прихватит, то плоскогубцы примерит... Клещи срываются, а он матерится...

Но и это еще не страшно. И это — картон. В лучшем случае — Гойя... Тоже щенок был бутафорский, несмышленыш...

А вот когда вернулся к нам Отен и стал «оправдания» слушать, а у самого в кармане зубы тельновские лежат...

Вот это страшно! Ведь не ханжил он ни секунды, а действительно, понимаешь, действительно чувствовал Дамаскина и ввысь духом своим возносился превыше всех нас! С зубами-то в кармане!..

Ведь такие, как он, за Петром-Пустынником ко Гробу Христову шли, за Савонаролой — в огонь, за Зосимой — в пустыню Полуночную, с Аввакумом — на дыбу, на колесо... и на колесе ирмосы пели...

А у него — зубы в кармане!

Нет, брат, чтобы этот узел распутать, дюжину Достоевских надо! Одному не совладать. Федор, блаженный эпилептик, что видел? Нуль с хвостом. «Кедрилу-

обжору»! Эко дело Раскольникова написать! Что он, Раскольников?! Дерьмо с брусникой... Кисель с миндальным молочком. Раскроил мальчишка череп старушонке ради дурацкого эксперимента и раскис! Даже и деньги позабыл поискать... Грош цена такому преступлению. Это шалость, игра в грех, а не сам грех. Вот если бы он медленно, методично, с оглядкой все комоды у нее пересмотрел, нашел бы заветную укладку, просчитал бы деньги раз, другой, третий, на свет кредитки проверил... а оттуда прямо ко всенощной и молился бы от души, умилялся бы, духом бы, как Отен, возносился, из старухиных денег за рупь свечку бы поставил... Богородице... Вот когда бы я испугался.

— Ты, наверное, скоро с ума сойдешь, Глубоковский!

— Я? Ни в жисть, как Алешка Чекмаза говорит. Думаешь, я в глубине переживаю всё это? Нет, брат. Это у меня репортаж. В книжечку памяти записываю, анекдотики царства советского Антихристова собираю. Еще хочешь? Могу. У меня их хватит. С «изюминкой» рассказец, со сдобой, с перчиком. Слушай!

В Тамбове присудили к шлепке двух бандитов-мокрятников. Правильно присудили. У каждого человек по двадцать на душе. Тюрьма, конечно, переполнена: все камеры мужичьем набиты — повстанцев дочищали. И в смертной камере два старика сидят. Убрать их некуда, да и стоит ли на одну-то ночь! Сунули и бандитов туда же. Вот и решили бандиты последнюю ночку отгулять, с жизнью проститься. Но как? Водки не достанешь. Одно осталось: припугнули стариков и да и усладились их прелестями по тюремному способу... Ловко? Федор-то Михайлович эту «последнюю ночь приговоренного» из сердца своего калеными клещами рвал. А выходит-то, все его муки ни к чему. Дело совсем просто стало. Ошибся маленько провидец наш великий.

Думаешь, тут и делу конец? Нет, браток, погоди. Дальше хлеще будет. Когда пришли ночью за бандитами: «выходи без вещей которые...»,— старики к ним: «Господа-товарищи, вам всё одно не боле часу жисти осталось, а сапожки на вас новехонькие, ахвицерские, хромовые... Вы бы их нам пожаловали, за наше вам угождение... Время летнее, ножек не застудите»...

Не веришь? Оба они здесь теперь. Сами рассказывали. Могу их завтра с тобой познакомить. Посмотришь на них: да кто же это? Знаешь, кто? Калиныч с Платоном Каратаевым! — зашептал он мне на ухо.— Вот кто!

Глубоковский захлебнулся прорвавшим его смехом. Он давился им, всхлипывал, кашлял, повторяя меж душившими его спазмами:

— За сапожки... Платоша Каратаев... за хромовые...

Отдышался, вытер слезы, закурил.

— Так вот, всякое на Руси бывало! И дыба, и колесо, и «утро казни стрелецкой», и «сарынь на кичку», а такого не бывало вовек... А вы с детскими «ужасами Чека» носитесь... идиоты червивые... Маниловы!

Нет, ты представь только себе, Ширяев, я ли, ты ли, сунулись бы мы вот с такой темкой в любую редакцию в году этак 1870-м? Что было бы? Давай этот фарсик разыграем. Пришли бы в «Отечественные записки» к бородатому Щедрину... Он бы нас так «обличил»... и каких-нибудь пескарей, лещей или иную рыбицу с нас бы, с лжецов, выдумщиков, написал. Сунулись бы к Некрасову — приказал бы нас взашей выгнать: стонущего по острогам мужичка, дескать, порочим! К Каткову — вежливенько выставил бы и вразумительно Марк Аврелия или Сенеку полатыни процитировал... К Тургеневу — побежал бы в подол Полины Виардо плакать... К Достоевскому — он бы в припадке три дня катался, а поверить... и он не поверил бы... даром, что бесов разглядел!

Вот мы и подошли к корню, к сердцевине моих анекдотиков... Их я в сердце своем записываю... В мозгу адским огнем выжигаю, как печать Каинову.

Помнишь, году, кажется, в двадцать втором сидели мы с тобой в «Домино». Грузинов с нами денатурку еще пил... Помнишь? Вышел Клюев на эстраду и по-своему, по-козлиному задьячковил:

> Всепетая Матерь сбежала с иконы,
> Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать
> И с Ольгою Псновской за желтые боны
> Усатым мадьярам себя продавать...

Ты и не заметил этого тогда, проморгал, а меня по сердцу резануло... Да ведь это же «Бесов» продолжение! «Если Бога нет, то какой же я капитан?» или

старик Верховенский перед смертью: «Existe-t-elle, la Russie?!» Вот тебе и «экзисты»! Сбежала она, Русь-то матушка, «всех скорбящих радости», прошлась по мукам — да завертела подолом на Марсовом поле... Ольга-то Псковская с блоковской Катькой пляшет:

Больно ножки хороши,
Спать с собою положи!
Эх, эх, без креста...
Тра-та-та...

Слушай дальше. Тайну тебе открою. Только договоримся сначала: не лепи на меня этого своего дурацкого ярлыка! Брось эту аптекарскую привычку людей, как флакончики, по полочкам расставлять. Слово мистик забудь. Какой я мистик? Откуда я, богема московская, мог этого снадобья набраться? У Кизеветтера, что ли, у которого Русь-то и на Куликово поле без креста шла? У Таирова или у Филиппова в кофейной? У Морозихи в «заведении»? Выбрось, вычеркни это слово.

Так вот. Это мне один монашек тут уж рассказал. Немудрящий такой, вроде юродивого. Нас, каторжников, чиновниками зовет и, хоть убей, понять, что мы — принудиловцы, не может. Рассказал он мне апокриф, вычитанный им в какой-то, очевидно, старообрядческой рукописи: когда Сергий Радонежский созывал рати в Коломну к Дмитрию, послания он князьям писал — рязанским, ярославским, белозерским и прочим... Бесам же очень обидно стало (так и говорит монах — обидно), что Святая Русь утверждается и поганым погибель приходит. Всячески они Святителю пакостили: то в чернила ему нагадят, так что он от смрада дышать не может, то под руку толкнут, то лампаду затушат...

Ничего с ними Святитель поделать не может и молит Пречистую Заступницу:

— Дай мне силу от проклятых бесов оборониться!

Услышала Матерь Божия и послала своему молитвеннику мощь наложить заклятие на бесов, больших и малых, на Гога и Магога, сроком на полтысячи лет... На Руси им не быть, а в недрах земных замкнуться. На полтысячи! Теперь считай, по Евтушевскому, без мистики, считай: 1380-й плюс 500, ровно 1880. Кончилось заклятие! Вышли Гог и Магог из каменного затвора! Понеслись бесы по Руси сначала чуть заметной поземкой, а потом разгулялись, разыгрались, засвистали, закрутили метелью... Русские бесы... свойские... Смеешься?

— Как же не смеяться-то? Чертячий национализм какой-то или национальное чертобесие! Спятил ты с ума, Глубоковский!.. Уже совсем свихнулся... амба тебе!

— А ты что думал? И бесы у нас свои! Нам немецкий черт — в плаще, со шпагой — не годится. Ему делать на Руси нечего. И демонам-Манфредам, кроме как институткам сниться, занятия нет. Наш бес в лапотках по болотцу прыгает, с кочки на кочку, с кочки на кочку, а потом с купчихой чаи вприкуску распивать сядет, с мужичонкой ледащим, пьяненьким попляшет... Помнишь, у Мусоргского — трепака как отхватывает! Чувствовал он беса... слышал его пьяненький, а Достоевский увидел воочию, ощупал, за хвост поймал. Не иносказательного, не символического, а взаправдашнего, из тех, каких Христос в свиней загнал...

Тем-то и страшен наш бес, что его не только от человека, но порою и от ангела не отличить. Без плаща, без шпаги, простенький... Жила-была примерно Софья Перовская, папе-маме по утрам реверансики делала, косичка с бантиком... французские глаголы зубрила... Ан, глядь, таким же русачкам-простачкам топор, то есть бомбу, в руки всунула: «Иди, убей. Так надо во имя любви». Подвиг с грехом в одной ступке истолкла. И не сдрейфила, как Раскольников от первой старушки! Раз, два, три, пять... Поезда — под откос, Зимний дворец — к черту, сотни трупов... кровища хлещет, а им хоть бы что, бесам-то русским, в ангельских образах!.. Верили ведь! В «Жертву вечернюю» верили, как весь Синод, вместе взятый, не верит... Вот он, русский-то бес! Это тебе не шляпа с пером... Наш бес всюду пролезет. Мышкою, клопиком, вошкою малою... червяком — точит и точит — и в мозгу, и в сердце... И в постель, и в гроб с тобой ляжет... Слышишь? — схватил он меня за руку.

— Что еще?

— Вот он, стучит... Крышкой о гроб стучит! Отзывается...

Лицо Глубоковского, бледно-желтое в свете взошедшей луны, надвинулось на меня в упор.

— Слышишь? Слышишь? — хрипел он.— Вот еще, вот, вот...

Позади нас, там, где стоял общественный гроб-«автобус», действительно что-то размеренно и дробно стучало.

— В живого черта не веришь, а оглянуться не оглянешься! Кишка тонка. Эх ты... свободомыслящий...— Глубоковский засмеялся.— Ишь побледнел как! Не робей, посмотрим. Наверное, розыгрыш какой-нибудь.

Мы встали и повернулись. Гроб, накрытый некрашеной крышкой, был виден ясно; смолистые доски поблескивали в лучах полной луны. Стука больше не было. Но вдруг крышка медленно приподнялась от изголовья, упала на сторону. Из гроба вынырнула фигура мужчины, он стоял на коленях, потом поднялся на ноги, вороватo оглянулся по сторонам, подтянул пояс и быстро, почти бегом зашагал к кремлю.

— Только и всего,— разочарованно протянул Глубоковский.— В чем же дело? Ага, вот еще смотри...

Из гроба опять кто-то выглянул. На этот раз женщина. Поправила сбившийся платок, одернула юбку и побежала, но в противоположную сторону, к жанбараку.

Глубоковский снова закатился смехом, упал на землю, корчился, давился, кашлял.

— Вот она — иллюстрация! Черти нашенские в живом виде, полностью... бесенятки... блудливые... мелочь... молодежь! В гробу милуются! Ловко придумали! Сам Райва не угадает этакого. Днем — покойнички, вечером — любовнички! Это, брат, вочище Щедринской купчихи будет... Бородатому обличителю такого не выдумать!

Вдруг он вскочил, разом оборвав смех. Округлившиеся, безумные глаза были устремлены к черневшей громаде кремля.

— Еще анекдотик царства советского! Здорово? В гробу... Это ли не сюжетец? Эдгар По от зависти в могиле своей перевернется. Всё запомню, к сердцу суконной ниткой пришью, чтобы бередила, покоя не давала...

— Будет время,— загрохотал он во весь свой могучий, львиный голос,— придет оно, всё это напишу! Изображу! Покажу русского беса во всей красе его! Кровь свою с дерьмом собачьим смешаю и этой гнусью писать буду... в назидание грядущему потомству, черт бы его задрал!..

Покажу ему Китеж-град, революцией преображенный! Вот... Смотри! — погрозил он кулаком посеребренным лунным сияньем башням кремля.— Любуйся! Премудрая дева Феврония в гробу блудит, а князь Юрий благоверный зубки у покойничков дергает! Отслужили бесы в евангельском виде проскомидию свою дьявольскую... «Сия есть кровь моя нового завета»... Желябовы, Перовские, Засуличи, Каляевы, Дзержинские... Святые бесы... Адовы святители! Кровь свою несли «во оставление грехов»! Революцией Русь преображали! Вот она, святая, преображенная... Всё напишу[1] я, бродяга, каторжник Глубоковский! Всё!

Последние слова он выкрикнул, исступленно вырвал из себя и, словно выбросив что-то безмерно тяжкое, давившее, угнетавшее, разом обмяк и, обессиленный, сел на могилу.

— Устал я... ох, как устал... Курить... дай.

— Книжный ты человек, Глубоковский, и самому тебе от этого круто приходится,— сказал я, глядя на капли пота, блестевшие на его лбу.

— Что значит книжный? — вскинул он на меня глаза.— Точнее вырази.

— Не сумею, пожалуй, слова нужного у меня нет... Может быть, лучше сказать — зрительный, зрелищный... «Таировский»... Он, должно быть, тебя и испортил. У него, у Таирова, всё от внешнего, снаружи... зрелище. Посмотрит и сердцевину сам выдумает. Так и ты: увидал этих мужиков — хлоп! — Калинычи, Каратаевы! Всунул в них готовое, книжное нутро и анекдотик составил.

— А каким же чертом их, по-твоему, фаршировать?

— Никаким. У них свой фарш имеется, не калинычевский, не каратаевский собственный, «созвучный эпохе», как полагается выражаться.

— Про то и анекдоты.

— А я тебе, про то же другие анекдоты расскажу. Ты Ногтева не застал. При

[1] Эту книгу Глубоковскому написать не пришлось: в половине тридцатых годов он умер, отравившись, в психиатрической больнице. Случайно он отравился или убил себя, не знаю.— Б. Ш.

тебе уже Эйхманс был начальником лагеря. Так вот, этот Ногтев был форменная зверюга. Нет, хуже, у волка какая-то волчья этика имеется: он сучонок «в охоте» не трогает, родовой инстинкт выше голода ставит. Костромские мужики их на ночь в лесу привязывают — для щенят. И говорили: не было случая, чтобы волки их рвали. А у Ногтева и этого не было. Рожа дурацкая и вся дергается... Так вот... ты о схимнике, последнем русском молчальнике, что и теперь еще здесь в дебре живет, слыхал?

— Кто ж об этом феномене не знает? Ну?

— Говорят,— мне это Блоха рассказывал, уголовник, холуем у Ногтева был, теперь ушел по разгрузке,— сначала монахи скрывали схимника, но, конечно, дознались чекисты и доложили Ногтеву. Тот спьяну обрадовался:

— Вот какая петрушка! Самонастоящий святой человек у меня на острову! Поеду к нему и водки с ним выпью! Антиресно!

Блоха с ним за коновода. Набрали водки, колбасы. Приехали к землянке. Ногтев вышиб ногою дверь, вваливается, размахивает бутылкой.

— Святой опиум! Разговеться пора! Отменили твоего Бога!

Наливает стакан и подает схимнику, а тот с колен поднялся и, ни слова не говоря, земной поклон Ногтеву... как покойнику... потом опять к аналою стал.

Блоха говорил, что тут Ногтев «с лица спал, перекарежило его». Представляешь? Говорит: «Выходит, как с марафета задуренный, в двери повернулся: душу мою, отец, помяни»... Ну, это, может быть, Блоха и приврал, но факт тот, что Ногтев не только оставил схимника в землянке, но на паек его зачислил и служку к нему из монахов приставил. Вот и расшифровывай его по крови, им пролитой, по хамству, по роже, по «зрелищу»...

— А ты его видел?

— Ногтева? Как же иначе?

— Нет, какого там черта Ногтева! Схимника этого видел?

— Раз. Случайно. Мельком.

— Расскажи.

— Я с Анзера, от переправы ночью пешком шел...

— Чего тебя туда носило?

— Тоже анекдот,— засмеялся я,— воспитателем к проституткам меня ВПЧ туда назначило.

— Вот это Неверов додумался с большого ума! — захохотал Глубоковский.— Ну, и воспитал?

— Воспитать не воспитал, но кое-что получилось. Тоже анекдот, Борька, и того же порядка. На Анзере тогда помещались «мамки», родившие на Соловках. Они — в главном корпусе, а в амбаре каком-то или бывшем складе монашеском — «бляжий дух», как прозвала шпана,— проститутки, наловленные в Москве. Хватали их на улицах и на квартирах. Позвонят ночью, вскочит девчонка с постельки, как была, накинет только манто на рубашку, а ее тут — цоп! «Без вешшей»! Так и сюда приехали: сверху манто, а под ним ничего. Рубашки на обертку ног порвали, туфельки сносились. Обмундирование им, конечно, не дали, тогда никому не давали, ну, а на работу всё-таки попробовали гнать. Только ничего не вышло: такой содом подняли, что сам Райва сбежал. Тогда их заперли в этот барак, без выхода, на половинный паек, как и нищих — «леопардов». Что в нем творилось — можешь себе представить! Воспитателей из чекистов назначили, но и те отказались: их такой обструкцией встречали, что сам черт не выдержит. Вшами засыпáли, дерьмом мазали... зачерпнет рукой из параши и по морде его... Бунтующие бабы — страшное дело! Да и истерички... Вот меня туда и ахнули. Даже паек «охранный» дали, с мясом.

— И тебя вшами осыпáли?

— А мне что? Сыпняк у меня был, а от вшей всё равно не убережешься. Только не обсыпáли. Я вошел в барак один, без начальства, Господи Боже Ты мой! Представляешь, Борис, комбинацию из нужника, такого, как в ночной чайной, в «Калоше» — помнишь — был? Из женской бани и Дантова ада в стиле Дорэ? Добавь сюда еще поголовную истерику... Голые... страшные... холод... вонь!.. Сознаюсь — струхнул. Одна выскочила вперед и давай выплясывать. Такого похабства, поверь, я и представить себе не мог. Однако уже оправился, взял себя в шенкеля и от-

пустил ей солдатскую прибаутку с тройным загибом. Потишели. Я об Москве заговорил, спросил, где жили... Знакомых общих нашли — Авдотью Семеновну хромую, что в Ермаковке марафетом торговала... Совсем ладно стало. «Ты кто — чекист?» — спрашивают. Нет, говорю, артист. Ну, тут прямо дружба началась. Я им пару армянских анекдотов в лицах представил — фурор! Потом «Страсти-мордасти» прочел — впечатление слабое, а читаю я их хорошо, люблю эту вещь...

— Магдалининскую патронессу состроил... Балда! Литературой вздумал зацепить! Тоже... нашел...

— И, представь, зацепил! Только не тем концом. Я им по особому признаку подбирал. «Страсти-мордасти» — провал, а «Манон» — полный сбор с аншлагом! Да как! Ревмя ревели! Я сам обалдел от удивления.

— Мелодрама! «Гастошей его звали», помнишь, в «На дне»?

— Вот и опять ты через книгу в душу лезешь! А как, по-твоему, любила она, Настька, этого своего выдуманного ею Гастошу? Любила, Борис, может быть, крепче Джульетты любила, только Горький не рассмотрел и тебе не показал.

— И долго ты с ними валандался?

— Всю осень. Месяца четыре. Прочел им «Марью Лусьеву», «Даму с камелиями» (тоже зацепила!), «Надежду Николаевну». Даже стенгазету выпустил — «Голос улицы». Сами писали... стихи больше... А знаешь, кто их еще за сердце взял? Не угадаешь: «Леди Макбет Мценского уезда». Вот! И все ей сочувствовали, ее жалели... Вот тебе и камуфлет! Я бы у них и остался. Служба хорошая. Занятия — два дня в неделю, пять дней свободен и паек. Да Борин перетянул. Прикрепил к театру с освобождением от работ. У него на «голубые» роли никого не было. Прощались — плакали. Перецеловался со всеми.

— Сифилиса не получил? Твое счастье. Ну, мы о проститутках разговорились, а про схимника забыли. Как полагается. Ты о нем расскажи.

— Вот, раз осенью, возвращаясь ночью, я сбился с дороги. Пру по папоротникам каким-то — ничего не видать! Вплотную на землянку наскочил и только тогда свет в оконце заметил. Маленькое оконце, в одну шибку. Заглянул — лампада! Я догадался: схимник. Смотрю в окошечко, а взойти боюсь. Не стесняюсь, не деликатничаю, а боюсь, Борис, сам не знаю чего, а боюсь. Когда присмотрелся, вижу гроб на скамье, а перед лампадой — образ. Лика не разбираю, но знаю, что Спас! Другого не может быть. Вспыхнет лампадка — блеснет, прояснится, качнет ветер — снова тьма... А у самого схимника я сперва только бороду увидел. Длинная, седая... вверх и вниз ходит... Это он кланялся.

Так я к нему и не вошел и всю ночь до утра у окошка простоял. Присмотрелся, ясно стал различать и епитрахиль с черепами и тулуп под нею. Стоял и смотрел. А он молился, поклоны клал. До утра.

Вот тебе и еще анекдотик: святой соловецкий кремль грехом доверху набит. В Преображенском соборе — содом. И чей тут грех — сам Господь Бог и на Страшном Суде не разберет!.. А под боком, в земляной келье, схимник грех замаливает. Этот самый грех. Какой же иной? Может, его лампадка и сюда светит?

— Вот он, весь на виду, собор твой Преображенский, в содом, в свалку ныне преображенный,— махнул рукой Глубоковский в сторону кремля, над которым высилась громада собора,— весь во тьме! Гроб!

— И у схимника гроб стоял... И Лазарь ожил в гробу... Был ведь Лазарь?

— Может, и был. Да теперь его нет. И не будет. Взяться неоткуда. И гроб заколочен. Сам видел. Чушь всё это, чушь.

— Нет, смотри,— вглядываюсь я в обезглавленный купол,— в окне правой звонницы что-то мерцает...

— Со двора отсвет, от фонарей.

— Снова нет! Звонница — справа, к стене. Есть там кто-то. Я лазил — там пусто, лестница еле держится... Может, отец Никодим забрался всенощную с кем-нибудь отслужить? Или панихиду? А?

Глава 29
СХИМНИК УМЕР

Спустя год я снова временно работал на вязке плотов.

Инструктором по вязке был отец Петр, соловецкий инок. Лет уже более три-

дцати занимался он этим делом. Руки у него были, как дубовые корневища: суковатые, корявые, перекореженные, с твердыми, как железо, ногтями, но крепости в пальцах необычайной; металлические номерные бляшки, потолще серебряного рубля, двумя пальцами в трубки скатывал, а собой был невелик и широк в плечах, человек как человек.

Раз в июле, в субботу, приходит он утром на вязку, потолковал с конвойным и к нам:

— Нынче вы, братики, одни работайте... без меня.

— Заболел, что ли, отец Петр?

— Нет, слава Богу, носит Господь, милует... Иное у нас дело нынче — погребение.

— А кто ж у вас, отец, помер?

— Схимник наш, молчальник, что в затворе пребывал. Он и преставился Господу, а когда — того не знаем. Сухарики-то ему раз в неделю носили. По субботам. Нынче утречком пришли, вступили в затвор, а он, голубчик, лежит перед образом, лбом в землю уперся... Должно, земной поклон клал, и в тот самый раз Господь его душеньку принял. Сладостно это, утешно, и честь старцу великая, значит, венец райский заслужил... А стать тому должно еще в середу или во вторник. Сухарики-то старые не поедены и масло в лампаде все выгорело...

— Потухла лампада? — вскрикнул я невольно.

— Нет, тлелась еще малым светом. Подлинно — неугасимая. В фитильке малая толика елея оставалась.

— И не перетухла?

— Не допустили того. Подлили из склянницы с великим бережением, она и снова засияла перед лицом Господа.

— Засмердел он, молчальник, али навроде мощей вышел? — поинтересовался один из нашей артели крестьянин-повстанец.

— Нет, будто духом не отдает... Да и откуда духу в нем взяться? Высох он, как лист, подвижник наш... По своей святой жизни. Утробу свою испостил, кости да кожица.

— Такое возможно... Конечно, и от праведной жизни тоже бывает, чтобы, значит, не гнить, бывает, это верно...

Хоронили в лесу, около земляной кельи, и нас никого туда не пустили, даже священников, но весть о смерти схимника взволновала многих в кремле. О ней говорили, ощупью искали в ней какого-то сокровенного смысла, тайного знамения.

В этих разговорах вспомнили о другой смерти, о мученической кончине несчастного Императора. Вспомнил первым старый-престарый генерал Кострицин, с конца прошлого века уже живший на пенсии не то в Чухломе, не то в Судогде, откуда и взяли его на Соловки за неимением там иной золотопогонной контры.

— И нам не мешало бы панихидку по Государе Императоре отслужить. День-то кончины вот он, через недельку,— сказал он, думая, вероятно, и о своей близкой смерти, которая пришла к нему в этом же году.

— А чем это пахнет, если узнают, представляете? — возразил кто-то.

Пахло действительно скверно. Всего за месяц до этого на Соловки прибыла значительная по числу группа бывших царскосельских лицеистов. Они были сосланы на большие сроки именно за такую же панихиду по Государе, отслуженную в Петрограде. Шесть или семь инициаторов поминовения были расстреляны.

Но желание помолиться о душе царственного мученика здесь, на острове мучеников, на Голгофе распятой России, было особенно сильно. Группа офицерской молодежи, строго соблюдая тайну, принялась за подготовку. Это было нелегко.

Прежде всего — найти священника. Их много, но большинство не рискнет, а за теми, кто нес свою службу Христову пламенно и страстно, за теми — слежка. Предлагали и обсуждали кандидатуры, спорили, но все согласились на «Утешительном попе» — отце Никодиме: он-то не откажется. Провести его в лес тоже легче, он ведь не в шестой роте живет, а с лесорубами. Пропуск добудем.

Уговаривать отца Никодима не пришлось. От своей службы он никогда не отказывался. Но о риске его всё же предупредили.

— Это всё, как Господь пошлет... Не нашего ума дело, а вы вот что, голубки, расстарайтесь мне крест да епитрахиль достать подостойнее. Моя-то сами знаете какая, для такого случая она как бы и неуважительная. Постарайтесь, сынки! Ребята вы молодые, проворные... Да и кадило не забудьте... Панихида без каждения не годится.

Расстарались и достали из музея не раз испытанным способом, при помощи «короля взломщиков» Бедрута; потом тем же способом вернули все взятое на место, в витрину.

Место панихиды? Конечно, «Голгофа» — полянка за Святым озером, в лесной глуши, у каменного креста на крови.

Вместо свечей мичман Г-й принес с верфи просмоленной бечевы от морского каната.

В заговоре участвовало только 22 человека. Больше собрать боялись. Вышли из кремля все порознь и, сделав большие обходы, к закату собрались на «Голгофе».

* *
*

О ком говорят слова молитвы? Не о тех ли, кто беззвучно шепчет их?

Кто стоит здесь, в лесной храмине, у каменного креста на неостывшей крови?

Живущие или тени живших, ушедших в молчание, в тайну небытия? Без возврата в жизнь?

...Это стояли не люди, а их воспоминания о самих себе, память о том, что оторвано с кровью и мясом. В памяти одно — свое, отдельное, личное, особое для каждого; другое — над ним стоящее, общее для всех, неизменное, сверхличное: Россия, Русь, Великая, Могучая, Единая во множестве племен своих— ныне поверженная, кровоточащая, многострадальная.

— Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих!

Отец Никодим почти шепчет слова молитв, но каждое слово его звучит в ушах, в сердцах собравшихся на поминовение души Первого среди сонма страстотерпцев распятой России, мучеников сущих и грядущих принять свой венец...

Отец Никодим, иерей в рубище и на одну лишь ночь вырванной из плена епитрахили, поет беззвучно святые русские песнопения, но все мы слышим разливы невидимого, неведомого хора, все мы вторим ему в своих душах.

— Николая, Алексея, Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех, иже с ними живот свой за Тя, Христе, положивших...

— Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих...

Отец Никодим кадит к древнему каменному кресту, триста лет простоявшему на могиле мучеников за русскую древнюю веру... их имен не знает никто.

— Имена же их Ты, Господи, веси!..

Ладан, дали, обступившие церковь-поляну полные тайны соловецкие ели. Они — стены храма. Горящее пламенем заката небо — его купол. Престол — могила мучеников.

Стены храма раздвигаются и уходят в безбрежье. Храм — вся Русь, Святая, Неистребимая, Вечная! Здесь, на соловецкой лесной Голгофе,— алтарь этого храма.

— Иже несть болезни и печали, но жизнь бесконечная!

Бесконечная? Повергающая, преодолевающая и побеждающая смерть?

В робко спускавшемся вечернем сумраке догорали огоньки самодельных свечей. Они гасли один за другим.

На потемневшем скорбном куполе неба ласково и смиренно засветилась первая звезда, Неугасимая Лампада перед вечным престолом Творца жизни.

В земляной келье призванного Богом схимника так же нежно и бледно теплился огонек его неугасимой лампады пред скорбным ликом Спаса. В его тихом сиянии сорок дней и сорок ночей, сменяясь непрерывной чередой, последние иноки умершей обители читали по старой, закапанной воском книге слова боговдохновенного поэта и царя, полные муки покаянные крики истомленного духа, ликующие напевы его веры в грядущее Преображение... Они приходили туда и позже — творить литии.

Двадцать два соловецких каторжника в тот час молений о погибших были с тобою, Русь, в бесконечной жизни твоей... С тобой, мученик-царь, принявший вины и грехи наши на душу свою!

— Вечная память!

Окончание следует

ПОЭЗИЯ

ВАЛЕНТИН СОРОКИН

И ВОСПРЯНЕТ СВОБОДА...

Речка

Ну где же ты, Ивашлá,
Я скорбной тревогой прав:
Ты словно во мрак ушла,
Кресты под полой забрав.

Я в детство веду мосты
И кланяюсь небесам,
Пока на холме кресты —
Еще не забыт я сам.

Прости меня, косогор,
И лиственница, прости,
Вон скачет во весь опор
Мальчишка с того пути.

Багрянистей, чем огонь,
Рябиновые кусты,
Копытом стучится конь
В гремящий гранит версты.

Вершина, совы седей,
К себе пригребла холмы, —
Не мать ли своих детей,
Я вспомнил, как жались мы...

Я вспомнил — холодный хлеб,
Зимою, в голодный год.
Я вырос и не ослеп,
Не счёрствился от невзгод.

Я вижу, душой светла,
Лишь иволги позовут,
Плывет моя Ивашла,
За нею — кресты плывут.

Плывет Ивашла одна,
В долине покой, теплынь.
Родимая сторона,
Где дом был, —
шумит полынь!..

Багровая скала

Снег на площади Красной волос моих белых белей,
Словно белые вихри людской отравительной муки.
Здесь багровой скалою огромный торчит Мавзолей,
Здесь Кремлевских Курантов летят над столицею звуки.

СОРОКИН Валентин Васильевич родился в 1936 году. Десять лет работал на мартене. Окончил Высшие литературные курсы. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Благодарение», «Хочу быть ветром», «Плывущий Марс», «Нас двое» и других. Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.

Здесь лежит в Мавзолее суровый марксистский пророк,
Под охраной лежит — до сих пор не живой, не покойник,
Ведь за семьдесят лет не пошли человечеству впрок
Ни расстрелы, ни тюрьмы, ни армий бессчетные бойни.

Недовольный мятежник, прищурясь, недремно лежит,
Одинокий, как тайна, морозною тишью студимый,
Вдруг наклеит бородку и вновь кочегаром сбежит,
За трагедии проклят, но все же пока не судимый.

Он разрушил надежду, и впредь не воскреснет земля,
Стал народ полунищим, бесправным, хмельным неулыбой,
Кровь удушенных сел, клокоча, дотекла до Кремля,
Проросла Мавзолеем, угрюмою каменной глыбой.

Говорят, по ночам он по кладбищам рыскает сплошь,
Но никто не дает ему рядом обычного места,
И отвергнутый Богом, на Каина злого похож,
Возвращается в сумрак легенд, и венков, и ареста...

Справа — бюсты и слева — соратников и палачей,
Снег над площадью Красной волос моих белых белее.
И лежит он, один, за торжественной дверью, ничей,
В саркофаге железном багровой скалы Мавзолея.

Я, слагавший стихи и тоскующий в детстве о нем,
Призываю сограждан: «Ему и казнительной свите,
Чтобы нас не спалила природа небесным огнем,
Вы скостите грехи и в могилу его опустите.

Опустите в могилу, да сгинут в нее лжевожди,
Трибуналов творцы, корифеи эпохи безгласной,
И простонут ветра, просверкают, ликуя, дожди,
И воспрянет свобода
над вечною площадью Красной!»

Памятник Феликсу Дзержинскому

Длинная землиетая шинель
И зимой и летом давит плечи...
Грохнул выстрел,
жикнула шрапнель, —
Бунт несчастных там,
в Замоскворечье.

Русский дождь безвинной кровью
льет.
В гневе даже и крестьянин пылок.
Рыцарь революции убьет
Труженика-пахаря в затылок.

А потом, нежнее, чем их мать,
На колени по дурным приютам
Вдарится детишек обнимать,
Разрешив передохнуть малютам...

Инквизитор, яростен и чист,
Сердцем светит он в просторе
мглистом:
Беспризорник — будущий чекист,
Миллионы затолкнут к чекистам, —

Чтобы он под зноем и в мороз
Там стоял, где утвердила слава,
Там стоял, где бронзою пророс,
С головою узкою удава.

Он стоит... И поднимая пыль,
Не ведя навязанного счета,
Совершает круг автомобиль
Возле ног,
проклятый круг почета!..

Русская мысль

В майском номере «Нашего современника» мы познакомили широкого отечественного читателя с журналом «Русский колокол», выходившим на рубеже 20—30-х годов в Берлине под редакцией известного русского мыслителя-государственника И. А. Ильина. Злободневность вопросов, поднимавшихся на страницах «Русского колокола», побуждают нас продолжить знакомство с этим замечательным изданием. Теперь, когда государственное единство и территориальная целостность нашего Отечества, складывавшиеся веками, рушатся, особую ценность приобретает трезвое, весомое мнение ученого, стоявшего над суетными политическими страстями и межпартийной борьбой. Вниманию читателей предлагается статья Б. Никольского, опубликованная в девятом номере «Русского колокола» (1930).

Б. НИКОЛЬСКИЙ

РУССКИЙ ПРОСТОР

При всей условности противоположения России и Европы, как двух различных миров, в одном отношении противоположение это совершенно основательно. Между «русским простором» и «балканизированной Европой» подлинно лежит мировая грань.

В Европе, обогащенной последними мирными договорами, — 11 000 километров новых границ. 24 суверенных государства, независимо друг от друга творящих свою волю (островная Англия — не в счет), 24 таможенных стены, порою очень высоких, 24 политических и экономических партикуляризма на пространстве около 4 миллионов квадратных километров. Соответственно жизнь и творчество европейских народов замкнуты в более или менее тесные клетки, тщательнейшим образом отделенные друг от друга паспортами, визами, таможенными тарифами и запретами, контингентами и свидетельствами о происхождении, в свою очередь добросовестнейшим образом проверяемыми целой армией различно одетых полицейских и таможенных чиновников. И хотя обмен людьми за последние годы снова значительно облегчен, все же для свободного хозяйствования бесконечное число пограничных рогаток все еще служит весьма серьезной помехой, ложась в виде накладных расходов тяжелым бременем и на потребителя, и на производителя.

Напротив, русский простор трудно уложить в какие-либо клеточки. Всею своею многовековою историей Россия показала свое отвращение к государственной чересполосице и всенародную подсознательную тягу к расширению рамок для государственного творчества. И этот простор, по которому тоскуют, которым болеют не только оторванные от родины русские, но даже долго жившие в России иностранцы, является великою реальною ценностью.

Русский простор есть прежде всего явление географическое, поскольку безбрежная равнина оказалась пространством, отведенным в удел восточным славянам. Но если правильно, что география предопределила русскую историю, как ни у одной другой страны, то с еще большим, пожалуй, правом можно сказать наоборот: русская история создала русскую географию. Ибо мы уже знаем, каких бесчисленных трудов потребовало освоение часто негостеприимных пространств, каких потоков крови стоило русскому народу закрепление государственных рубежей там, где это было наиболее необходимо для хозяйственной безопасности и политической независимости. Отсюда двойственное значение «русского простора»: как географически данной возможности и как исторического достижения, закрепившего эту возможность. Отсюда же и двоякая его расценка: в прошлом и в настоящем.

Поначалу этот беспредельный простор казался не вожделенным и благодатным, а вынужденным, навязанным и в известных отношениях даже роковым для русского народа. И лишь тогда, когда безлюдье и бездушье пустырей понемногу заполнилось жизнью и культурой, пространственная огромность Российской империи стала сама по себе положительным фактором.

Российское расселение по великой европейско-азиатской низменности часто сравнивают с разлитием жидкости, катящейся во все стороны, пока на пути ее не встретятся непреодолимые препятствия. Говорят также о русском море, разлившемся по безбрежной сухопутной равнине. И то и другое сравнение, однако, далеко не охватывает всей сложности многообразных процессов, вызванных основным явлением русской истории: самоопределением в пространстве, или внутренней колонизации.

Разливаясь на подобие жидкости, русская колонизационная волна встречала на своем пути множество других народностей и входила с ними в весьма разнообразные взаимоотношения. Но наряду с этим основным стремлением на восток, на север или на юг несоответствие между охваченным пространством и численностью колонизующего ядра создавало в пределах уже заселенной площади постоянные передвижения отдельных групп и лиц с места на место. Долгое время, пока плотность населения не достигла известной высоты, пока не были прочно прибраны к рукам все более или менее привлекательные по своим свойствам и по своей безопасности места, русское население, даже уже ставшее земледельческим, оставалось все же полуоседлым. Кочевали долгое время князья, передвигаясь из удела в удел. За ними следом кочевали их дружины и служилые люди. Кочевал и земледелец, долго не привязывавшийся к раз занятому участку земли и легко переходивший на другие. Отсюда уже упоминавшиеся меры по закреплению, закрепощению крестьян, отсюда русская «крепостная зависимость», которая, однако, была не в силах совершенно приостановить, а только ввела в известные рамки процесс бесконечного и непрерывного самораспределения-передвижения, происходившего по русской поговорке: «рыба ищет где глубже, а человек — где лучше». Искатели лучшей доли стали бежать от надвигавшегося крепостного закрепления еще дальше: на север — в леса, на восток — в Сибирь и на юг — в степь.

Вся русская история есть многовековое, непрерывное движение на огромном пространстве. А так как оно не только шло по поверхности, но и создавало подпочвенные волны взаимных отталкиваний, притяжений, слияний и разрывов среди тех масс, групп и отдельных лиц, какие оказывались в него вовлечены, то движение это являлось в то же время многосложным внутренним процессом. Один вдумчивый иностранец, познакомившись с Россией, сказал по этому поводу: «Россия есть процесс. Россия представляет собой один огромный процесс эволюции».

Да, Россия есть движение. Историческое движение миллионов, ищущих «где лучше» на протяжении десятка веков. В этом движении житель севера нередко попадал на юг, а обыватель западной России — на далекий восток, причем каждый переносил с собой на новую почву и в новые условия прежние навыки и привычки. В этом движении восточный славянин сталкивался и сливался с финном, татарином, латышом, поляком, литовцем, грузином, башкиром и пр. И от столкновения их происходил каждый раз какой-то неуловимый в отдельности, но несомненно существенный, внутренний сдвиг. Таким образом, не только на поверхности, но и в глубине образовывались волны различных почвенных, климатических, племенных и хозяйственных воздействий. И если это происходило у каждого народа впредь до оседания на занятой территории, то у совокупности народностей, образовавших Российскую империю и еще окончательно не осевших, эти процессы растянулись на много веков и до сих пор еще не закончились. Россия все еще — движение.

Движение это напоминает какой-то сложный химический процесс в огромной реторте, в которую постепенно то подкладывают новые вещества, то повышают температуру. В нормальных условиях трудно уловить в нем передвижение отдельных частиц. Но благодаря потрясениям, внесенным революцией, мы в состоянии заметить их даже невооруженным глазом современника. Принято, например, говорить о совершившемся во время революции «социальном землетрясении» в России. С таким же основанием можно говорить о стихийных национальных сдвигах и даже о чисто механических стихийных передвижениях из губернии в губернию, как было под влиянием голода в 1921 году, когда население отхлынуло от голодающего Поволжья.

В обычное время, когда сложный русский процесс проходил как бы невидимым, он медленно, но неуклонно создавал какие-то органические сцепления, и только теперь, попав в полосу кипения и взрывов, он влечет за собой явления бурного разложения, из которых со временем, несомненно, произойдут новые соединения. Отсюда первое и главное свойство русского простора, российской пространственности: она способствовала в прошлом созданию множества порою невидимых (как химические соединения, образующие воздух) органических сцеплений и связей: связей племенных, духовных и хозяйственных.

Другое свойство, порождающее как бы «отраву» русским простором (отмечаемую ныне у многих иностранцев, живших в России), заключается в том, что само пространство как возможность, как точка приложения для творческих сил населения породило благодаря необъятности своей знаменитые русские «неограниченные возможности». «Балканизация» создает определенные, иногда довольно тесные, грани для приложения предприимчивости. За этими гранями — барьерами — начинаются другие условия, другой быт, особые меры по охране от иностранной конкуренции, особые законы и формальности. При балканизации все возможности становятся ограниченными, заранее точно взвешенными, и для хозяйственного со-

ревнования остается сравнительно незначительное поле. Наоборот, в России, при ничем не разграниченной огромности площади, создаются в полном смысле слова неограниченные возможности для приложения сил. Дальше мы увидим, как это сказывается в области хозяйственной географии. Здесь же необходимо лишь отметить, в общей форме, материальную выгодность и духовную привлекательность такой свободы выбора для приложения самых разнообразных сил и способностей, создающих представление о манящем русском приволье. Всякий предприимчивый и толковый иностранец, прилагая в России такое же усилие, как у себя на родине, получал во много раз большую выгоду и нравственное удовлетворение. Неограниченные возможности приносили в случае их мало-мальски умелого использования далеко выходящую за обычные европейские рамки пользу. Так пространство, русский простор становился фактором благополучия.

Правда, наступило это далеко не сразу: пока пространство оставалось незаполненным и неосвоенным, оно являлось угрозой, источником слабости и беззащитности — от лихого человека и хищного зверя, от неожиданного и неведомого набега или одиночного нападения. И до сих пор еще житель бесконечных равнин оказывается не защищенным от природы и, в частности, от ветров, которые, дуя почти без помех от Архангельска до Крыма и от Самарканда почти до Карпат, нередко разбивают все его хозяйственные расчеты. Так, знойная, засушливая мга, проникающая из среднеазиатских пустынь до Поволжья, является постоянной угрозой русскому земледелию. В этом отношении естественные горные преграды, задерживая зной и ледяные ветры, куда более благоприятствуют производительному труду в средней Европе.

Но эта же пространственная ширь, будучи так или иначе преодолена и освоена русским человеком, будучи связана путями сообщения, привела с течением времени к тому, что Россия, заполнившая свою равнину, оказалась чисто географически «единой и неделимой». В самом деле: по каким сколько-нибудь резко очерченным граням можно было бы наметить естественные «территориальные линии раздела» России? — По бассейнам рек, водоразделам? Но при равнинности и слабом падении рек, текущих нередко в расходящихся направлениях, признак этот для России недостаточно отчетлив. По растительности (лес — степь) деление было бы еще условнее. Такая естественная природная неделимость, вытекающая из равнинности России, и является главной основой органического сцепления ее отдельных частей. Ибо при тесной взаимозависимости между этнографией и географией народы и народцы, вошедшие в состав Российской империи, ничем друг от друга не отделенные, должны были войти между собой в более тесное общение, чем разделенные морями и горами жители Европы.

Одним из основных законов биологии является изменение животных видов в силу приспособления к различной обстановке и среде. И вот, трудно найти более непрерывную площадь распространения, чем российские равнины, и особенно южные степи. Естественно, что если на них водится множество подвидов животных, то еще более велико — в силу большей чувствительности к среде — количество этнических подвидов и у обитающих там двуногих людей. Другими словами, при более или менее сплошном заселении и при постоянном общении населения действие русского простора-равнинности должно было постепенно и неизменно сказаться в сглажении племенных обособленностей и устранении резких отличий. И если трудно разделить Россию на резко обособленные географические районы, то еще, пожалуй, труднее распределить по каким-либо кучкам, резко отличным и обособленным, разнообразное и вместе с тем сливающееся население российских равнин. Напротив, в гористой Швейцарии — всякий внимательный путешественник, наверное, обращал на это внимание — сплошь и рядом у входа в туннель приходится видеть один людской тип, слышать один говор, а у выхода, на расстоянии немногих верст, — совершенно чуждый первому.

Если непохожие ветры-вредители всюду проникают без помех, то и для духовных течений российский простор служил проводником, облегчавшим органические процессы племенных сближений. Русский колонизационный поток разливался по равнинам точно поток какой-то жизненной лавы, которую ничто не могло остановить до тех пор, пока она не докатилась до Тихого океана и горных хребтов по китайской границе. Естественно, что встреченные им на своем пути народности, находившиеся к тому же на низшей ступени развития, не могли противостоять этому длительно-упорному натиску и отстоять свою племенную независимость. В большей или меньшей степени они оказались или поглощенными русской стихией, или ею пропитанными, оставив в то же время свой след в образовании сложного «русского типа»[1]. Поскольку, следовательно, речь идет о народах, встреченных русской колонизацией на своем пути, можно сказать, что географическая цельность России способствовала и параллельному установлению органической племенной связанности. В самом деле, кто сможет сейчас провести резкие племенные грани между широководной рекой русской народности и теми различными племенными притоками, из которых она образовалась? Кто даст точный племенной анализ «русского типа», впитавшего в себя множество инородных элементов от скандинавов-германцев до монголов-татар? А если так, то можно ли сомневаться в органичности процессов, вызванных к жизни великим российским расселением — основным фактом нашей истории?

Итак, русский простор, равнинность чисто биологически способствовала племенной спайке различных народностей, волею судеб вовлеченных в русский водоворот. Стойкость же русского национального самосознания, обнаруживаясь еще на заре нашей истории (лучший пример — привязанность к русскости отделенной от основного ядра около десяти столетий Угорской Руси), способствовала установлению наряду со стихийными, подсознательными сцеплениями также волевых, сознательных объединений оторванных было друг от друга ветвей единого русского народа.

Так понемногу заполнялись российские пространства живой творящей силой и, заполняясь ею, постепенно оживали. Процесс этот происходил медленно, ибо запасы русской живой силы совершенно не соответствовали огромности тех площадей, какие они были призваны заполнить. Россия и поныне остается страною очень редкого заселения[2]. Поныне остается еще множество незаполненных пространств, ждущих своих колонистов: множество возможностей, еще неиспользованных за отсутствием живой силы. Но все же давно изжито время, когда пустынность беспредельного русского простора являлась угрозой, опасностью, источником слабости. С оживлением пустырей русская огромность сама по себе, даже независимо от природных богатств, в ней сокрытых, стала силой, о которую разбились враги России.

Соответственно манящий и чарующий русский простор, исторически сыгравший столь важную роль при формировании национального ядра, стал источником и основой безопасности для государства Российского.

---

[1] «Каждое финское или монгольское племя, поглощаясь русскою народностью, как бы распускалось, таяло в ней, и такое претворение азиатского элемента и составляло ценное приобретение для великой семьи европейских народов» (Проф. Шмурло. «Введение в русскую историю», с. 138).

[2] Плотность населения в Российской империи накануне революции (1916 г.) составляла в среднем на 1 квадратную версту человека (Европейская Россия — 31,0; Сибирь — 0,9; Средняя Азия — 3,6). Ниже России стояла только Норвегия с 8,1 чел. на квадратный километр, в то время как в Германии насчитывалось 127,7; в Англии — 157,9 и Бельгии — 273,1 чел. на квадратный километр.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Будущее во все века живо интересовало человека. Журнал «Наш современник» представляет для верующих читателей, а также для неверующих, но интересующихся вопросами веры, подборку предсказаний православных святых, подвижников, людей благочестивой жизни о будущем России и всего мира.

«ЧИТАЮЩИЙ ДА РАЗУМЕЕТ...»

В наше время повального увлечения мистицизмом, астрологией, НЛО, многоразличными пророчествами и эсхатологическими рассуждениями, которые характерны для чисто календарного рубежа веков, необходимы работы, позволяющие ориентироваться в этом море разливанном, позволяя сделать правильный выбор, не уводящий от действительно жизненных и актуальных проблем,

Сомневаться в грядущем конце привычного нам, материально осязаемого мира столь же странно, как и сомневаться в неизбежности собственной физической смерти. И мир, и отдельное существо подвержены тем же непреложным законам рождения и смерти. Отдалить непостигаемый нами конец мы, видимо, не в силах, но приблизить его можем. Тому примером и глобальное ядерное противостояние, достигшее известного напряжения несколько лет тому назад, и столь популярная ныне экологическая проблема.

Предлагаемая к рассмотрению достаточно полная и компактная подборка пророческих высказываний святых и подвижников благочестия о временах грядущих является выверенной с православной точки зрения и даст не только материал к необходимому размышлению, но и возможность самостоятельных выводов на обобщающем уровне, чего так не хватает нашему современнику.

В наше время — время глубокого духовного падения общества — разъяснение о грядущих временах просто необходимо. «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24). Только поняв эту евангельскую истину, можно правильно строить свою земную жизнь, соотнося каждый свой шаг с заповедями Божиими. Преподобный Серафим Саровский говорил, что истинная цель жизни — стяжение Духа Святого. Все другие цели, другие задачи должны быть подчинены этому спасительному пути, ибо только так из бездны греховной может быть изведен и каждый отдельный человек, и общество в целом.

Каждый день должен быть посвящен очищению души, так как никто не знает, какой срок земной жизни ему отмерен. Поэтому, не привязываясь к временам и срокам, не вычисляя их (бесконечное и бесполезное занятие!), надо постоянно заботиться о высшем — о встрече с Богом, помня, что для каждого она произойдет в свое время. Если сегодня мы уйдем из жизни, очернив душу мерзостью греха, то какая разница — в 1992 или каком ином году будет второе пришествие Христа? Мы не сможем встретить Господа в радости и чистоте духовной, мы будем осуждены!

Нарушение же заповедей Господних всей общностью людей, лавинообразное преумножение греха приближает время Суда Божия. И люди должны знать об этом, не тратя дни и годы своей недолгой жизни на губительную суету сует, служение идолам, маммоне и лжеидеям.

Александр ПАРМЕНОВ,
заведующий церковно-общественным отделом
«Журнала Московской Патриархии».

Предантихристово время

...слухом услышите, и не уразумеете;
и очами смотреть будете, и не увидите.
Исаия, 6, 9.

Св. праведный ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ (январь 1901): «...после вечерней молитвы я лег немного отдохнуть от усталости моей, в келье был полумрак. Перед иконой Божией Матери горела лампада. Не прошло получаса, слышу легкий шорох, кто-то коснулся моего левого плеча, тихий голос ласково сказал мне: «Встань, раб Божий Иоанн, пойди волею Божией!» Я встал и вижу около меня дивного старца, убеленного сединой, в черной мантии с посохом в руке; ласково посмотрел на меня, и я от великого страха едва не упал; руки и ноги задрожали и я что-то хотел сказать, но язык мой не повиновался, старец перекрестил меня, и мне стало легко и радостно. Потом уже я сам перекрестился. Затем он тем же посохом указал на западную сторону стены, чтобы я смотрел на то место. Старец начертал на стене следующие цифры: 1913, 1914, 1917, 1922, 1924, 1934. Потом вдруг стены не стало, я пошел за старцем по зеленому полю и вижу массу крестов деревянных, тысячи стоят на могильцах: большие деревянные, и глиняные, и золотые. Я спросил старца: «Что это за кресты?» Он ласково ответил мне: «Это те, которые за веру Христову пострадали и за слово Божие убитые оказались мучениками!» И вот идем дальше. Вдруг я вижу целую реку крови, и спросил я старца: «Что это за кровь? Как много пролито?» Старец оглянулся и сказал: «Это кровь истинных христиан!» Затем старец указал на облако, и я вижу массу белых светильников горящих, вижу они стали падать на землю, один за другим, десятками и сотнями. Все они при падении тускли и превращались в прах. Потом старец сказал мне: «Смотри!» И я вижу на облаках семь горящих светильников. Я спросил: «Что это за светильники падающие?» — «Это падут церкви Божии в ереси, а семь светильников на облаках, это семь Церквей Апостольских, Соборных, останутся до конца мира!» Затем старец показал ввысь, и вот я вижу и слышу пение ангелов, они поют: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф!» Шла большая толпа народа со свечами в руках, с радостными сияющими лицами. Здесь были архиереи, монахи, монахини, масса мирян, молодые, даже юноши и дети. Я спросил чудного старца: «Что это за люди?» — «Это все пострадавшие за Святую Соборную Апостольскую Церковь, за святые иконы от губителей!» Я спросил великого старца, могу ли я присоединиться к ним? Старец сказал: «Рано еще тебе, потерпи, нет благословения Божия!»

И опять я вижу собор младенцев, пострадавших за Христа от Царя Ирода, и получили венцы они от Царя Небесного. И вот идем дальше и заходим в большой храм. Я хотел перекреститься, но старец сказал мне: «Не надо! Здесь мерзость запустения!» Церковь была очень мрачна. На престоле—звезда, Евангелие со звездою; свечи горят смоляные и трещат, как дрова; чаша стоит залита сильным зловонием; просфоры со звездой; перед престолом стоит священник, лицо как смола, а под престолом — женщина, вся красная, со звездой во лбу, во весь храм кричала: «Я свободна!» Господи, страшно! Люди как безумцы стали бегать вокруг престола, кричать, свистеть, в ладоши хлопать и ртом стали петь блудные песни. Вдруг сверкнула молния, загремел ужасный гром, задрожала земля и храм рухнул, провалилась женщина, люди и священник и все — в бездну. Господи, как страшно, спаси нас! Я оглянулся. Старец что-то видел, и я вижу. «Отче, скажи мне, что это за страшный храм?» — «Это вселенские люди, еретики, которые оставили святую Соборную Церковь и признали новообновленную, в которой нет благодати Божией: в ней нельзя говеть и приобщаться!» Я испугался и сказал: «Господи, горе нам окаянным — смерть!» Старец успокаивал меня, сказал: «Не скорби, а только молись!» И вот я вижу массу людей, они идут страшно измученные жаждою, во лбу звезды. Они увидели нас и громко кричали: «Святые отцы, помолитесь за нас. Очень тяжело нам, а мы сами не можем. Отцы и матери не учили нас закону Божию. Даже имени Христова нет у нас, мы не получили мира, Духа Святого и отвергли крестное знамение!» И заплакали. Я пошел вслед за старцем. — «Смотри!» И указал мне рукой. Вижу— гора трупов человеческих замаранных в крови. Я очень испугался, спросил старца, что это за трупы? — «Это монашествующие отвергли и не приняли печати антихристовой, пострадали за веру Христову, Апостольскую Церковь и приняли мученическую кончину и умерли за Христа. Помолись за рабов Божиих!»

Вдруг старец обратился к северной стороне и указал рукой. Смотрю — царский дворец. Вокруг него бегают псы, ярые звери и скорпионы, ревут, лезут, грызут зубами. А на троне, вижу, сидит Царь. Лицо бледное, мужественное, читает Иисусову молитву. Вдруг упал как труп. Корона спала. Помазанника звери потоптали. Я испугался и горько плакал. Старец взял меня за правое плечо: я вижу в белом саване — Николай Второй. На голове венец из зеленых листьев, лицо бледное, окровавленное, на шее золотой крест. Он тихо шептал молитву, а затем сказал мне со слезами: «Помолись о мне, отец Иоанн. Скажи всем православным христианам, что я умер, как Царь-мученик мужественно за веру Христову и Православную Церковь. Скажи Апостольским пастырям, чтобы отслужили братскую панихиду за меня грешного. Могилы моей не ищите!»

А затем все скрылось в тумане. Я горько плакал, молился за Царя-мученика. От страха у меня дрожали руки и ноги. Старец сказал: «Смотри!» И вот я вижу такая масса умерших от голода валяется, иные едят траву и зелень. А трупы одних пожирают псы, и страшное зловоние. Господи, у людей нет веры! Из уст извергают богохульства, и за это — гнев Божий! И вот вижу целую гору книг и между теми книгами ползают черви, которые распространяют страшное зловоние. Я спросил старца, что это за книги? — «Безбожные, богохульные, которые будут заражать всех христиан богохульным учением!» И вот старец прикоснулся посохом к книгам, они загорелись и пепел разнес ветер.

Дальше я вижу церковь, вокруг лежит масса поминальников. Я наклонился и хотел прочитать их, но старец сказал:

«Это поминовение, которое много лет лежит и священники их забыли: не читают, некогда, а усопшие просят молиться!» Я спросил: «Когда же их будут поминать?» И старец сказал: «Ангелы за них молятся!»

И вот пошли дальше, а старец так быстро шагал, что я едва поспевал за ним. «Смотри!» — сказал старец. Вижу — идет большая толпа народа, гонимая страшными бесами, которые били их кольями, вилами и крюками. Я спросил старца: «Что это за люди?» Старец ответил: «Это которые отреклись от святой веры и от Соборной, Апостольской Церкви и приняли обновленческую. Это были священники, монахи и монахини, миряне, которые отвергли и брак, пьяницы, богохульники, клеветники. У всех у них страшные лица, изо рта — зловоние. Бесы били их, гнали в страшную пропасть, оттуда выходил смрадный огонь. Я страшно испугался, перекрестился: «Избави, Господи, от такой участи!»

Вот вижу массу людей, старые и молодые, все в страшном одеянии, вывесили пятиконечную звезду огромную; на каждом углу по двенадцати бесов; на середине — сам сатана со страшными рогами, соломенной головой, испускал он зловредную пену на народ, выраженную в словах: «Вставай, проклятьем заклейменный..» Вдруг появилось множество бесов с клеймами и на весь народ прикладывали печати: на лбы и выше локтя, на руках правых. Я спросил старца: «Что это такое?» — «Это — печать Антихриста!» Я перекрестился и последовал за старцем. Он вдруг остановился и показал на восток рукой. Я вижу большой Собор людей с радостными лицами, в руках кресты, вокруг свечи; посреди стоял высокий престол белый, как снег: на престоле — Крест с Евангелием, над престолом на воздухах золотая царская корона: на ней написано золотыми буквами: «На малое время». Вокруг престола стоят патриархи, епископы, священники, монахи, монахини, миряне. Все пели: «Слава в вышних Богу и на земле мир!..» Я от радости перекрестился, поблагодарил Бога. Вдруг старец взмахнул вверх крестом три раза, вижу массу трупов в крови человеческой и над ними летали ангелы: берут души убиенных за слово Божие. Ангелы пели притом: «Аллилуйя!» Я смотрел и громко плакал. Старец взял меня за руку и не велел плакать: «Так угодно Богу. Господь наш Иисус Христос пострадал, пролил пречистую кровь Свою за нас. Так будут мучениками те, которые не примут печать антихристову, все прольют свою кровь, получат венец Небесный!»

Затем старец помолился за рабов Божиих и указал на восток. Сбылися слова пророка Даниила: «мерзость запустения».

Вот окончательно вижу иерусалимскую купальню. Над купальней звезда. Внутри храма толпятся миллионы народа и еще стараются войти внутрь. Я хотел перекреститься, а старец удержал мою руку и сказал: «Здесь мерзость запустения!» Вошли и мы в храм. Там было полно народу: я вижу престол, там горят свечи сальные; на престоле—царь в красной, яркой порфире; на голове золотая корона со звездой. Я спросил старца: «Кто это?» Он сказал: «Антихрист!» Высокого роста, глаза как огонь, черные брови, борода клином, лицо свирепое, хитрое, лукавое, страшное. Он сам на престоле, а руки протянул к народу. На руках когти как у тигра и кричал: «Я — царь и Бог, и правитель. Кто не примет моей печати, тому — смерть!» Все люди пали и поклонились ему; он стал накладывать печать на лбы и на руки, чтобы получить хлеб, не умереть с голоду и жажды. Вдруг слуги Антихриста привели несколько человек со связанными руками, чтобы они поклонились ему. Они сказали: «Мы христиане, мы все веруем в Господа нашего Иисуса Христа!» Антихрист в один миг сиял головы с них: полилась христианская кровь. Затем привели юношу к престолу Антихриста, чтобы он поклонился, но юноша громко сказал: «Я христианин, верую в Господа нашего Иисуса Христа, а ты посланник, слуга сатаны!»—«Смерть ему!» — закричал Антихрист. Принявшие печать, падали и поклонялись ему.

Вдруг загремел гром, засверкали тысячи молний, стрелы поражали слуг антихристовых. Вдруг блеснула большая стрела, с пламенным огнем упала на голову Антихриста, он взмахнул рукой, корона упала, разбилась в прах: летали миллионы птиц и клевали слуг Антихриста. Я почувствовал, как старец взял меня за руку. Идем дальше, и я вижу опять много крови христианской. Тут я вспомнил слова Иоанна Богослова в Откровении: будет кровь... «даже до узд конских». «Ох, Боже мой, спаси меня!» Вижу ангелов, летающих и поющих: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф!»

Старец оглянулся и пошел: «Не скорби, скоро, скоро, конец миру! Молись Господу, Бог милостив к рабам Своим!»

Приблизилось время к концу. Он указал рукой на восток, наконец упал на колени и молился: с ним молился и я. Старец стал отдаляться быстро от земли на высоту: тут я вспомнил, а как же имя этого старца, то громко воскликнул: «Отче, как твое имя?» — «Серафим Саровский! — ответил ласково старец, — что видел, напиши православным христианам!»

Вдруг, как будто бы ударил над моей головой большой колокол и я услышал звон и проснулся. — «Господи, благослови, помоги молитвами великого старца! Ты открыл мне грешному рабу Иоанну Кронштадтскому иерею!»

М. Ф. ГЕРИНГЕР, урожд. Аделунг, обер-камерфрау Императрицы Александры Федоровны: «В Гатчинском дворце, постоянном местопребывании Императора Павла I, когда он был наследником, в анфиладе зал была одна небольшая зала, и в ней посередине на пьедестале стоял довольно большой узорчатый ларец с затейливыми украшениями. Ларец был заперт на ключ и опечатан. Вокруг ларца, на четырех столбиках, на кольцах, был протянут толстый красный шелковый шнур, преграждавший к нему доступ зрителю. Было известно, что в этом ларце хранится нечто, что было положено вдовой Павла I, Императрицей Марией Феодоровной, и что ею было завещано открыть ларец и вынуть в нем хранящееся только тогда, когда исполнится сто лет со дня кончины Императора Павла I, и притом только тому, кто в тот год будет занимать царский престол России. Павел Петрович скончался в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Государю Николаю Александровичу и выпал, таким образом, жребий вскрыть таинственный ларец и узнать, что в нем столь тщательно и таинственно охранялось от всяких, не исключая и царственных, взоров.

В утро 12 марта 1901 года <...> и Государь и Государыня были очень оживлены и веселы, собираясь из Царскосельского Александровского дворца ехать в Гатчино вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились как к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселы, но возвратились задумчивые и печальные, и о том, что обрели они в этом ларце, никому <...> ничего не сказали. После этой поездки <...> Государь стал поминать о 1918 годе, как о роковом годе и для него лично, и для династии»[1].

Незадолго до своей, во многом загадочной, смерти Император Александр I побывал в Саровской пустыне у преподобного **СЕРАФИМА (1759—1833)**, который среди прочего будто бы предрек: «Будет некогда Царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против Царя и его Самодержавия, но Бог Царя возвеличит».

С. А. НИЛУС (1862 — 1929): «6 января 1903 года на Иордани у Зимнего Дворца при салюте из орудий от Петропавловской крепости одно из орудий оказалось заряженным картечью, и картечь ударила только по окнам дворца, частью же около беседки на Иордани, где находилось духовенство, свита Государя и сам Государь. Спокойствие, с которым Государь отнесся к происшествию, грозившему ему самому смертию, было до того поразительно, что обратило на себя внимание ближайших к нему лиц, окружавшей его свиты. Он, как говорится, бровью не повел и только спросил:

— Кто командовал батареей?

И когда ему назвали имя, то он участливо и с сожалением промолвил, зная, какому наказанию должен будет подлежать командовавший офицер:

— Ах бедный, бедный (имярек), как же мне жаль его!

Государя спросили, как подействовало на него происшествие. Он ответил:

— До 18-го года я ничего не боюсь.

Командира батареи и офицера (Карцева), распоряжавшегося стрельбой, Государь простил, так как раненых, по особой милости Божией, не оказалось, за исключением одного городового, получившего самое легкое ранение. Фамилия же того городового была — Романов.

Заряд, метивший и предназначенный злым умыслом царственному Романову, Романова задел, но не того, на кого был нацелен: не вышли времена и сроки — далеко еще было до 1918 года».

В торжествах открытия мощей преподобного Серафима, состоявшихся в Сарове 17—19 июля 1903 г. участвовала почти вся Царская Фамилия. Монахиня Дивеевской пустыни Матушка **СЕРАФИМА (БУЛГАКОВА, 1903—1991)** вспоминала: «...поехали к Елене Ивановне Мотовиловой (ум. 1910. — С. Ф.) Государю было известно, что она хранила переданное ей Н. А. Мотовиловым. (1808—1879, «служкой» прославляемого святого. — С. Ф.) письмо, написанное преподобным Серафимом и адресованное Государю Императору Николаю II. Это письмо преподобный Серафим написал, запечатал мягким хлебом, передал Николаю Александровичу Мотовилову со словами:

— Ты не доживешь, а жена твоя доживет, когда в Дивеево приедет вся Царская Фамилия, и Царь придет к ней. Пусть она Ему передаст.

Мне рассказывала Наталья Леонидовна Чичагова (дочь владыки Серафима Чичагова, написавшего «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», М., 1896. — С. Ф.), что Государь принял письмо, с благоговением положил его в грудной карман, сказав, что будет читать письмо после <...> Когда Государь прочитал письмо, уже вернувшись в игуменский корпус, Он горько заплакал. Придворные утешали Его, говоря, что хотя батюшка Серафим и святой, но может ошибаться, но Государь плакал безутешно. Содержание письма осталось никому неизвестно»[2].

---

[1] Предсказание «о судьбах Державы Российской» сделал Павлу I монах-прозорливец Авель из Александро-Невской лавры: «Николаю Второму — Святому Царю, Иову Многострадальному подобному. На венец терновый сменит Он корону царскую, предан будет народом своим; как некогда Сын Божий. Война будет, великая война, мировая... По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти и умножаться. Накануне победы рухнет Трон Царский. Кровь и слезы напоят сырую землю. Мужик с топором возьмет в безумии власть, и наступит воистину казнь египетская <...> А потом будет жид скорпионом бичевать Землю Русскую: грабить Святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от Святого Царя. О Нем свидетельствует Писание. Псалмы девятнадцатый, двадцатый и девяностый открыли мне всю судьбу Его <...> Свершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет Крест Православный, дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и процветет, аки крин небесный...»

[2] «В роду Царя,— говорилось в альманахе «Голос минувшего» в апреле 1917, — передавалось со слов будто бы очевидца о существовании предсказания Серафима, отшельника в Сарове, которое относилось к ряду будущих царствований. Самый текст предсказания якобы был записан одним генералом и по соображениям Александра III должен был находиться в архиве жандармского корпуса, бывшем одновремено как бы архивом самодержавия».

«Крестный путь» Государю предсказал в своей келье и знаменитый старец ВАРНАВА (ум. 18.2.1906) из Гефсиманского скита близ Троице-Сергиевой лавры. Не раз делались предсказания и Государыне. Одно из последних было сделано в Новгороде в декабре 1916 г. старицей Десятинного монастыря МАРИЕЙ МИХАЙЛОВНОЙ. Несколько раз повторила великая подвижница Александре Федоровне: «А ты, красавица, — тяжелый крест — не страшись».

Несомненно все эти предсказания во многом предопределили поведение Николая II вплоть до мученического конца, который он предвидел. В 1909 г. Император говорил П. А. Столыпину: «...я обречен на страшные испытания; но я не получу моей награды здесь на земле. Сколько раз применял я к себе слова Иова (Многострадального, в день которого родился Государь. — С. Ф.): «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне» (Иов. 3, 25)». Французский посол при Русском Дворе М. Палеолог вспоминает слова Николая II, сказанные им после молитвы перед принятием важного решения: «Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России: я буду этой жертвой — да совершится воля Божия!»

Св. праведный ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ чудотворец (1829—1908), из проповеди 1905 г.: «Россия, если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского народа—конец мира близок. Бог отнимет благочестивого Царя и пошлет бич, в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами».

Преподобный СЕРАФИМ САРОВСКИЙ: «Пройдет более чем полвека. Тогда злодеи поднимут высоко свою голову. Будет это непременно: Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, попустит их начинаниям на малое время, но болезнь их обратится на главу их, и на верх их снидет неправда пагубных замыслов их. Земля Русская обагрится реками кровей, и много дворян побиено будет за Великого Государя и целость Самодержавия Его<...>

До рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее: бунты Разинский, Пугачевский, Французская революция — ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей; осквернение церквей Господних; уничтожние и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе...

<...>На земле Русской будут великие бедствия, Православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты Православия, и за это Господь тяжко их накажет»

Старец ВАРНАВА ГЕФСИМАНСКИЙ (ум. 1906): «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханное доныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты».

Афонский старец иеросхимонах АРИСТОКЛИЙ (август 1918): «Сейчас мы переживаем пред-Антихристово время<...> Много страдания, много мучения. Вся Россия сделается тюрьмой...»

Иеросхимонах Оптиной пустыни о. С. (3 июля 1909): «Пишут мне со старого Афона: наступают скоро 1913—1920 годы. В эти годы произойдут грозные и небывалые доселе на земле события, когда сами стихии изменятся и законы времени поколеблятся. Поистине люди придут в такое дерзкое безумие против Создателя своего и Бога, что время не выдержит и побежит: день будет вращаться, как час, неделя, как день, и годы, как месяцы, ибо лукавство человеческое сделало то, что и стихии стали напрягаться и спешить, чтобы скорее окончить прореченное Богом число для восьмого числа веков. Наступило время сына погибели Антихриста».

Преподобный СЕРАФИМ САРОВСКИЙ: «Мню, батюшка, что восьмая-то тысяча (от сотворения мира) пройдет. Мню, что пройдет! И вот еще скажу тебе, батюшка: все пройдет и кончится. И обители, батюшка, уничтожатся, а у убогого Серафима в Дивееве до самого дня пришествия Христова будет совершаться бескровная жертва, батюшка!»

«Перед концом будет расцвет»

И вся земля будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет.

Иеремия, 25, 11.

Иеросхимонах АНАТОЛИЙ (ПОТАПОВ, ум. 1923) ОПТИНСКИЙ (февраль 1917): «...явлено будет великое чудо Божие, да... И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся и воссоздастся корабль (Россия.— С. Ф.) в своей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это и будет явное всем чудо».

Старец ВАРНАВА ГЕФСИМАНСКИЙ: «Но когда уже невмоготу станет терпеть, то тогда наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет».

Иеросхимонах НЕКТАРИЙ (ТИХОНОВ, ум. 1928) ОПТИНСКИЙ (1920): «Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом богата, и в Оптиной будет еще 7 светильников, 7 столпов».

Иеросхимонах АРИСТОКЛИЙ, старец Афонский (1918): «...конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет и явится чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго».

Св. праведный ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ: «...освобождение России придет с Востока».

Преподобный СЕРАФИМ САРОВСКИЙ: «Все то, что носит название «декабристов», «реформаторов» и, словом, принадлежит к «бытоулучшительной партии»— есть истинное антихристианство, которое, развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле и отчасти Православия и закончится воцарением Антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими славянскими странами и составит громадный океан, пред которым будут в страхе прочие племена земные. И это так верно, как 2×2=4».

Старец Глинской пустыни ПОРФИРИЙ: «Со временем падет вера в России. Блеск земной славы ослепит разум, слова истины будут в поношении, но за веру восстанут из народа неизвестные миру и восстановят попранное».

Старец СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ, последний духовник Александро-Невской лавры: «Пройдет гроза над Русскою Землею. Народу русскому Господь грехи простит, и Крест Святой Божественной красою на Божьих храмах снова заблестит. Открыты будут вновь обители повсюду, и вера в Бога всех соединит, и колокольный звон всю нашу Русь Святую от сна греховного к спасению пробудит. Утихнут грозные невзгоды, своих врагов Россия победит, и имя Русского, Великого народа, как гром по всей вселенной прогремит».

Архиепископ ФЕОФАН ПОЛТАВСКИЙ, ректор Санкт-Петербургской Духовной академии (1930): «Приход Антихриста приближается и уже очень близок. Время, разделяющее нас от его пришествия, можно измерить годами, самое большое десятилетиями. Но перед его приходом Россия должна возродиться, хотя и на короткий срок. И Царь там будет, избранный Самим Господом. И будет он человеком горячей веры, глубокого ума и железной воли. Это то, что о нем было нам открыто. И мы будем ждать исполнения этого откровения. Судя по многим знамениям, оно приближается; разве что из-за грехов наших Господь отменит его, и изменит Свое обещанное. Согласно свидетельству слова Божия, и это тоже может случиться».

Через покаяние к возрождению

Читающий да разумеет, не относится ли это к его времени, как началу конца?

Св. прав. Иоанн Кронштадтский.

Архиепископ ИОАНН (МАКСИМОВИЧ) (1938): «Русский народ весь в целом совершил великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно, клятвопреступление и цареубийство. Общественные и военные вожди отказали в послушании и верности Царю еще до Его отречения, вынудив последнее от Царя, не желавшего внутреннего кровопролития, а народ явно и шумно приветствовал совершившееся, нигде громко не выразив своего несогласия с ним.

В грехе цареубийства повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ, ликовавший по случаю свержения Царя и допустивший Его унижение, арест и ссылку, оставив беззащитным в руках преступников, что уже само собой предопределяло конец.

Таким образом, нашедшее на Россию бедствие является прямым последствием тяжелых грехов и возрождение ее возможно лишь после очищения от них. Однако до сих пор нет настоящего покаяния, явно не осуждены содеянные преступления, а многие активные участники революции продолжают и теперь утверждать, что тогда нельзя было поступить иначе.

Не высказывая прямого осуждения февральской революции, восстания против Помазанника, русские люди продолжают участвовать в грехе, особенно, когда отстаивают плоды революции».

Преподобный СЕРАФИМ САРОВСКИЙ: «...Но не до конца прогневается Господь и не допустит разрушиться до конца Земле Русской, потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще Православие и остатки благочестия христиан».

Старец АЛЕКСИЙ ЗОСИМОВСКИЙ (1918): «Кто это тут говорит, пропала Россия? Что погибла? Нет, нет, она не пропала, не погибла и не погибнет, — не пропадет — но надо значит через великие испытания очиститься от греха Рускому народу. Надо молиться, каяться горячо. Но Россия не пропадет и не погибла она».

Иеросхимонах АНАТОЛИЙ (ПОТАПОВ) ОПТИНСКИЙ (февраль 1917): «Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются. И все же не все погибнут. Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо. А что после шторма бывает? После шторма бывает штиль. Но уже корабля того нет, разбит, погиб, погибло все!»

Иеросхимонах АРИСТОКЛИЙ АФОНСКИЙ (август 1918): «...надо много умолять Господа о прощении. Каяться в грехах и бояться творить и малейший грех, а стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда явит Бог милость Свою над Россией»[3].

Из беседы «с одним из духовников Троице-Сергиевой лавры» (1991):

— Отче, <...> что Вы думаете о наших временах? Куда мы идем и чем это должно кончиться?

— Грядет воцарение Царства Антихристова <...> и все признаки этого уже налицо: государственный хаос, забастовки, нехватка продовольствия при небывалом урожае, отравление природы; в стране рвутся к власти новые силы. Затем, если Господь допустит новую власть, пройдет около 3,5 лет пока она начнет показывать свое истинное лицо, а до тех пор будет эйфория свободы, помощь властей Церкви и содействие духовному возрождению России... Далее могут наступить новые великие испытания для Церкви и для народа, которых не видела еще наша история.

— Отче, но ведь были уже предсказания о пришествии Антихриста перед агрессией поляков в 1610—1612 гг., перед войной с Наполеоном в 1812 г. и пророчество св. прав. отца нашего Иоанна Кронштадтского о трагедии 1917 г., а воцарение Антихристово так и не состоялось? Может, и на этот раз обойдется?

— Тогда и не могло оно воцариться, т. к. крепка еще была вера православная у народа! А сегодня народ глух, слеп и немощен, оторван тремя поколениями от святоотеческого духовного наследия...

Не эти времена имел в виду преп. **СЕРАФИМ САРОВСКИЙ,** когда говорил: «...в те дни остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что было испытано некогда Самим Господом, когда Он, на кресте вися, будучи совершенным Богом и совершенным Человеком, почувствовал Себя Своим Божеством настолько оставленным, что возопил к Нему: «Боже Мой! Боже мой! для чего Ты Меня оставил?» Подобное же оставление человечества Благодатию Божиею должны испытать на себе и последние христиане, но только лишь на самое короткое время, по миновании коего не умедлит вслед явиться Господь во всей славе Своей и вси Святии Ангели с Ним. И тогда совершится во всей полноте все от века предопределенное в Предвечном Совете».

«И придет конец всему...»

Кончина всего мира будет собственно не уничтожением, а только обновлением земли.
Св. прав. И о а н н К р о н ш т а д т с к и й.

Преподобный НИЛ МИРОТОЧИВЫЙ АФОНСКИЙ (XVII в.): «...смущение произойдет от четвертого до пятого (т. е. по прошествии 7400 лет от сотворения мира, между четвертым и пятым столетием, от четвертого столетия до пятого, или, так сказать, в течение двадцатого нынешнего века). Какое сделается тогда хищение! Какое мужестрастие, прелюбодейство, кровосмешение, распутство будет тогда! До какого упадка снизойдут тогда люди, до какого растления блудом? Тогда будет смущение с великим любопрением (т. е. революции и борьба партий), будут непрестанно препираться и не обрящут ни начала, ни конца. Потом соберется восьмой собор, чтобы разобрать спор и явить (досл. сотворить) благое благим и злое злым. Земледелец отделяет пшеницу от мякины. Пшеница для человека, мякина же — для скота. Говорим, будучи отлучены, отделены добрые от злых, т. е. правоверующие от еретиков, и на некоторое малое время мирствовать будут люди. (Об этом говорится и в византийских пророчествах.) Но потом снова превратят расположение благое свое, обратятся ко злу злою погибелью погибающих... При всем этом будут думать, что и делатель зла спасется».

Иеромонах ПЕТРОНИЙ (Румынский скит Продром, Святая Гора Афон, 1989): «О годе 1992 писали и пишут постоянно, ибо, как известно, в этом году должно произойти объединение 12-ти стран Общего Рынка в экономический и политический союз... К этому мы добавим и тот факт, что о годе 1992 в мире распространяются мрачные пророчества некоторых святых мужей, иерархов и преподобных: святого иерарха Нифонта Константинопольского, преподобного Нила Афонита, преподобного Косьмы Этолоса, Саввы из Калимноса, Каллиника из монастыря Черника и других, живших в прошедшее время».

Святой КАЛЛИНИК (1797—1860), основатель монастыря Черника близ Бухареста (1832): «... в одну из ночей вернулся он в келью свою после утренней службы и, по обычаю, сел на свой стульчик, ибо таков был обычай у преподобного — отдыхать, сидя на стульчике, и никогда не лежать на кровати — и вдруг он оказался телом своим на острове св. Георгия, стоящим на ногах, — и это было не во сне, а наяву. Справа от него был святитель Николай, покровитель монастыря Черника, а слева — св. Великомученик Георгий. И стал св. Георгий выговаривать Каллинику, почему до сих пор он не начал строительство монастыря, хотя получил для этой цели деньги от архиерея.

Охваченный страхом и трепетом, игумен Каллиник отвечал:

— Простите меня, Божии святые, но я, прочитав некоторые предсказания о будущем, был уверен, что в 1848 году будет конец мира.

Тогда святые сказали ему: — Смотри на восток!

И поднял преподобный глаза на восток и больше не увидел неба, но только великий Божественный свет. И, устрашившись, пал на землю, как мертвый. Но святые немедленно подняли его с земли и сказали ему:

— Смотри теперь на восток и познаешь тайну Провидения!

И был он укреплен благодатию Божией. И увидел св. Каллиник на небе Святую Троицу, такой, какой Она изображается на святых иконах, а под Ней большой светящийся пергамент, на котором было написано большими буквами: 7500 лет от Адама.

Тогда святые, которые поддерживали его под руки, сказали ему:

— Видишь, не 1848-й год конец мира, но конец мира будет тогда, когда исполнится 7500 лет от Адама. Итак, — добавили святые, — немедленно начни строить большой монастырь в форме крепости, каким он сохранился и в наши дни.

Таково видение св. Каллиника из Черники. Как мы видим, здесь речь идет о годе 7500-м от Адама, который соответствует году 1992.

Откровение святого Каллиника не может быть поставлено под сомнение в силу великой святости этого преподобного. И это наполняет нас тревогой»[4].

Старец Черниговского Троицкого монастыря ЛАВРЕНТИЙ (1868—1950): «Такая будет война, что никто нигде не останется, разве только в ущелье».

И говорил, что будут драться и останутся два или три государства и скажут: изберем себе одного царя на всю вселенную.

И в последнее время будут истинные христиане ссылаться, а старые и немощные пусть хоть за колеса хватаются и бегут за ними.

Батюшка часто повторял беседы об Антихристе. Такие говорил слова:

«Будет время, когда будут ходить подписывать за одного царя на земле. И будут строго переписывать людей. Зайдут в дом, а там муж, жена и дети. И вот жена станет уговаривать своего супруга: «Давай, супруг, подпишемся. Ведь у нас дети, тогда же ничего не купишь для них». А муж скажет: «Дорогая супруга, ты как хочешь, а я готов умереть, но за Антихриста подписывать не буду». Такая трогательная картина будущего», — заключал старец.

«Приходит время, — рассказывал о. Лаврентий, — когда и недействующие храмы (закрытые) будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов, так и колоколен. А когда закончат все уже, наступит время, когда воцарится антихрист. Молитесь, чтоб Господь продолжил нам еще это время для укрепления, потому что страшное ожидает нас время. И видите, как все коварно готовится? Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те храмы нельзя будет. Антихрист будет короноваться как царь в Иерусалимском великолепном храме с участием духовенства и Патриарха.

Будет свободный въезд и выезд в Иерусалим для всякого человека. Но тогда старайтесь не ездить, потому что все будет сделано, чтоб прельстить.

Антихрист будет происходить от блудной девы — еврейки двенадцатого колена «блудодеяния». Уже отроком он будет очень способным и умным, а особенно с тех пор, когда он, будучи мальчиком лет 12-ти, гуляя с матерью по саду, встретится с сатаною, который, выйдя из самой бездны, войдет в него. Мальчик вздрогнет от испуга, а сатана скажет: «Не бойся, я буду помогать тебе». И из этого отрока созреет в образе человеческом «Антихрист». При его короновании, когда будет читаться «Символ Веры», он не даст его правильно прочесть, где будут слова за Иисуса Христа, как Сына Божия, он отречется от этого, а признает только себя.

При короновании «Антихрист» будет в перчатках. И когда будет их снимать, чтоб перекреститься, то Патриарх заметит, что у него на пальцах не ногти, а когти, и это послужит к большему уверению, что это Антихрист.

Сойдут с неба пророки Енох и Илия, которые также будут всем людям разъяснять и восклицать: «Это Антихрист, не верьте ему».

И он умертвит их, но они воскреснут и полетят в небо. Антихрист будет сильно обучен всем сатанинским хитростям, и он будет делать знамения ложные.

Его будет слышать и видеть [его подобие] и весь мир [одновременно].

«Он «своих людей» будет «штамповать» печатями. Будет ненавидеть христиан. Начнется уже последнее гонение на христианскую душу, которая откажется от печати сатаны.

Сразу начнется гонение на Иерусалимской земле, а потом по всем местам земного шара прольется последняя кровь за имя нашего Искупителя Иисуса Христа. Из вас, чада мои, многие доживут до

---

[3] Разумеется, если все пойдет по схеме событий: ГРЕХ — ПЛЕНЕНИЕ — ПОКАЯНИЕ — ОСВОБОЖДЕНИЕ. Судя по происходящему сейчас, нас может ожидать и другой вариант: ГРЕХ — ПЛЕНЕНИЕ — НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОКАЯНИЕ — БОЖЬЯ КАРА — ГИБЕЛЬ БОЛЬШИНСТВА И СПАСЕНИЕ «МАЛОГО СТАДА» (См. Тростников В. Старая сказка и новая действительность // «Вече», № 37. Мюнхен, 1990).

[4] Знакомясь с предсказаниями и пророчествами, не забудем, однако, слова Спасителя: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24, 36). Оправдание же публикации в словах св. Иоанна Златоуста. «Бог в Своей великой заботе о нашем спасении заранее говорит нам о наказании, которое Он собирается послать на нас, — для того, чтобы не посылать его. Говорит именно для того, чтобы мы прониклись страхом пред гневом Его, чтобы мы отвратились от грехов...»

этого страшного времени. Печати будут такие, что сразу видно будет, или принял человек или нет.

Ничего нельзя будет купить ни продать христианину. Но не унывайте. Господь Своих чад не оставит... Бояться не нужно!..

Церкви будут, но ходить христианину православному в них нельзя будет, так как там не будет приноситься Бескровная Жертва Иисуса Христа, а там будет все «сатанинское» сборище...

И вот за это беззаконие земля перестанет родить, от бездождия вся потрескается, даст такие щели, что человек может упасть в них.

Христиан будут умерщвлять или ссылать в пустынные места. Но Господь будет помогать и питать Своих последователей. Евреев также будут сгонять в одно место. Некоторые евреи, которые истинно жили по закону Моисея, не примут печать Антихриста. Они будут выжидать, присматриваться к его действиям. Они знают, что их предки не признали Христа за Мессию, но и здесь так Бог даст, что глаза их откроются, и они не примут печати сатаны, а признают Христа и будут царствовать со Христом.

А весь слабый народ пойдет за сатаной, и когда земля не даст урожая, люди придут к нему с просьбой дать хлеба, а он ответит: «Земля не родит хлеба. Я ничего не могу сделать».

Воды также не будет, все реки и озера высохнут. Это бедствие будет длиться три с половиной года. Но ради избранных Своих Господь сократит те дни. В те дни еще будут сильные борцы, столпы православия, которые будут под сильным воздействием сердечной Иисусовой молитвы. И Господь будет покрывать их Своей всемогущей благодатью, и они не будут видеть тех ложных знамений, которые будут приготовлены для всех людей.

Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, и благодати в них не будет».

Одна сестра, слушая эту беседу, спросила: «Как быть? Не хотелось бы дожить до этого времени». «А ты молодая, можешь дожить», — сказал старец. «А как страшно!» — воскликнула сестра. «А вот ты и выбирай одно из двух — или земное, или небесное».

«Будет война, — продолжал батюшка, — и где она пройдет, там людей не будет. А перед этим Господь слабым людям пошлет небольшие болезни, и они умрут. А при Антихристе смерти не будет».

И война третья Всемирная уже будет не для покаяния, а для истребления. Сестра спросила: «Так это все погибли?» «Нет, если верующие и омоются кровью, то причтутся к числу мучеников, а если не верующие, то пойдут во ад», — ответил батюшка. И пока не восполнится число отпавших Ангелов, Господь не придет судить.

Но в последнее время Господь и живых, записанных в книгу Жизни, причислит к числу Ангелов недостающего счета, «отпавших».

«Ремонты храмов будут продолжаться до самого пришествия Антихриста и везде будет благолепие небывалое, — говорил батюшка. — А вы для нашей церкви в ремонте будьте умеренны, в ее наружном виде. Больше молитесь, ходите в церковь, пока есть возможность, особенно на Литургию, на которой приносится Бескровная Жертва за грехи всего мира. Почаще исповедовайтесь и причащайтесь Тела и Крови Христовой, и вас Господь укрепит».

«Господь милостивый. Он тех евреев, которые откажутся принять печать Антихриста, а воскликнут, что это обман, а не наш «мессия», — спасет».

Отец АНТОНИЙ[5] (Великобритания, 1991): «...Вот мы уже и достигли того времени, когда имеем не только право, но и обязанность сказать, что мы живем в последние времена. Ибо уже в 1962 году президентом и создателем государства Израиль Бен Гурионом официально было объявлено, что родился «Мессиах» (Мессия), которого «ждет все человечество». При иудейском обрезании ему было наречено имя «Еммануил», «по писаниям», и что родной отец назвал его «Мелехом» (царем сионской крови). «По пророчествам» этот «Еммануил» или «Мелех» объединит все человечество в одной религии.

Таким образом, «тайна беззакония» становится явью. И программа будущего «всемирного царя сионской крови» уже намечена.

Он будет создавать единую религию для всего человечества. И кто не примет ее — будет уничтожен. Ясно, что эта религия будет без Господа Иисуса Христа, и те, кто останутся верными Христу, будут подлежать уничтожению.

Этот лжемессия, видимо, начнет свою деятельность в международной Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Он быстро завоюет восторженные симпатии всего мира благодаря своей «человеколюбивой» деятельности [6]. А став «единым царем» над единым человечеством, он станет «Зверем», «человеком греха», «сыном погибели» (2 Фес. 2, 3; 2, 7—12).

Подготовка уже завершена. Все начнется с удаления денег, ныне действую-

---

[5] Письмо о. Антония, по происхождению донского казака, с послевоенных пор живущего в Англии, направленное им в Москву, в Центр ноосферной защиты имени Н. Д. Зелинского, любезно предоставлено ученым секретарем Центра Ю. Г. Шишиной.

[6] Западный религиозный философ Бенджамин Крим так представляет себе приход Антихриста: «Всемирный учитель объявит себя публично в назначенный день. Не думайте, что он придет как духовный наставник или религиозный руководитель. Он явится как мессия нашего времени; будет выступать по телевидению, и люди всех наций и племен будут иметь возможность видеть и слышать его — каждый на своем языке... Он будет признан всеми нациями и народами, потому что будет способен разрешить все проблемы общества и вывести человечество из мирового кризиса. Он будет человеком современных идей, заинтересованным в практическом разрешении проблем экономического и социального порядка. Каждая религия мира признает его своим избавителем. Для евреев он будет Мессией, для «христи-

щих во всем мире, и замены их «электронными деньгами» [7]. Единственным документом будет электронная печать на лбу или на правой руке. Уже построен гигантский компьютер в Бельгии, в котором хранятся сведения о каждом человеке в мире. И этот компьютер так и назвали — «Зверь» [8]. Число «666» уже введено в жизнь. Главные фирмы, производящие в Америке оружие, имеют этот номер: «666». Все автобусы и легковые машины в Израиле имеют это число... И т. д. [9].

Иными словами, все подготовлено к принятию антихриста, и вот он уже объявлен. Пришествие его, если Господь не помилует человечество, намечено «тайной беззакония» на 1992 год, когда ему будет 30 лет.

Америка готовится встречать его. И даже Понтификальная Комиссия при Ватикане приглашает всех католиков «встречать» мессию вместе с иудеями. Я не успел спросить, слышно ли обо всем этом в Москве?»

Преподобный СЕРАФИМ САРОВСКИЙ: «Мне, ваше Боголюбие, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста лет (преподобный жил 73 года, 5 месяцев и один день.—С. Ф.). Но как к тому времени архиереи так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что главнейшему догмату веры Христовой и веровать уже не будут: то Господу Богу благоугодно взять меня, убогого Серафима, до времени от сея привременной жизни и по сем воскресить, и воскресение мое будет, аки воскресение седми отроков в пещере Охлонской во дни Феодосия Юнейшего».

«Открыв мне, — пишет далее «служка» преподобного Н. А. Мотовилов, — сию великую и страшную тайну, великий старец поведал мне, что по воскресении своем он из Сарова перейдет в Дивеев и там откроет проповедь всемирного покаяния. На проповедь же ту, паче же на чудо воскресения, соберется народу великое множество со всех концов земли. Дивеев станет Лаврой, Вертьяново — городом, а Арзамас — губернией. И проповедуя в Дивееве покаяние, батюшка Серафим откроет в нем четверо мощей, и, по открытии их, сам между ними ляжет. И тогда вскоре настанет и конец всему».

Преподобный СЕРАФИМ САРОВСКИЙ: «—У вас (в Дивееве) канавку вырыть надо! Три аршина чтобы было глубины и три аршина ширины и три же аршина вышины, воры-то и не пролезут! — На что, говорю, батюшка, нам ограда бы лучше. — Глупая, глупая! — говорит.— На что канавку? Когда век-то кончится, сначала Антихрист с храмов кресты начнет снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит. А к вашему-то подойдет, подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба — ему и нельзя к вам взойти-то. Нигде не допустит канавка, так прочь и уйдет!..

Потому она так вырыта, что это самая тропа, где прошла Царица Небесная, взяв в удел Себе обитель. Тут стопочки Царицы Небесной прошли!.. Она, Матерь-то Божия, все это место обошла... Кто канавку с молитвой пройдет да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!»

«Вот скажу тебе, — говорил батюшка Серафим монахине Евпраксии, — будет у вас два собора; первый-то собор холодный; куда лучше будет Саровского-то, и будут они нам завидовать! А второй-то собор, зимний Казанский <...> И скажу тебе, вельми хорош будет мой собор, но все-таки не тот этот дивный собор, что к концу-то века будет у вас. Тот, матушка, на диво будет собор! Подойдет Антихрист-то, а он весь на воздух и поднимется, и не сможет он взять его. Достойные, которые взойдут в него, останутся в нем, а другие хотя и взойдут, но будут падать на землю. Так и не сможет достать вас Антихрист-то... Так вот, и собор ваш, и канавка поднимутся тоже до неба и защитят вас, и не сможет ничего вам сделать Антихрист! И при том соборе время придет такое у вас, матушка, что Ангелы не будут поспевать принимать души, а вас всех Господь сохранит...»

Собрал С. ФОМИН

ан» — Христом, для буддистов — Буддой... Его целью будет — ввести человечество в новую эру социально-экономического строя».

[7] В Библейском справочнике теолога Адама Кларка (1398) сказано: «Число зверя будет состоять из 18 чисел: 6+6+6». На основании именно этой системы чисел создана международная кредитная карточка, первые три цифры которой (международный код) — 666. Из западных публикаций известно, что карточки эти, уже приготовленные, будут выдаваться «одним центральным учреждением», штаб-квартира которого расположена в Брюсселе.

[8] Всемирный контроль можно осуществить, лишь зарегистрировав каждого человека при помощи компьютера. Работник Конференции Общего рынка в Брюсселе Г. Эльдеман заявил в феврале 1975 г., что уже разработан план компьютерной системы, которая выведет мир из создавшегося хаоса. В начале 1974 г. доктор Эльдеман официально открыл «ЗВЕРЯ» — гигантский компьютер, занимающий три этажа в 13-этажном здании, построенном в виде креста. Таким образом, «имя» компьютера сходится со зверем, о котором пишет ап. Иоанн в Откровении. Интересно, что число международного компьютерного кода — 666 — совпадает с числом зверя в Откровении.

[9] Число «666» сегодня можно встретить на карточках австралийского банка и американской «Селектив Сервис», на некоторых изделиях фирмы «Армстронг», на обуви, выпущенной в странах Общего рынка, на форме Государственного налогового отделения (IRS) и значках работников отдела алкоголя, табака и огнестрельного оружия. Эти цифры несут на себе центральные компьютеры «Сирс», «Белка», «Джей-си-Пенни» и др., документы американской секретной службы безопасности при президенте Картере, танки фирмы «Крайслер», построенные в годы правления того же президента. С числа «666» начинаются номера новых кредитных карточек США, а также номера автомобилей, выданных арабам в Иерусалиме. Небезынтересно, что обозначенное знаками еврейского алфавита греческое слово «ЗВЕРЬ» в своей сумме составляет 666.

Ю. БОРОДАЙ

ТРЕТИЙ ПУТЬ

Все богохульные умы,
Все богомерзские народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы.

Ф. И. Тютчев.

1. СОЦИАЛИЗМ ИЛИ КАПИТАЛИЗМ — КАКАЯ УДАВКА ЛУЧШЕ?

Невозможно подвигнуть народ на совместные действия, ведущие к исторически значимым результатам, без заманчивой крупной цели, пусть хотя бы и иллюзорной, ложной. В начале XX века это хорошо понимали российские «передовые люди». Среди них было множество добросовестно заблуждавшихся честолюбцев — и свихнувшихся от зубрежки социалистических катехизисов недоучек, и вполне респектабельных либеральных профессоров, и даже, можно сказать, «мировых умов», таких, как Бердяй Булгакович Струве, которые тоже ведь начинали с проповеди самого модного тогда западного вероучения — с марксизма. Разумеется, были и просто жулики, раздувающие пожар ради поживы. Но к политическому успеху все они пробивали дорогу посредством рекламы умозрительных импортных схем всеобщего благоустройства — ослепительной перспективы всенародного и, еще лучше того, всемирного счастья, ради которого стоит и пострадать. Даже и умереть!

Все началось с поругания отечественных святынь, с ярмарки привозных идеалов. В этом рекламном бизнесе верх неизбежно должны были одержать наиболее радикальные и беззастенчивые политические дельцы — профессиональные рыночные зазывалы. В истерической атмосфере революционного балагана, когда масса людей начинает дуреть от пестроты ярких лозунгов, вдруг обнаруживается: чем наглее ложь, тем она эффективнее. Доморощенные бердяи, столкнувшись с такой ситуацией, просто были вынуждены отступиться от «прогрессивных» идей и поменять вехи. Под напором жулья отступались и либеральные профессора, вставшие было в позу дантонов, тушевались даже нахрапистые всеядные адвокаты. Но все они сделали свое дело — подготовили катаклизм идейно. В начале века народ заманивали в яму «идеалами».

Теперь позади нас больше семидесяти лет свирепых расправ, мучительных унижений и каторжного труда ради светлого будущего. И разбитое корыто, измалеванное опостылевшими лозунгами. Красный бес одряхлел, он спешит перекраситься в желтого дьявола, перестроиться из комиссара в капиталиста. Это чревато новыми потрясениями: похоже, на русскую землю опять грядет революция, не менее опустошительная, чем в начале века, с междоусобной гражданской резней и кровавыми подвигами разномастных петлюр. А во главе революции, как и в начале века, присяжные поводыри с заемными импортными рецептами.

Но вот парадокс; по сравнению с многоцветной ярмаркой идеалов начала XX века очень беден нынче плакатный рынок. Самые пылкие прогрессисты не считают нужным теперь рисовать близкие перспективы всенародного праздника. Не обещают его даже через «пятьсот» дней, после того как дорвутся до полной власти. Напротив, заранее предупреждают: ничего всенародного больше не будет — ни собственности, ни идеалов. Впредь никакой уравниловки. Никогда! Кое-кто, разумеется, будет праздновать. Но большинству — тачку в руки или, в лучшем случае, пособие по безработице. Странно! Разве можно так заманить народ? Или в этом отпала надобность? Почему? Потому что за семьдесят лет народ умер? Именно эту мысль и внушает вся прогрессивная пресса, и, похоже, сегодня это массированное внушение стало главным секретным оружием перестройщиков. Ежедневно крупным планом показывают по телевизору и доказывают в газетах одно и то же: нет в России больше народа как органической целостности; есть в Молдове, в Эстонии, Грузии, Азербайджане, а в России нет — осталось быдло. Ну, а с быдлом ведь можно не церемониться... Наши присяжные энтузиасты прогресса, семьдесят лет выступавшие монолитным коммунистическим блоком, раскололись на радикалов и либералов, желтых, красных и полосатых. Но никто не сулит больше пряников, все как по команде вдруг обнажили хищный оскал.

Раскололись поводыри на множество группировок, но при этом опять, как в начале века, оставляют на выбор толпе только два трафаретных пути. Правда, теперь уже безо всяких рекламных затей: пойдешь одним — опять загоним всех в лагеря, закрутим гайки, заставим радость изображать на лице по команде; пойдешь другим — будем лечить шоком — врежем дубиной по голове, потом поглядим, что из этого выйдет...

Две путеводные звезды ведут «избранников божьих» к конечной цели — господству касты над обезличенным человеческим стадом. Красная пентаграмма — звезда Соломона, желтый шестиугольник — Давида. В век просвещения, наступивший в Европе после кровавой резни Реформации, наследники тайной ветхозаветной мудрости, ученые протестанты, сумели придать двум астрально-мистическим направлениям древневосточной религии характер научно-рациональных доктрин, указывающих два различных возможных пути к социально-экономическому прогрессу. Все, что оказывалось вне рамок этих внешне противоборствующих доктрин, объявлялось ретроградным мракобесием. В статье «Почему православным не годится протестантский капитализм» («НС», 1990 № 10) я вслед за Максом Вебером попытался раскрыть протестантско-иудаистские корни западной буржуазной частнопредпринимательской идеологии. Однако можно легко доказать, что и импортированная нами с Запада другая — социалистическая доктрина, посредством которой была опрокинута и распята Россия, выросла все из того же глубоко чуждого христианству, и особенно православию, религиозного корня. В Европе XV — XVIII веков почти все теоретические прожекты и практические попытки организации коммунистического общежития с общностью жен и имущества под деспотическим руководством узкой касты духовных наставников были делом рук протестантских сект[1]. Только с Маркса социализм превращается в последовательно атеистическую доктрину со «строго научной» идеологией.

Капитализм и социализм—это два разных способа порабощения малым народом обезличенного большинства, превращенного в быдло: порабощения косвенного, через свободный рынок[2], и непосредственного, прямого, лагерного — через госплан и чека. Эти две вековые идеи господства, как два разных лица у двуликого Януса. Существо у обеих одно: превращение человека, лишенного всех родовых, общинных, национальных корней, в голую единицу абстрактной рабочей силы (наподобие римских рабов, выращенных в инкубаторах) и соответственно большинства людей в «трудовой ресурс» наряду с другими ресурсами, т. е. и нечто подобное углю или руде. Процесс тотального обезличивания начался в Европе с капитализма и завершиться должен социализмом. Россия просто немножечко забежала вперед.

Казалось бы, что преградой на желто-красном пути народной аннигиляции должен был стать национально-этнический фактор. Но и современные националистические движения, разжигаемые прогрессистами с целью подрыва «реакционных» имперских центров, не спасают народы от разложения. Наоборот, ускоряют его. Поскольку эти движения, как правило, принимают на вооружение заемные буржуазно-социалистические идеалы, то и действуют в направлении общего «прогрессивного» вектора — космополитического обезличивания масс, то есть ведут к результатам, прямо противоположным прокламируемым целям. В России на этот парадоксальный закон развития современного национализма еще в конце XIX века обращал внимание Константин Леонтьев. Например, в статье «Национальная политика как орудие всемирной революции» он констатировал: «Ясно вот что: **«Движение современного политического национализма есть не что иное, как видоизмененное только в приемах распространение космополитической демократизации»**. У многих вождей и участников этих движений XIX века цели действительно были национальные, обособляющие, иногда даже культурно-своеобразные, но результат до сих пор был у всех и везде один — космополитический. Почему это так, не берусь еще сообразить...» («НС», 1990, № 7, с. 156).

Я, грешник, думаю: это так потому, что во всех регионах, включенных в систему западной экономики, основанной на отчужденном наемном труде, даже самый крайний национализм стал вовлекаться ходом вещей в русло так называемого «прогресса». В XIX веке политический национализм выступал под флагом буржуазно-демократического возрождения, что приводило на практике к торжеству чистогана, уничтожающего всякое личностное своеобразие. Но к то-

[1] Подробно о протестантских корнях европейского социализма см. в кн. И. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории».

[2] Еще на заре Реформации суть желтого способа порабощения масс хорошо выражал Мартин Лютер. Обличая самых ярых тогда поборников «прав человека» и свободы предпринимательства — городских коммерсантов-ростовщиков, предпочитавших патриотичному лютеранству космополитичный протестантизм современника Лютера Цвингли (позже Кальвина), Лютер писал «Какусом называется злодей, набожный ростовщик, который ворует, грабит и пожирает все. И все-таки он как будто ничего не делает дурного; он думает, что даже никто не может обличить его, ибо **он тащил быков задом наперед в свое логовище, отчего по их следам казалось, будто они были выпущены**. Таким же образом ростовщик хотел бы обмануть весь свет».

БОРОДАЙ Юрий Мефодиевич родился в 1933 году в Ташкенте. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор книг «Принципы историзма в познании социальных явлений», «Воображение и теория познания» и других, а также ряда статей. Работает в Институте философии АН СССР. Живет в Москве.

му же самому результату — тотальному обезличиванию — в XX веке ведет и фашизм. Таким образом обнаруживается, что даже крайний национализм не спасает народы от прогрессивного паралича. Фашизм — это просто вывих, ведущий к космополитической деградации масс окольным путем — через социалистическую унификацию в форме воинствующего нацизма. Выбор двух путей, адекватных «подлинному» прогрессу, — это либо капитализм, либо интерсоциализм.

Таковы две идеи прогресса, которые нам, россиянам, опять и опять предлагают на выбор. А как утверждал, вопреки всем другим своим постулатам, наш великий учитель, ниспровергатель идеализма Маркс, «идеи становятся материальной силой»... Он был прав, в конце концов материализовались обе: сначала одна «у них» — желтая, потом и другая «у нас» — красная, правда, без обобществления жен и с неполным охватом новорожденных казенными инкубаторами, что, конечно, является крупной недоработкой наших материализаторов. Но и с этим изъяном на одной половине двухцветной фигуры мы теперь в отличие от отцов и дедов своих, увидевших в феврале семнадцатого натуральное воплощение лишь одной из передовых идей и поэтому опрометчиво допустивших Октябрь, — мы теперь имеем редкостную возможность созерцать сразу оба реальных лица прогресса. Можем сравнивать и оценивать, какое из них краше. Правда, оценки во многом зависят от месторасположения наблюдателя[3] и от текущей политики международного синдиката средств массовой информации, задающей моду сезона на идеалы. Мода меняется. Факт: все самые славные западные передовые люди от Барбюса и Шоу до Сартра и Робсона так же восторженно рукоплескали нашим великим свершениям 20 — 50-х годов, как наши энтузиасты принудительного обобществления, сменив вехи, теперь с ликованием пресмыкаются перед частной западной колбасой.

Мода внезапно сменилась на наших глазах, но, я думаю, дело тут вовсе не в переоценке социализма так такового. Ведь в 20 — 30-х годах советский интерсоциализм демонстрировал миру неизмеримо более свирепое лицо, чем в наши дни, и это вовсе не смущало светочей прогресса, даже таких, как великий Эйнштейн. Другое дело, что начиная с Великой Отечественной войны на задорном румянце интерсоциализма в СССР стал проскальзывать легонький «русско-имперский» оттенок. А это уже принципиально противоречит прогрессу, что хорошо понимают интеллигентные люди всего просвещенного мира — и коротичи, и безансоны, ибо известно: «Россия — империя зла». Если в стране пробилась тенденция к возрождению национального государства, значит, снова надо его взрывать революцией, снова срочно обдумывать планы его расчленения[4]. Вот почему и сейчас опять создается у нас ситуация, как в начале века: «План был: собрать под единое руководство все возможности, все силы и все средства, вести из единого штаба — действия центральных держав (читай сейчас: НАТО. — Ю. Б.), русских революционеров и окраинных народностей. (Он знал этого быка — но и обух достойный готовил ему.) Никаких разрозненных частных импровизаций. План убеждал настойчиво, что никакая германская (читай сейчас: американская. — Ю. Б.) победа не окончательна без революции и России: неразрезанная Россия остается неугасающей постоянной угрозой. Но и никакая отдельная сила не может разрушить русскую крепость, а только единонаправленный их союз: совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской (читай сейчас: западной. — Ю. Б.) денежной и материальной поддержке... Пропаганда будет вестись и всей левой прессой в России и поддержится потоком пораженческих эмигрантских листовок (их печатание нетрудно развернуть, например, в Швейцарии). Будет полезна всякая публикация, которая ослабляет волю к сопротивлению у русских... Острие пропаганды будет направлено на действующую армию... И централизованная Россия—рухнет навсегда!.. Сотрясши Россию разрушительной пропагандой изнутри — обложить ее и извне враждебностью мировой прессы!.. Газетный крестовый поход...»[5] и т. д.

Все это у нас уже было. И никого ничему не научило? В начале века «левые силы» завлекали в яму одураченных россиян космическим блеском красной звезды. Теперь — запахом демократической колбасы? Слабо... Тем более что в обозримом будущем даже для большинства столичных конторских трудящихся приличная колбаса станет столь же недосягаемой, как и звезды. Это начинают соображать толпы горячих поклонников Собчака и Попова — времени для раздумий в километровой очереди за постным маслом хватает.

Нет, дело не в принципиальной переоценке международным кланом передовых людей социализма как прогрессивного идеала. Там, за бугром, они все-таки тянут свой зажиревший капитализм к госплану — через монополизацию, устраняющую предприимчивость, через все более жесткую регламентацию наемного труда и неумолимую стандартизацию всех сфер и форм социально-культурной жизни разноплеменных масс. План эво-

[3] В этом плане весьма показательны две книги чрезвычайно острого наблюдателя Ивана Солоневича — «Россия в концлагере» и «Народная монархия». В первой дана выпуклая картина «социалистического кабака», а также первые светлые впечатления от закордонного буржуазного рая. Во второй обобщен многосторонний опыт реальной жизни в западном буржуазном аду.

[4] Наиболее ярко этот тезис в 70-х годах обосновывал в своих политических выступлениях и научных трудах бывший помощник Президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

[5] Александр Солженицын. Красное Колесо. Октябрь Шестнадцатого. «Наш современник». 1990. № 9. с. 74—75.

люции западных стран к тоталитарному строю всесторонне теоретически обоснован, и если не слишком быстро вводится в действие, то на то есть свои причины.

Концепцию тоталитарного строя придумали не фашисты — они воспользовались чужим добром! Первым термин «тоталитарное государство» (в положительном смысле — как идеал) запустил в оборот один из крупнейших экономистов и теоретиков западной социал-демократии, министр финансов Второго Германского Рейха (1928 — 1929 гг.) Рудольф Гильфердинг[6]. Его теорию так называемого «организованного капитализма» имеет смысл хотя бы коротко осветить, поскольку она по сей день служит источником наиболее «прогрессивных» веяний в современной социально-экономической мысли Запада, на которую ориентируются и наши передовые политики.

Схема Гильфердинга проста. Он исходит из констатации факта непримиримой борьбы «анархичных» промышленных предпринимателей, как правило, местных, и международно организованного финансового капитала. Или, как более прямолинейно выражался венский соратник Гильфердинга Отто Бауэр, при построении социально-экономических прогнозов исходить надо из «противоположности интересов между еврейским торгово-ростовщическим и христианским промышленным капиталами»[7].

Прогноз для всех индустриальных стран — неизбежность победы космополитичного финансового капитала над «местноограниченным» промышленным. Именно этой победе призваны способствовать социалисты и левые радикалы, провоцирующие «когда надо» кризисы, стачки и социальные потрясения, которые разоряют промышленников и резко повышают спрос на банковский кредит, усиливая финансистов. Например, в России в период революционного хаоса 1905 — 1906 годов прибыль коммерческих банков увеличилась больше чем вдвое. Похожая ситуация складывалась и на Западе в период великой депрессии 1929 года. К чему это все ведет? Гильфердинг пишет: «Финансовый капитал в его завершении — это высшая ступень полноты экономической и политической власти, сосредоточенной в руках капиталистической олигархии» (Р. Гильфердинг. Финансовый капитал, М.-Л., 1959, с. 478). Что же касается социализма, то это будет просто смена фасада, т. е. парламентская победа социал-демократии, которая «примыкает к концентрации экономической власти в руках немногих магнатов капитала или союзов магнатов и к их господству над государственной властью» (там же).

Гильфердинг очень подробно анализирует процесс образования монополий, ведущая роль в которых принадлежит финансистам. Уже простой переход к акционерной форме подрывает позиции промышленного предпринимателя: поскольку тот теряет функцию непосредственного организатора производства, а его капитал в форме акций, которые теперь свободно продаются на особом рынке — фондовой бирже — приобретает характер капитала чисто денежного. Доход от ценных бумаг постепенно сводится к общему уровню процента, а предпринимательский доход ушедшего на покой промышленника превращается в учредительную прибыль, которая теперь присваивается банкирами, поскольку учредительство акционерных обществ становится делом крупных банковских консорциумов. Место предпринимателей эпохи делового риска, технологической инициативы и свободной конкуренции занимает иерархия наемных управляющих, точно таких же, как служащие государственных отраслей. Результат: неуклонное уменьшение объема продукции относительно мелких самостоятельных предприятий, хотя именно в их рамках чаще всего изобретаются и получают путевку в жизнь принципиально новые оригинальные технологии — около 40 процентов в современных США, и это при том, что на долю 600 крупнейших компаний в 80-х годах приходилось 99 процентов всех затрат на научно-исследовательские и конструкторские работы (см.: Американский капитализм в 80-е годы, М., 1986, с. 173).

Впрочем, отрицательные последствия монополизации Гильфердинга волновали мало. Для него этот процесс — абсолютное благо; свою задачу он видел в научной оценке различных рецептов его ускорения. Так, он подробно исследует способы роста фиктивного капитала и технику манипулирования чужими средствами (в его классическом примере капитал в 5 млн. фактически распоряжается 39 млн.; современная практика шагнула дальше). Финансовая техника, которую рекомендует Гильфердинг, включает подробное описание операций, стоящих на грани жульнических махинаций: «разводнение» капитала, деление акций на обыкновенные и привилегированные, система «участия» — создание цепи зависящих друг от друга обществ и, наконец, просто разного типа «Панамы». Конечно, для современных солидных западных деловых людей все это стало давно банальной рутиной, можно сказать, днем вчерашним. Но начинающим нашим менеджерам, наверное, стоило бы изучить классика, хорошо показавшего, как на почве широкомасштабной коммерции вырастает руководящая элита — складывающаяся в «личную унию» группа финансовых магов, которая, опираясь на концентрированную мощь находящихся под их контролем чужих средств, захватывает рычаги управления в банках, промышленных фирмах и в государственном аппарате, начиная организовывать всю жизнь общества по единому, им только

[6] Р. Гильфердинг (1877—1941) родился в Вене в набожной еврейской семье коммерсантов. До 1906 г. ведущий теоретик австромарксизма. Затем переехал в Германию, где быстро сделал политическую карьеру. После захвата власти нацистами бежал во Францию, но был выкраден оттуда агентами гестапо и трагически погиб в тюрьме.

[7] О. Бауэр. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб. 1909. с. 382.

ведомому плану. По мнению Гильфердинга, экономическая анархия, порождаемая свободной конкуренцией, со временем и на Западе будет полностью вытеснена монополией, которая сможет планировать все многообразие и объем производства во всех отраслях, произвольно устанавливая цены на продукцию. При этом «цена перестает быть объективно определенной величиной. Она становится счетной величиной, устанавливаемой волей и сознанием человека» (Финансовый капитал, с. 304). Это и будет тот плановый рай, из которого нам предлагают теперь... бежать? Для чего? Чтобы вместе с Западом вновь постепенно в него возвращаться, но уже правильными путями, — не по Сталину?

Гильфердинг констатирует, что по мере роста организованности экономики во всех западных странах чрезвычайно усиливается роль государства, поскольку «финансовый капитал становится носителем идеи усиления государственной власти всеми средствами» (там же. с. 428). Гильфердинг поясняет: «Финансовый капитал хочет не свободы, а господства. Он не видит смысла в самостоятельности индивидуального капиталиста и требует ограничения последнего. Он с отвращением относится к анархии конкуренции и стремится к организации» (там же, с. 432). В связи с этим на повестку дня ставится проблема переоценки такого важнейшего для интеллигентных людей понятия, как «либерализм».

В самом деле. По своим тенденциям современный финансовый капитал явно не либерален. Но — «прогрессивен». Как же теперь надо передовым людям относиться к самой идее либерализма?

Гильфердинг предлагает такое решение. Либерализм — это идеология молодого бесправного капитализма, идеология деловых людей, пробивающихся к господству. Раньше в Европе либерализм был прогрессивен, поскольку был нацелен против реакционной власти. «Либерализм был противником государственной политики силы, он хотел обезопасить свое господство от старых сил аристократии и бюрократии, предоставляя им средства государственной власти в минимальном объеме» (там же, с. 433). Таким образом, либеральные движения, научно-идеологическим выражением которых были английская классическая политэкономия и французский рационализм, расчищали путь становлению буржуазного строя. Однако с наступлением новейшей фазы в его развитии эти движения утрачивают всякое значение, поскольку либерализм оказывается несовместимым с тенденцией к тотальной организации и жесткой регламентации всей общественной жизни. «Победа либерализма, — писал Гильфердинг, — означала прежде всего огромное уменьшение силы государственной власти. Экономическая жизнь, по крайней мере, в принципе должна была быть совершенно освобождена от государственного регулирования, а политически государство должно было ограничиться надзором за безопасностью и установлением гражданского равенства. Таким образом, либерализм действовал чисто отрицательно... Он находится в противоречии...» и т. д. (там же, с. 430). Противоречие действительно неразрешимое — современный финансовый капитал не противостоит государственной власти, но органично срашивается с нею, стремясь к тотальному господству.

Вот так — век живи, век учись. Боюсь, и наши новоявленные «либералы» либеральны, лишь пока дерутся за власть с «консерваторами». Потом они быстро «переоценят ценности». Что же касается Гильфердинга, то в своей последней работе «Исторические проблемы» признанный лидер западной социал-демократии того времени, говоря о будущем социально-экономическом строе, обозначил его термином «тоталитарное государство». Все страны западного мира неуклонно идут к осуществлению этого идеала прогресса. И все дело, по мнению Гильфердинга, упирается лишь в один вопрос: кто будет руководить тоталитарными государствами — «свои» или «чужие»? Интеркапиталисты вместе с интерсоциалистами или нацисты? — вот из-за чего тогда шла подлинная борьба, переросшая во вторую мировую войну.

Основания для рекламы путей к тоталитарной организации капитализма, перерастающего в социализм, имелись у прогрессистов достаточно веские. Факт: только на стадии зрелого капитализма, готового к переходу в иное качество, Западу удалось изжить массовый пауперизм — неотъемлемую черту эпохи первоначального накопления, анархичного рынка и конкуренции всех со всеми. Но светлые идеалы всесторонне планируемого и регулируемого благоустройства с изобилием колбасы пришлось перекрашивать в черный цвет, поскольку идею тотальной организации перехватили и воплотили в жизнь нацисты. И в Италии, и в Германии они сумели с помощью этого рычага быстро справиться с послевоенной разрухой, инфляцией и безработицей, поднять уровень жизни среднего обывателя и, вооружаясь, распространяясь, становились смертельной угрозой для мирового господства явных космополитов — международной финансовой олигархии. С другой стороны, и в СССР к рычагам грандиозной красной тоталитарной машины — гордости прогрессивного человечества! — потянулись «черные» руки. Чтобы успешно бороться с коричневыми враждебными пятнами, проступающими на желто-красном фоне тоталитарного идеала, передовым людям пришлось приглушить рекламу окончательного благоустройства людей через всемирный госплан и оттачивать вновь заржавевшее было оружие — либерализм.

Впрочем, я думаю, что вселенская реанимация либерализма, которую мы удостоились наблюдать, — это лишь временное отступление «носителей света» (букв. люцифер. — *лат.*) с магистральной дороги прогресса к тоталитарному государству. Сегодня на Западе либерализм — это уже в основном товар экспортный, предназначенный для подрыва чужой

власти в непокорных странах. При поддержке всех западных средств массовой информации идеи либерализма теперь запущены в оборот у нас перелицованными комиссарами как оружие против «реакционной» власти «имперского шовинизма». Смысл оглушительной либеральной кампании не скрывается: вся полнота власти снова должна быть у прогрессистов — если не красных, то желтых. Только выбор расцветки милостиво преподносится оглушенным пропагандой людям в качестве социально-экономической альтернативы: либо интерсоциализм, либо интеркапитализм, власть все равно будет в «наших» руках, — выбирай[8].

И обезумевшие обыватели делают выбор между удавкой и обухом. Большинство выбирает капитализм. Это неудивительно: слишком много кровоподтеков образовалось за семьдесят лет — саднят. Хотя уже понимают многие, что с точки зрения общедоступности колбасы в желтом раю будет, пожалуй, хуже, чем в красном. Ведь двигать придется нам в капитализм совсем не такой, как в современной Америке, но — в эпоху первоначального накопления. Курс туда задан лукавым словечком «приватизация». В переводе на русский язык это значит: опять, как в семнадцатом, грабь награбленное — только теперь не частное, а казенное, государственное имущество. Кто сумеет его захапать? Разумеется, тот, кто ближе к нему стоит, — наши старые красные жулики при поддержке новой желтой «демократической» власти. Не «за так» и поддержка — образуется новая «личная уния», как выражался Рудольф Гильфердинг. Всем остальным, как и прежде, в поденщики, или хуже того — в безработные. И без массовых сильных побоев опять-таки не обойтись никак.

Уже сегодня даже самые розовые либералы наши начинают грезить о «сильной руке». И вполне логично. Это ведь сколько колючей проволоки либералам надо загодя запасти на тот час, когда после приватизации миллионы голодных лишенцев выйдут на улицы. Безобразничать станут — надо будет их как-то укротить...

2. КАКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ НАМ СУЛИТ ЗАПАД?

Как наладить массовое производство высококачественных и дешевых товаров? Через семьдесят лет опустошительного экспериментаторства мы опять поставлены перед задачей агропромышленной модернизации. С чего ее начинать? Снова с «первоначального накопления», то есть с массового ограбления народа? — теперь уже не посредством принудительных мер, но сочетания их с не менее беспощадным рыночным механизмом? Ведь и на Западе индустриальная модернизация отнюдь не явилась плодом чисто рыночных отношений. Там применялось свое протестантское сочетание разных средств: рабсилу на первые фабрики в Англии пришлось загонять не только экономически — голодом, но также и поркой, и виселицами.

Если мы хотим западных результатов, то придется и нам, как когда-то в Англии (сегодняшних Бангладеш, Египте), начинать с аксиоматики классической политической экономии, согласно которой стоимость рабсилы должна быть равна цене минимальных издержек на ее простое физическое воспроизводство (не более!), а длина рабочего дня — 24 часа в сутки минус время, абсолютно необходимое для восстановления сил[9]. Не забудем: на английских фабриках еще в XIX веке рабочий день состоял из 14—16 часов, а в разгар промышленной революции доходил и до 18. Я не буду ссылаться на социалистических авторов, поскольку они, как утверждают нынешние либералы, в интересах своей утопии «оклеветали» капитализм. За фактами обратиться можно и к объективным исследователям, таким, как А. Тойнби или П. Манту. Вот, например, что пишет последний: «рабочий день не имел другой границы, кроме полного истощения сил: он длился от 14—16 и до 18 часов... Своей смесью развращенности и страдания, варварства и отверженности фабрика являла собою для пуританского сознания точную копию ада» [10].

Стоит заметить и то, что эпоха промышленной революции в Англии стала временем самой напыщенной и трескучей парламентской демагогии о правах и свободе личности вообще и о благодетельности ничем не стесненной предпринимательской деятельности особенно. Парламентским диссидентам было за что

[8] Гипотетическая картина такой окончательно реализованной «альтернативы» была представлена Оруэллом в знаменитой антиутопии «1984»: весь мир разделился на враждебные тоталитарные супердержавы, разные по словесному оформлению идеологий и одинаково жуткие по реальному строю всесторонне регламентированной жизни. Оруэлл хорошо знал свой предмет: активный поборник прогресса, он «переболел» почти всеми формами передовой мысли и еще более передовой политической практики.

[9] Ср. «Капитал» Маркса: «Мы исходим из предположения, что рабочая сила покупается и продается по своей стоимости» (т. 23, с. 242). Какова эта «своя стоимость»? Читаем: «Низшую или минимальную границу стоимости рабочей силы образует стоимость той товарной массы, без ежедневного притока которой носитель рабочей силы — человек — был бы не в состоянии возобновлять свой жизненный процесс, то есть стоимость физически необходимых жизненных средств» (там же, с. 183—184). Что же касается длины рабочего дня — «рабочий день насчитывает полных 24 часа в сутки, за вычетом тех немногих часов отдыха, без которых рабочая сила делается абсолютно негодной к возобновлению своей службы» (там же, с. 247).

Важно подчеркнуть, что свои исходные экономические аксиомы Маркс не выдумал, он их списал у Рикардо и Смита, которые просто фиксировали историческую реальность молодого капитализма. Но историческое в «Капитале» Маркса стало «логическим», то есть «всеобщим законом» прогресса.

[10] П. Манту. Промышленная революция XVIII столетия в Англии. М.-Л., 1925, с. 188—169.

бороться: вплоть до последней четверти XVIII столетия в Англии сохранялись еще «пережитки» средневековой системы регламентации предпринимательства, исходящие из устаревших католических представлений о государстве как учреждении, призванном защищать своих подданных от частного произвола недобросовестных лиц: законодательно устанавливались нормы этики и хозяйственных отношений — предельная высота процента, размер справедливой зарплаты и прибыли, эталоны качества товаров.

Борьбу диссидентов с любыми ограничениями предприимчивости взялся теоретически обосновать Адам Смит, создатель новой науки — классической политической экономии. Только свободная конкуренция различных и откровенно эгоистических интересов, доказывал Адам Смит, способна сама и во всем устанавливать наиболее рациональные нормы человеческих отношений вообще и хозяйственных отношений особенно.

В последней четверти XVIII столетия эгоистические интересы дельцов освободились полностью, результаты не заставили себя ждать. Описывая быт чулочников Лейстера, А. Тойнби[11] отмечал что еще в середине XVIII столетия «каждый из них имел свой коттедж и сад... среднее число рабочих дней в этом производстве равнялось пяти. Рабочий день составлял около 10 часов. Приблизительно одним столетием позже известный чартист Томас Купер... не мог себе представить, чтобы люди, работавшие у станка 16 часов в день (в том же Лейстере. — Ю. Б.), получали столь жалкую плату». А ведь за этот период в результате технической модернизации производительность труда рабочего возросла столь же резко, как упал его жизненный уровень.

Особенно страстно вооруженные Смитом поборники прав в английском парламенте выступали против какой бы то ни было регламентации найма, и в частности против запрета на детский труд. Средневековое мракобесие в детском вопросе тоже было повержено, и на многих английских фабриках (американских тоже) дети в возрасте от 10 до 15 лет стали главной рабочей силой, ибо, как пишет Манту, «слабость детей была гарантией их послушания». На разных фабриках применялись разные методы дисциплинирования. Чаще всего хозяева «довольствовались одной плеткой: правда, ее пускали в ход с утра до ночи... Еще хуже были мастера-надсмотрщики. Один из них, Роберт Вудворт... придумал подвешивать за кисти рук над находящейся в действии машиной, которая своим движением взад и вперед заставляла мальчика поджимать все время ноги; придумал принуждать... работать зимою почти голым, с тяжелыми гирями на плечах, придумал подпиливать зубы... Если жертвы этих жестокостей пытались бежать, то им надевали на ноги кандалы»... и т. д. (П. Манту. Промышленная революция, с. 308). По мере углубления

[11] А. Тойнби Промышленный переворот в Англии. М., 1924.

нравственной деградации масс меняется отношение к своим детям и у самих английских рабочих. Как отмечает Манту, если в начале промышленной революции «рабочие считали позором для отца отдавать ребенка на фабрику; кто покорно соглашался на этот шаг, становился притчей во языцех», то в конце XVIII столетия «малышей ставили на работу, едва они научались ходить и их собственные родители были их самыми безжалостными хозяевами» (там же, с. 306 — 307).

Западный путь к современному изобилию исторически и логически предполагает по меньшей мере два-три века жесточайшей эксплуатации серой скотины, в которую превращает народы молох молодого капитализма, по своей беспощадной безжалостности вполне сопоставимый с лагерным социализмом. Маркс писал: «Историческое назначение капитала будет выполнено тогда, когда... всеобщее трудолюбие благодаря строгой дисциплине капитала, через которую прошли следовавшие друг за другом поколения, разовьется как всеобщее достояние нового поколения (т. 46, ч. 1, с. 280).

В странах, вступивших на западный путь с опозданием, ставших колониями — источниками сырья, Молох капитализма действует с еще большей жестокостью, опуская цену рабсилы ниже минимальной границы ее стоимости, что означает физическое вымирание. Так было в Индии, где англичане насильно вводили земельную частную собственность (системы заминдари и райятвари) с плантаторским способом организации трудовой деятельности батраков, пытались разрушить общинный строй с традиционными формами производства, в результате чего в Бенгалии, например, население лишь одного знаменитого своим искусством города — корпоративно-ремесленной Дакки — со 150 тыс. уменьшилось до 20 тыс. Имея в виду ужасы искусственного внедрения капитализма извне, Маркс писал о «...европейском деспотизме, взращенном британской Ост-Индской компанией на почве азиатского деспотизма, что дает в результате сочетание более чудовищное, чем священные чудовища, которые нас пугают в храме Сальсетты» (т. 9, с. 131). Но, произнося эти ханжеские слова сочувствия бедным индусам, Маркс вместе с тем утверждал всеобщую значимость западной схемы прогресса, главным условием какового является замена всех национально-своеобразных форм человеческих отношений чистоганом и голой экономической рациональностью.

Кстати, своих первых очень скромных успехов Индия начала добиваться лишь со второй половины XX века, став независимой.

Наши энтузиасты прогресса тоже теперь соблазняют нас западными витринами, но при этом старательно затирают тот факт, что современное западное изобилие заработано потом и кровью множества поколений, перетертых в атомарную пыль индустриальной машиной, превращенных в безликую «массу» — фундамент грядущей тоталитарной организации. Встав на западный путь, мы с тоталитарной организации начали, они ею кончат — дивергенция: «Современное индустриальное общество, независимо — в США или в СССР, идет в направлении превращения личности в человека массы... Человек массы — это отдельный атом, схожий с миллионами других атомов, составляющих вместе «толпу одиноких»... Тоталитарные режимы, сознательно старавшиеся воспитать человека массы, систематически разрушали любые общинные связи... перековывали их таким образом, что каждая атомизированная личность оказывалась напрямую связанной с центром власти»[12].

В Октябре 1917-го мы решительно встали на западный путь народной аннигиляции, правда, с другого конца, чем Запад, — начали сразу с социализма. Теперь, для того чтобы через несколько поколений достигнуть такого же изобилия ширпотреба, как в современной Англии, надо пройти еще через ад молодого капитализма?

Есть ли путь к организации эффективного производства, отличный от западных?

Все современные прогрессисты — от «Свободы» до «Коммерсанта» — хором нам отвечают: нет и не может быть! Третий путь—это очередная утопия—черносотенная. За одну из утопий — коммунистическую — мы уже очень дорого заплатили. Поэтому не нужно изобретать новых. Разумеется, и рыночный буржуазно-демократический путь развития не сулит даровых пряников, он заставляет ленивых туземцев поднатужиться и попотеть, ибо — лишь обильный пот ведет к изобилию (Маркс утверждал, что и обильная кровь, но... о крови сейчас разрешается упоминать лишь в связи со сталинской диктатурой).

Все наши нынешние прогрессисты — неомарксисты. Все, что они утверждают сегодня, более четко и недвусмысленно формулировал в свое время Маркс. Наши сегодняшние, например, кричат о недостатке в России «цивилизованности». Маркс в «Капитале» чеканил: «В простом понятии капитала должны содержаться его цивилизирующие тенденции» (т. 46, ч. I, с. 302). Что он имел в виду? Школы, музеи, библиотеки?

Маркс разъяснял: «производство, основанное на капитале, создает *систему всеобщей эксплуатации природных и человеческих свойств*... Отсюда великое цивилизующее влияние капитала... Соответственно этой своей тенденции капитал преодолевает национальную ограниченность и национальные предрассудки, обожествление природы, традиционное, самодовольно замкнутое в определенных границах, удовлетворение существующих потребностей и воспроизводство старого образа жизни. Капитал разрушителен ко всему этому» (там же, с. 386—387. Подчеркнуто мной. — Ю. Б.). Другими словами, по Марксу, цивилизация — это превращение всей Богом данной природы, включая национальные организмы, в материал для использования и, прежде всего, это повсеместная предельная интенсификация труда — «приучение» масс ленивых туземцев к работе, внедрение привычки к предельно напряженному труду посредством жесточайшего прямого принуждения: «капитал, будучи правильно понят, выступает как условие развития производительных сил до тех пор, пока последние нуждаются во внешнем пришпоривании, которое вместе с тем является их обуздыванием: дисциплинирование... которое на известной ступени... становится излишним» и т. д. (там же, с. 393). Повсеместно, в Европе, Америке, Азии, капитализм на первых своих стадиях — это «цивилизованный ужас чрезмерного труда» (т. 23, с. 247).

[12] Д. Макдональд Масскульт и мидкульт. В сб. «Российский ежегодник 90», выпуск 2. М., 1990, с. 245—246.

Конечно, западный обыватель в XX веке освободился уже от чрезмерной физической изнурительности цивилизации. Он получил возможность относительно дорого продавать свое рабочее время (рост цены наемной рабсилы в западных странах обусловлен не только ростом ее квалификации, но, в еще большей мере, двухвековой эксплуатацией трудовых и природных ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки). Не нуждается западный обыватель уже и в грубом прямом подхлестывании: оглоушенный навязчивой рекламой, в лихорадочной погоне за все новыми и новыми потребительскими соблазнами он привык уже сам себя постоянно пришпоривать. Электронные часы с секундомером, призывающие его везде и на всем экономить время, стали символом западной жизни. Очевидно, это и есть та наивысшая цивилизованность, до которой большинству человечества еще пока далеко. Поэтому, по мнению энтузиастов прогресса, работников в малоразвитых странах просто необходимо подстегивать. Как? Для отсталых народов, закосневших в невежестве, цивилизаторы изобрели средство похлестче кнута, что, конечно, не исключает широкого применения и последнего.

Все древние завоеватели сами, лично орудовали мечом и кнутом под аморальным лозунгом «Отдай!» — прямое ограбление покоренных. Занятие не шибко прибыльное и надежное — руки устают. В отличие от примитивно-варварского грабежа капиталистическая экспансия осуществляется «задом наперед» (Лютер) под благородным лозунгом «Возьми!». Брать можно, разумеется, за соответствующий эквивалент, а если такого нет в наличии, — хотя бы и в долг, с процентами... Пожалуйста. Чтобы перепрыгнуть через «второй предел обращения» (Маркс) — недостаток платежеспособного спроса в своей стране, — капитал вынужден постоянно искать рынки сбыта на стороне. Поисковые экспедиции могут быть мирными или военными, в зависимости от обстоятельств. Но без широкомасштабной внешнеторговой экспансии капитал просто не может нормально функционировать — не будет расширенного воспроизводства.

Люди производят, чтобы потреблять. Всякое производство, кроме древнесизифова и советского, обязательно замыкается на потреблении, в том числе и производство средств производства, которое так ругают Шмелев и Селюнин. В рамках нормального капитализма опережающий рост последнего означает техническую модернизацию, что в конечном счете ведет лишь к валу нового ширпотреба, новых услуг и военного снаряжения.

Ну, с амуницией дело особое — без подобающего военного потенциала теряют солидность внешнеторговые сделки, тоже по-своему призванные обеспечивать бесперебойный рост и сбыт лавины товаров. Куда их девать? Кто может все их выкупить и потребить? В рамках замкнутой системы капиталистического производства-потребления реализация всего объема товарной массы логически и практически невозможна. И дело тут не в «несварении желудка» местного потребителя. В разгар промышленной революции в Англии объем товарной массы возрос многократно, но столь же резко опустился здесь именно в это время и средний уровень жизни масс. Это закономерно: чем ниже зарплата наемных рабочих данного региона, тем выше средняя норма прибыли капитала, тем интенсивнее его рост, накопление — английский правящий слой имел во время своей промышленной революции достаточно сил и средств для того, чтобы выколотить из народа, превращенного в быдло, максимум. А избыточная товарная масса шла на сторону. Как утверждал Маркс, капитализм — «возникает там, где имеет место массовое производство на вывоз, для внешнего рынка» (т. 46, ч. I, с. 503). Маркс в данном случае просто фиксировал исторический факт.

Личное потребление капиталистов ограничено необходимостью накопления — постоянного расширения своего производства. Что же касается совокупного спроса наемных работников данной страны, он ограничен суммой переменного капитала, выданного им в форме зарплаты. Конечно, в современных высокоразвитых странах Запада под давлением профсоюзов неуклонно растет объем переменного капитала — реальная покупательная способность зарплаты. Но сколь бы ни велика становилась последняя, она не может покрыть платежеспособным спросом всего произведенного продукта — иначе, не будет прибыли, стимула предпринимательской деятельности. Поэтому даже на стадии своей зрелости, при очень значительном повышении уровня жизни всей массы отечественной рабочей силы, капитал все равно вынужден благодетельствовать и чужие страны, постоянно искать дополнительного спроса на стороне — такого спроса, который перекрывал бы личное потребление как самих капиталистов, так и всех нанятых ими работников. Из этой имманентно присущей капитализму необходимости экономической внешней экспансии и выводил Маркс «цивилизующую функцию капитала». Джинн капитала, коль уж он вырвался из бутылки, вынужден рваться во все регионы мира с истошным криком «Возьми!». Хотя бы и в долг... Потом отработаешь. А не захочешь — заставлю. Для этого и амуниция.

Капитал вынужден отдавать свой товар в долг. Откуда в отсталых странах, становящихся потребителями иноземного ширпотреба, может взяться звонкий эквивалент? Ясно, что таким эквивалентом может стать здесь лишь масса добавочного труда, труда сверхустоявшейся традиционной нормы, которую местные власть имущие — первые потребители иноземной продукции — смогут выколотить из своего народа всеми доступными им способами. Что же касается иноземного благодетеля, то у него, как писал Маркс, «все кредитное дело, а также связанное с ним разбухание торговли, спекуляции и т. д., покоится на необходимости расширить пределы обращения и сферы обмена и перепрыгнуть через них. В отношениях между народами это проявляется в более грандиозных масштабах, более классически, чем в отношениях между индивидами. Так, например, англичане, для того чтобы иметь чужие нации своими покупателями, вынуждены их кредитовать» (т. 46, ч. I, с. 394).

Но как верить в долг малознакомым, опасным, чужим людям? Недоверчивые католики, например, боялись верить, и в результате сами отстали в темпах экономического развития, хотя и были прекрасными мастерами, гораздо искуснее пуритан. По мнению Макса Вебера, отметившего этот факт, в гонке промышленного развития католиков подвели не их навыки мастерства, а «отсталая» психология: в отличие от католика, богоизбранный кальвинист является провиденциалистом — он твердо верит, как во всемогущество Господа своего, в конечное торжество финансовой «справедливости». И поразительно, что материалист Маркс, касаясь проблемы широкомасштабной торговли в кредит, в качестве объяснения этого феномена в своем «капитале» тоже указывал на религиозный фактор: «Монетарная система по преимуществу — католическая, кредитная по преимуществу — протестантская... Лишь вера дает спасенье» (т. 25, ч. II, с. 141).

Но как и всякая вера имеет свои пусть хотя бы мифологические основания, так и кредит немыслим без всякого обеспечения. В странах, которые капитал превращает в рынки сбыта для своего ширпотреба, такого рода обеспечением может стать только местная крепкая власть — деспотически азиатская, феодальная, коммунистическая. Все равно, лишь бы она не строила козни против своего благодетеля — кредитора. С этой точки зрения, например, по-европейски вальяжный шах в Иране, с его застенками, оклеенными вместо обоев выдранными ногтями жертв, был, разумеется, лучше проклятого популистского аятоллы, с его лозунгами ограничения эксплуатации и черносотенного мусульманского народовластия. Прекраснодушная вера иноземного предпринимателя в честность и добросовестность местного должника-потребителя в реальности означает веру в способность местных властей, вступивших в личную унию со своим благодетелем, в ближайшем будущем содрать со своего народа вместо одной — три шкуры, и шкурами этими с лихвой (с процентами) расплатиться за многоцветные блага цивилизации. А так как вера должна подкрепляться делами, то, вопреки своим широко прокламируемым «демократическим» установкам, в так называемых слаборазвитых странах западный капитал всегда поддерживал и по сей день стремится всеми средствами насаждать самые оголтелые, откровенно репрессивные мафиозные режимы, которые по существу становятся его марионетками — плантаторскими надсмотрщиками. Что же касается самих высокоразвитых западных стран, то, как писал Маркс, «максимум кредита означает здесь наиболее полное вовлечение промышленного капитала в производство, то есть крайнее напряжение его воспроизводительной силы, независимо от границ потребления» (т. 25, ч. III, с. 25). При этом наряду с реальным накоплением в странах-экспортерах скапливается и масса фиктивного капитала в виде разного рода векселей и ценных бумаг. «В действительности, — писал Маркс, — все эти бумаги суть не что иное, как накопленные притязания, юридические титулы на будущее производство (чужое. — Ю. Б.)». Случается, что крупный вооруженный должник посылает к чертям своего благодетеля ростовщика, и нет возможности его быстро укоротить. Тогда трещит вся система финансового доверия, что проявляется как кризис перепроизводства. Отказ от долгов — смертное преступление против капиталистического прогресса, ведущего ко всеобщей цивилизации и в конечном счете — к мировому госплану.

Движение к западной цивилизованности — грабежу природных ресурсов и предельной интенсификации труда — в отставших странах начинается, как правило, с совращения господствующих слоев. В среде традиционных власть имущих и выбивающихся «в люди» местных спекулянтов-выскочек начинается вакханалия чрезмерного и безумного потребления: разгорается бешеный аппетит на модные заграничные туалеты, гарнитуры и предметы быта — «как в лучших домах Филадельфии», — на новейшие средства изощренного развлечения и разврата и на особенно дорогие товары престижного назначения. При этом по уровню своих претензий на моду, блеск и лоск живущие в долг туземные господа оказываются «святее папы» — своего иноземного благодетеля, предпочитающего умеренный комфорт. В эпоху молодого английского капитализма эпидемия господского расточительства, неизбежно связанного с резким усилением фискального пресса, затронула даже отнюдь не отсталые страны континентальной Европы. Достаточно вспомнить безумную вакханалию роскоши в дотла разоренной предреволюционной Франции. Эта роскошь казалась особенно ослепительной на фоне пуританской сдержанности английских джентльменов, становившихся промышленно-финансовыми магнатами.

Показательна в этом смысле и эволюция русских патриархальных господ, потребности и бытовые привычки которых еще в XVII веке очень мало чем отличались от общенародных. Кстати, крестьяне в России, которые до петровской насильственной цивилизации практически все умели читать, обладали широким набором гражданских прав и навыков самоуправления, уже в XVIII веке становятся сплошь безграмотными и совершенно бесправными. Зато петровские выдвиженцы, отворив «окно в Европу» и превратив крестьян в рабов, очень быстро превращаются в совершеннейших французов. Впрочем, поначалу русская аристократическая верхушка пыталась копировать образ жизни польских земельных магнатов — проводников европейского шика. За весь этот шик нужно было платить — резким увеличением производства товарного хлеба и разного рода сырьем. Возникает необходимость постоянно подхлестывать мужика — отсюда и крепостничество с барщиной. Промышленная Англия, уничтожив свое крестьянство и превратив страну в фабричную казарму, стала остро нуждаться в германском и русском хлебе, американском хлопке (рабство в США) и т. д.

Со школьной скамьи нам намертво вдалбливали марксистскую схему последовательности «формаций»: рабство, потом крепостничество и — капитализм, уничтожающий то и другое. Эта схема не выдерживает никакой критики, даже с точки зрения логики и исторических изысканий самого Маркса. В первой половине просвещенного XIX столетия (до 1864 года) в буржуазных США рабов было больше, чем в Древнем Египте, Греции и Римской империи, вместе взятых. А в Индии, в африканских и южноамериканских колониях капитала? — никто не считал.

Конечно, и до капитализма все традиционные общества знали так называемое «патриархальное рабство» (дворовые слуги больших господ, наложницы, евнухи, личная гвардии и т. д.), но что касается производства, то все эти общества держались, как правило, на труде самостоятельных производителей — крестьянских и ремесленных общин (редкие исключения — такие эпизоды, как, например, производство рабами товарного хлеба для римской армии на сицилийских плантациях). И только капитализм начинает с подлинно массового производственного применения рабского труда на своих колониальных плантациях и в горном деле. Та же самая картина и с крепостничеством — в странах, втянутых в систему мирового рынка, но сохранивших свою независимость и элементы традиционной структуры. (Сводку данных о крепостничестве см. в моей статье «Кому быть владельцем земли», «НС», 1990, № 3, с. 107).

Факт: европейское крепостничество — явление относительно позднее. В своей классической форме первоначально оно устанавливается в Германии под воздействием мощного спроса на хлеб в пере-

живающей «чистку земли» Англии, что был вынужден зафиксировать в «Капитале» и сам Маркс: «В XV веке немецкий крестьянин, хотя и обязан был почти всюду нести известные повинности продуктами и трудом, но вообще был, по крайней мере фактически, свободным человеком... но уже с половины XVI века свободные крестьяне Восточной Пруссии, Бранденбурга, Померании и Силезии, а вскоре и Шлезвиг-Гольштейна были низведены до положения крепостных» (т. 23, с. 248). В Россию помещичье крепостничество пришло позже: и хронологически и стадиально его ужесточение совпадает с этапами расширения «окна в Европу». Это — фактически. Но и логически, согласно тому же Марксу, рабство и крепостничество — это первые производные «цивилизующей функции» капитала в сопредельных странах. При чем здесь формации, которые нас заставляли зазубривать?[13]

Во времена своей молодости западный капитализм одарил нас помещичьим крепостничеством, которое продержалось в России до 1861 года. Есть основания полагать, что и в XX веке отработка новейших тоталитарно-лагерных способов «приучения» массы наших туземцев к труду не обошлась без прямого воздействия зрелых цивилизаторов. Какую форму цивилизации сулит нам Запад сегодня?

3. ТРЕТИЙ ПУТЬ — ВЫМЫСЕЛ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Дело не в том, чтобы изобрести рецепт совместного счастья, разумнее западных схем развития, и потом внедрять его в сознание масс в качестве нового «истинного» идеала. Я, грешник, думаю, что никакого счастливого благоустройства людей на земле вообще быть не может. И уж тем более — благоустройства, основанного на рациональных, разумных началах. Ибо сказано было: «Царство мое не от мира сего». В этом мире при любом общественном строе все живые неизбежно болеют и умирают, ревнуют, завидуют, иногда обижают друг друга и ссорятся... Испытаний этих и искусов не избежать никому.

Разумеется, мера и степень взаимных обид и страданий зависят от социального климата. Там, где земная жизнь людей складывалась более-менее сносно, она строилась не на умозрительных домыслах и расчетах, но на святынях, то есть на нравственных императивах, «предрассудках», если угодно, своеобразных у каждого из народов, что и делает их неповторимыми соборными личностями, общественными индивидуальностями[14]. Человеческий мир многоцветен и интересен именно потому, что основу культуры каждого из народов составляют свои культовые святыни («ценности» — на языке современной науки), не подлежащие никакому логическому обоснованию и не переводимые адекватно на язык культуры иной. Мы, русские, например, говорим мудрость, а еврей переведет на свое словом «хохма» — иврит, это их «мудрость; польский «гонор» машина бесстрастно переведет на русский язык словом «честь» и т. д. То же самое с инстинктивными национальными стереотипами поведения в типовых ситуациях — у них разный ценностный смысл и характер, ибо поступки разных людей основаны на различных подсознательных «предрассудках», хотя, конечно, у человечества есть и моральные нормы универсальные — антропогенетические, присущие всем людям без исключения, от австралийского туземца до гарвардского профессора. Таких родовых абсолютных всечеловеческих норм только две: нельзя вступать в половую связь со своей матерью — смертный грех (инцест — по-научному); нельзя убивать и съедать ближайших своих сородичей — по материнской линии. У первобытных туземцев эти принципы формулировались просто: нельзя убивать и съедать свой тотем, нельзя вступать в половую связь с тотемом. Если ты человек, нельзя! — разум тут ни при чем. Звери этих запретов не знают. И разумные существа, совершенно лишенные уже всех предрассудков, — тоже не люди. Это «сверхчеловеки» — по Марксу или по Ницше — те, которые «по ту сторону зла и добра». (Подробно см. об этом в книге: Принцип историзма в познании социальных явлений. М., 1972, с. 170—240.)

Мы уже перестали быть первобытными дикарями, но пока что не стали еще и сверхчеловеками. В отношениях между собой голую рациональность все нормальные люди, слава Богу, пока еще дружно встречают «в штыки», что и является доказательством их нормальности. Иначе мы научились бы, не смущаясь, надевать на себя куртки из кожи своих родителей и лакомиться вырезками из их полуживых тел — ведь неразумно закапывать в землю ценный белковый продукт! В заведениях типа Освенцима лишенные предрассудков сверхчеловеки пытались рационально использовать не только живую рабочую силу людей, но и их мясо, кожу и кости, и волосы... И поскольку с точки зрения экономической целесообразности это вполне разумно, я, ретроградный, боюсь, что в ближайшем светлом будущем подобные экономические эксперименты будут возобновлены в грандиозных масштабах: слишком много стало людей на земле — тесно, и природных ресурсов на всех не хватает. Рим-

[13] При внимательном рассмотрении вопроса обнаруживается, что историческая последовательность формаций — это запущенная в оборот Сен-Симоном кабинетная схема поступательного прогресса от рабского, крепостного, наемного — к свободному социалистическому труду. Схему эту в партийно-пропагандистских (но не исследовательских!) целях использовал и Маркс и, особенно, Энгельс.

[14] Пред-рассудок — это то, что у человека до разума, глубже рассудка. Можно доказать, что все наши интеллектуальные построения, которые мы обычно так ценим, — вторичны. С точки зрения теории познания, этот факт выявил Кант (см. об этом: Бородай Ю. Воображение и теория познания. М., 1966); с точки зрения психологии, в тот же факт уперлись психоанализ, современная генетическая и гештальтпсихология.

ский клуб сверхчеловеков весьма и весьма озабочен сейчас этой глобальной проблемой. Чтобы устроить удобную чистую жизнь богоизбранным, часть человеческой биомассы разумно было бы переработать хотя бы на мыло.

Нет ничего страшнее утопий, умозрительных инженерных схем прогресса общества, построенного на разумных началах экономической целесообразности. А потому давайте больше не будем пытаться изобретать. Хватит с нас умышленных капитализмов, социализмов и фашистских каннибализмов. Просто попробуем посмотреть, как в наш жестокий предельно рациональный век проводят техническую модернизацию люди, отринувшие все трафаретные «измы» и по возможности сохраняющие Богом данные формы своей естественной общности, основанные на вековых нравственных «предрассудках». Такие еще кое-где остались, например — черносотенные японцы, до второй половины XX века не подпускавшие к своему порогу ни одного предприимчивого иностранца. Да и сейчас иноземных сверхчеловеков в американской военной форме японцы не очень-то жалуют, предпочитая, вопреки нажиму, все делать самим, по-своему, в соответствии со своей национальной традицией. По такому же самобытному пути модернизации после второй мировой войны пошли и так называемые «новые индустриальные страны», умудрившиеся почти нетронутыми сохранить традиционные отношения между людьми со всем набором своих старинных моральных ценностей. Сегодня это Тайвань и даже почти первобытный еще Таиланд, не говоря о Корее — Южной, конечно. В отличие от последней именно «наша» красная Северная Корея, как это ни парадоксально, попыталась начать свою техническую модернизацию с классического западного рецепта в его наиболее радикальном социалистическом варианте: весь старый мир до основанья мы разрушим, а потом... Что будет там потом, мы не знаем, а сегодня получился кровавый социалистический кабак. Или госкапиталистический? — не будем спорить о терминах. Важно заметить, что именно в Северной Корее, как раньше в Индии или в Египте, весь строй традиционной «естественной общности» подвергся массированной атаке, а в этом и состоит суть классического западного пути. Не важно, какого цвета лопастями осуществляется глубинная социальная революция, превращающая людей в «толпу одиноких» (беспочвенное быдло), — красными или желтыми. Важно, что посредством глубокой вспашки, уничтожающей «сорняки» нравственных предрассудков и сентиментальных привязанностей, создается фундамент безжалостного рационализма.

Мне могут возразить: зачем наводить тень на плетень — в Японии, как известно любому школьнику, со второй половины XIX столетия развивается обыкновенный капитализм, столь же рациональный, как и на Западе, как в России до октября семнадцатого...

Мало в чем с нашими современными школьниками (неомарксистами) можно тут согласиться. Ретроградный характер русских промышленников с их «темным мужицким демократизмом» (Ленин) был скорее сходен с японским, что и подметил наш великий учитель, заклеймив русский промышленный капитал как черносотенный. Но, по Ленину, именно этой своей «азиатской» чертой мужающий русский капитализм отличался принципиально от «прогрессивного» западного, почему и нужно было в России срочно устраивать то ли по меньшей мере желтый февраль, то ли уж сразу полный красный переворот. На неправильный патриархально-реакционный — «бонапартистский» — путь агропромышленной модернизации поворачивала, по мнению Ленина, столыпинская Россия. Япония же с «бонапартизма» начала (революция Мейджи) и патриархально-реакционный характер своей промышленной эволюции не утратила по сей день. Поэтому и возникает вопрос: насколько к японской действительности вообще приложимы стандартные «измы» со всем их набором понятных и близких всем прогрессистам западных социально-экономических и политических терминов?

Маркса этот вопрос не тревожил. В целом он свою европоцентристскую схему социального и агропромышленного прогресса предлагал в качестве универсальной — общей для всех времен и народов. Но у Ленина уже появилась потребность изобретения новых понятий — применительно к русскому своеобразию. Правда, и эти свои понятия Ленин конструировал из элементов общепринятой западной социальной терминологии, вкладывая в нее совершенно новый смысл. Так он ввел в оборот новый термин — «аграрный бонапартизм». Столыпинские реформы, по его мнению, это — «глубочайший сдвиг в сторону аграрного бонапартизма» (Ленин В. И., ПСС, т. 17. с. 273).

Что же такое — «аграрный бонапартизм»? А это, по Ленину, перерождение самодержавия под революционным давлением снизу из сословной монархии в общенародную с опорой не на дворянство или буржуазию, а прежде всего на крепких консервативных крестьян, которые, получив в полную собственность всю землю, становятся «удовлетворенными и реакционными» (Ленин В. И., т. 20, с. 406), что позволяет сильной авторитарной власти прибегать ко всеобщему избирательному праву как средству упрочения своего господства. Разумеется, к такому черносотенному варианту исторического развития Владимир Ильич относился крайне враждебно, хотя и вынужден был признавать, что в России такое развитие имеет все шансы на успех[15], ибо

[15] О столыпинском повороте к аграрному бонапартизму Ленин писал: «Было бы пустой и глупой демократической фразеологией, если бы мы сказали, что в России успех такой политики «невозможен». Возможен!» (т. 17, с. 31). Что же противопоставить планам самодержавия — повернуть страну к «мужицкому черносотенному демократизму»? Ленин писал: «социал-демократы и народники (трудовики, н.-с., эсеры в том числе) сходятся в том, что

оно — «несомненно, прогрессивно в научно-экономическом смысле» (Ленин В. И., т. 16, с. 219). В отличие от Ленина (и от К. Леонтьева) «аграрно-бонапартистскую» модель социально-политического устройства общества в качестве идеала для будущей послебольшевистской России подробно анализировал Иван Солоневич в книге «Народная монархия».

Процесс поворота России на самобытный путь агропромышленной модернизации был насильственно прерван прозападной революцией в феврале семнадцатого (Октябрьский переворот — лишь следствие февраля). Поэтому в современных спорах о третьем пути России не аргумент: то ли было там что позитивное, то ли не было — поди сейчас докажи. Да, каким-то чудом, отбившись от всех врагов, тысячу лет продержалась русская государственность (дольше, чем любая другая), наконец начала строить свою систему индустриального массового производства — с запозданием, но успешнее и быстрее, чем на Западе. Но этот оригинальный русский путь к изобилию был перечеркнут историческим катаклизмом — не состоялся. И все местечковые прогрессисты наши дружным хором клеймят сейчас любую попытку освободиться от трафаретных западных «измов» как рецидив злокачественной славянофильской утопии. Ну, ладно. Оставим пока и мы оплеванные со всех сторон славянофильские «бредни». Посмотрим внимательнее на те черносотенные структуры дальневосточных «естественных общностей», которые, в небывало короткий срок став технотронными, бросили дерзкий вызов Западу по самому важному пункту спора — эффективности массового производства. Космополитичной цивилизации, основанной на предельной принудительной интенсификации трудовых усилий превращаемой в быдло рабсилы, Япония сумела противопоставить принцип национальной культуры, используемой в процессе модернизации как решающий *экономический* фактор. Вызов этот, можно сказать, всемирно-исторического значения. Ведь в ходе на наших глазах начавшегося торгово-промышленного соревнования так называемых «новых индустриальных стран» с Западом решению подлежит вопрос: стать ли «Закату Европы» (О. Шпенглер) реальностью? Или, другими словами: что в конце концов окажется эффективней — цивилизация или культура?

Для ясности оговорюсь: под словом «культура» я понимаю не просто накопленную человечеством сумму универсальных практических и научных, гуманитарных, технологических знаний и навыков, которые можно использовать в самых различных целях, но все эти знания органично спаянные в одну систему со своеобразными моральными ценностями, имеющими у каждого из народов *культовое* происхождение. В живой культуре именно последние, в отличие от синкретичной (плюралистичной) цивилизации, играют *доминирующую* роль. Хочу подчеркнуть, что это не просто мое *частное*, сугубо личное представление о предмете. В данном случае я беру схему, из которой исходили в исследованиях своих практически все крупные культурологи, и в частности в русской науке, отец Павел Флоренский и А. Ф. Лосев. Коротко эту схему можно выразить так: *культ—миф* (религиозные представления) — *культура*. Это схема *естественного развития* всех нормальных человеческих представлений. Культура, полностью «освободившаяся» от «предрассудков» — от национальных, культовых своих святынь, — превращается в беспочвенную холодную цивилизацию просвещенных рабов, управляемых сверхчеловеками, в химерную «витисистему», как выражается Л. Н. Гумилев.

А теперь попробуем посмотреть, как национальные культурные традиции там, где они сохранились нетронутыми (или возродились обновленные — бывает и такое), становятся *производственным* фактором.

Японская производственная модернизация началась с радикальной черносотенной революции 1868 года, которая привела к власти самодержавие, *опирающееся на крестьян* (не забудем, что и в России «Черной сотней» называлось первоначально народное ополчение Кузьмы Минина, боровшееся в Смутное время за реставрацию православной законной и надсословной монархии; монархия была восстановлена, но боярская, что обусловило революционное превращение ее при Петре и чисто сословную *дворянскую диктатуру* — абсолютизм *западного* образца). В отличие от российской реформы 1861 года, освободившей крестьян без земли, вся земля в Японии стала собственностью крестьянских общин без всякого «выкупа». Самураи же были вынуждены начать торговать своей элитарной выучкой, становясь наемными офицерами, государственными чиновниками или организаторами промышленности. В отличие от пореформенных русских бар, прожигавших свои пятипроцентные золотые билеты во всех злачных местах Европы (см.: «НС», 1990, № 3, с. 108—110), японским аристократам в условиях жесткой системы «аграрного бонапартизма» податься было некуда, нужно было начать работать: это был первый резерв *наемной* «рабочей силы» — достаточно грамотной и честолюбивой. Не было в Японии избытка малоквалифицированных свободных рабочих рук, как на Западе. Это вранье, будто успехи «японского капитализма» основывались на дешевизне местной рабочей силы. Все—прямо наоборот. Как утверждают сами японские авторы: «Япония не имела той безземельной рабочей силы, какая имеется в Индии или Латинской Америке (не говоря уже об Англии после «чистки земель». — Ю. Б.)... Несмотря на то, что масштабы производства на японской ферме малы, фермеры полной занятости, обрабатывающие три или больше гектаров земли, получают более высокий доход, чем городские рабочие. У нас хорошо быть фермером»[16].

После реакционно-самодержавных реформ 1868 года у японских крестьян не было острой надобности бежать в города продавать себя в наем. Их нужно было туда *заманивать*, и не столько деньгами, сколько по-настоящему интересной нерутинной работой — совсем не такой, с какой начиналась промышленная модернизация Запада. И возможность заманивать из деревни наиболее одаренных людей новым творческим делом была найдена. Ведь японцы не проходили мануфактурной стадии, низводящей работника до полускотского уровня. Им не нужно было постепенно формировать машинное производство — машину они получили готовой. Отсюда принципиально другая задача: *освоить чужой технический результат* и встроить его в систему иной социальности — традиционных *своих* отношений. Для этого вовсе не обязательным был дешевый труд серых масс неприкаянных дегенератов. Напротив, чрезвычайно полезным оказался сохраненный как общенародное качество *творческий навык* самодеятельного кустаря (крестьянина или ремесленника) — то, что вынужден был безжалостно искоренять у своих народов молодой западный капитализм, чтобы потом на стадии своей зрелости восстанавливать отчасти вновь, но уже в чисто рациональных безнравственных формах холодно-расчетливой цивилизации. Впрочем, задача полного восстановления задавленного творческого потенциала в рамках западной индустриальной системы становится уже принципиально неразрешимой. Особая одаренность — вообще всякая личностность и связанные с ней претензии — оказывается вредной роскошью в *современной* западной узкоспециализированной и соответственно жестко кооперированной практике: в технике и даже предпринимательской деятельности, науке, политике и т. д. Один доктор — специалист по левой ноздре, другой — по правой... Констатируя это, американский экономист Дж. Гелбрейт писал: «Подлинное достижение современной науки и техники состоит в том, что знания самых обыкновенных людей, имеющих узкую и глубокую подготовку, в рамках и с помощью соответствующей организации объединяются со знаниями других специально подготовленных, но таких же рядовых людей. Тем самым снимается и необходимость в особо одаренных людях, а результаты такой деятельности, хотя и менее вдохновляющей, значительно лучше поддаются прогнозу»[17].

Средневековый ремесленник и в Европе был когда-то полным хозяином своего труда, универсальным мастером, который в зависимости от обстоятельств сам задавал себе цель работы и самостоятельно собственными руками осуществлял весь сложный процесс изготовления нужной вещи. Точно так же везде работает и настоящий крестьянин. Труд кустаря и крестьянина — творческий, способный достигнуть уровня подлинного искусства, и не случайно во многих из языков слова «ремесло» и «искусство» имеют один общий корень (например, art — в английском). Но на Западе промышленное развитие началось с беспощадной борьбы против традиционного ремесла и крестьянских привычек к самостоятельности в труде. Без подавления в основной массе народа естественной тяги к творческой целесообразной деятельности, очевидно, было бы невозможно *становление* капитализма. Чтобы возникло поточное машинное производство, должна была состояться *поляризация функций:* свободной коммерческой и организаторско-управленческой воли, изобретательности и инженерного мастерства в лице лишенного всех цеховых сантиментов предпринимателя[18], «дельца *нового типа*» (Манту), и — крайней творческой деградации непосредственных производителей, нанятых для монотонного выполнения изо дня в день стандартных операций, часто без всякого представления об общем смысле и назначении частичной своей работы.

В своем «Капитале» Маркс решающее значение придавал такому «прогрессивному» фактору, как крайняя степень деградации значительной части народа — бывших крестьян, ставших бродягами в результате «чистки земель», и, как казалось правительству, годными лишь на то, чтобы их вешать. Что и делали в Англии: «бродяг вешали целыми рядами, и не проходило года, чтобы в том или другом месте не было повешено их 300 или 400 человек» (см.: т. 29, с. 744—746). Разумеется, всех перевешать было нельзя, ибо слишком большой становилась масса людей, для которых «единственным источником существования... оставалась либо продажа своей рабочей силы, либо нищенство, бродяжничество и разбой... Исторически установлено, что эти люди сперва пытались заняться последним» (там же, с. 498—499). Поэтому их наказывали: подвергали порке, отрезали уши, превращали в рабов протестантских приходов, принудительно заставляли работать на тех лиц, которые брались их кормить (см.: там же). Но что умеют «отбросы», утратившие трудовые навыки, опустившиеся до скотского состояния? Они годятся лишь на самые примитивные операции. Описывая процесс становления фабрично-машинного производства, Маркс доказывает, что первоначально машина—это не столько *техническое* изобретение, сколько *результат социального процесса массовой*

надо капиталистически «очистить» обветшалый аграрный строй России» (там же, подчеркнуто Лениным). Что значит «очистить» аграрный строй, мы уже знаем — это «чистка земель» по английскому образцу (см.: «НС», 1990, № 10, с. 7).

[16] Orientation Seminars of Japan. № 3, Tokyo, 1983, p. 3, 12.

[17] Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1959, с. 102.

[18] Цех — городская община, «братство» средневековых ремесленников, основанное не только на корпоративной общности интересов, но и на твердых нравственных нормах, безусловных для всех своих членов. Большинство исследователей становления западного капитализма (Маркс, Зомбарт, Манту, Тойнби) отмечали тот факт, что, как правило, капиталистическими предпринимателями — фабрикантами — становились не местные мастера, но чужаки-переселенцы, ничем не связанные с местным цехом ремесленников — со всеми «туземными» обычаями и традициями данной страны вообще.

пауперизации населения, что требовало расчленения сложного и целостного ремесленного труда на ряд частичных примитивных операций, доступных полуидиоту или ребенку: «В середине XVIII века некоторые мануфактуры предпочитали употреблять полуидиотов» (т. 23, с. 374). В начале XIX века характерно массовое применение в промышленности женского и детского труда. Все это ведет к дифференциации и упрощению инструментов различного назначения с целью приспособить их к «исключительным особым функциям частичных рабочих» (там же, с. 353), а это, в свою очередь, «создает одну из материальных предпосылок машины, которая представляет собой комбинацию многих простых инструментов» (там же, с. 354). *Деградация населения* — вот цена «изобретения» машинно-поточного производства, которую вынужден был заплатить за свой прогресс Запад.

Конечно, по мере усложнения технологий, их качественного обновления само машинное производство начинает требовать наемных работников нового типа — более высокой квалификации. Возникает спрос не столько на бездумных исполнителей простых механических операций, сколько на техника-наладчика, конструктора, плановика, представляющих весь процесс производства в целом. Таким образом в системе самого машинного производства в среде масс наемных поденщиков возникает тенденция к хотя бы частичному возрождению на совершенно новом техническом уровне старых навыков кустаря-ремесленника, обладающего «природной» смекалкой и ищущего осмысленной интересной работы. Но тут-то и проявляет себя феномен, который кажется парадоксом всем нынешним прогрессистам, в том числе и таким неординарным ученым, как Гелбрейт: оказывается, что не затронутому иноземной цивилизацией первобытному кустарю, крестьянину или ремесленнику — японскому или корейскому, таиландскому! — легче достичь той высокой разносторонней квалификации, какую сейчас требуют самые продуктивные сложные технологии. *Гораздо легче им,* чем западному «частичному рабочему», прошедшему двух- или трехвековую фабричную школу бессмысленного отупляющего труда. А ведь проблема не только в *чисто технической* квалификации. Сейчас и на Западе в среднем она весьма высока, почти такая же, как в современной Японии, хотя, конечно, уже наметилась тенденция к отставанию. Не менее важным экономическим фактором оказывается сохраненное в рамках «естественных общностей» добросовестное — нравственное — отношение человека к своему делу, а также вековые навыки самоуправления. Подчеркнем: *самоуправления,* а не демократии. Механизм принятия общезначимого решения в западных демократиях базируется на абстрактном юридическом принципе: один человек — один голос. В системах общинного самоуправления выслушивают всех, но более веский голос принадлежит тому, кто мудрее и старше. Это *патерналистский* — традиционно *семейный* принцип выработки решений.

Машинную технологию японцы брали готовую с Запада. И брали самую продуктивную, сложную, начиная тут же сами ее модернизировать. Для этого были свои причины — дефицит малоквалифицированной рабочей силы, дороговизна труда. Что лучше для высоких темпов научно-технического прогресса? Дорогой или дешевый труд?

С предельной эксплуатации почти дарового труда лишенных земли крестьян начиналась западная промышленность. На принудительном даровом труде заводских крепостных стала строиться после Петра и знаменитая русская металлургия. И там и тут результат был налицо — быстрый резкий рост массы товарной продукции, предназначенной, прежде всего, для экспорта. Например, в конце XVIII столетия крепостная Россия занимала первое место в мире по выплавке и экспорту чугуна. Хорошего по тем временам чугуна — лучшего. Но характерно: в России уже в тридцатых годах XIX столетия дворянские и так называемые «посессионные» металлургические заводы, базирующиеся на даровом полурабском труде, переживают глубокий технологический упадок. И, напротив, на предприятиях (по преимуществу легкой промышленности), нанимающих вольных людей и крепостных, отпущенных на оброк, начинается бурная техническая модернизация. И дело тут было не в «воле». Среди вольных в России тогда еще было очень мало желающих наниматься, труд же оброчных был относительно очень дорог, поскольку цена их рабочей силы включала кроме «стоимости воспроизводства» также и плату, которую русский предприниматель вынужден был отдавать помещику, — ренту. Поэтому русские фабриканты (из крестьян и городских кустарей — мещан), использующие оброчных[19], стремились внедрять на своем производстве самые продуктивные технические и технологические новинки. Да и на Западе в это же время ускорение темпов технической модернизации было прямо связано с исчерпанием избыточных и почти даровых «трудовых ресурсов» и соответственно с начинающимся постепенным и неуклонным ростом цены труда. А японцы, начавшие строить свою промышленность в последней четверти XIX столетия практически на совершенно пустом месте,

[19] Уже с середины XVIII в. только 45% помещичьих крепостных в российских нечерноземных губерниях были барщинными, а 55% — оброчными, то есть почти вольными. Многие из последних становились наемными работниками у так называемых «капиталистых» или «первостатейных» крепостных. В этом смысле особенно характерно развитие текстильного производства в Иванове: «Село Иваново, — писал М. Туган-Барановский, — представляло собой в начале этого (XIX. — **Ю. Б.**) века оригинальную картину. Самые богатые фабриканты, имевшие более 1000 человек рабочих юридически были такими же бесправными людьми, как и последние голыши из их рабочих. **Все они были крепостными...** Но фактически крупные фабриканты не только свободно владели движимым и недвижимым имуществом, но даже имели собственных крепостных» (Туган-Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем, т. 1. М., 1938, с. 83—84).

сразу же начали с бешеных темпов технической модернизации, ибо не было там избытка дешевой свободной рабочей силы — «удовлетворенное и реакционное» (Ленин) население не желало сниматься с земли, хотя плодородных земель в Японии относительно очень немного, несоизмеримо меньше, чем в европейских странах, а тем более в США. В какой-то мере эта тенденция еще сохраняется даже в сегодняшней суперииндустриальной Японии. Удельный вес наемных работников во всем самодеятельном населении современных высокоразвитых стран составляет: в Англии — 90%, США — 89%, ФРГ — 81%, Японии — 60%. Японского крестьянина по сей день еще нужно заманивать в город. Чем? Возможностью более широко проявить свои творческие потенции?

Взяв машину готовой с Запада, японцы отвергли западную систему «научной организации труда», классическим выразителем которой стал американский инженер и исследователь Фредерико Уинслоу Тейлор. Почему отвергли? Пусть об этом скажут нам сами японцы: «Доминирующей предпринимательской стратегией возникающего современного бизнеса стала *не специализация, а универсализация.* Так, например, британские кораблестроители могли подготавливать конструкторов корпусов, снабжая затем корпуса моторами, кранами, насосами и прочим оборудованием, полученным от других независимых производителей. В Японии же верфи обязаны были производить не только корпуса, но и все оборудование к ним... Эта усиленная универсализация означала, что *труд* на японских верфях и фабриках не мог быть *ни стандартизован, ни специализирован.* Ф. Тейлор, отец научной организации труда, подчеркивал особую важность для рациональной организации труда отдельной «задачи» — «специализированной работы». Однако в Японии понятие «специализированной задачи» не могло стать целью управления: вместо этого центром внимания был сделан сам рабочий. Другими словами, управление было нацелено не на «руководство работами», а на поддержание стабильности персонала и *высоких личностных качеств* высококвалифицированных разносторонних рабочих»[20].

Из этой антитейлоровской установки японского «бизнеса» сами собой вытекали такие следствия, как отказ от жестких систем контроля за исполнителями, от строгой регламентации и мелочной бюрократической опеки, пожизненный наем с неформальными отношениями внутри предприятий, строящихся по типу традиционно-общинных или семейных. По существу это *деревенские* отношения, перенесенные не подвергшимися люмпенизации крестьянами на городскую индустриальную почву. Главное в этих отношениях — живые навыки общинного самоуправления и нравственно-творческое отношение к общему делу. В Японии не город перемалывал в пыль и развращал деревню, но, напротив, деревня перенесла свои обычаи и законы в город: «В деревне сами крестьяне поддерживали в порядке общие дороги и проводили ирригационные работы, следили за соблюдением порядка на своей территории, за использованием земли, приводили в силу решения правовых органов, улаживали споры, а в случае мелких преступлений *сами выносили приговор и налагали наказание...* отвечали всем миром за преступление, совершенное любым из членов общины, заключали контракты, привлекали к суду и отвечали перед судом... Небывалая степень самоуправления, возникшая после устранения военно-помещичьей администрации (революция Мейджи. — **Ю. Б.**), принесла стране беспрецедентный уровень народного благосостояния и социальной справедливости... Новые лидеры Японии получили поддержку нации — несмотря на то, что потребовали от нее ни много ни мало, как за одно поколение превратиться в индустриальное общество... Новые лидеры Японии нашли решение проблемы в переводе этих целей на традиционный язык лояльности и долга. Это был язык патерналистской семейной этики, выражающий неотъемлемые идеалы почти всех японцев... правительство поддерживало их через систему образования, военную подготовку и средства массовой информации... Во многих странах промышленность подорвала крестьянскую деревню и рассеяла ее население или сильно ослабила его солидарность, создав глубокие классовые деления. Ничего из этого не произошло в Японии»[21]. Здесь, напротив, неразложившиеся деревенские отношения переносились в город, что «стимулировало деятельность деловых фирм, организованных по принципу большой семьи» (там же, с. 208).

Ясно, что отношения универсальных работников пожизненного «найма» на производстве, построенном по «семейной» модели, исходно несовместимы с тейлоровской «Научной организацией труда». А между тем стоит заметить, что в своем знаменитом труде, впервые вышедшем в свет в 1911 году и сразу же ставшем священным писанием для всех западных технократов (в том числе и марксистского толка), Тейлор не изобрел ничего нового. Он просто свел в цельную теоретическую систему те принципы, на которых *изначально* строилась вся западная промышленность — принципы строжайше регламентированной *административно-командной организации* многих различных стандартных работ-операций, осуществляемых частичными работниками[22]. Этот принцип организации был воз

[20] Nakagawa Keichiro. «Japanese Management». Orientation Seminars of Japan, № 12, Tokyo, 1983, p. 13.

[21] T. C. Smith. The Agrarian Origins of Modern Japan, Stanford, Cal., 1959, p. [illegible]—205.

[22] С точки зрения этих принципов организации труда, классический капитализм отличается от социализма лишь тем, что в первом случае командно-административную функцию олицетворяет свободный предприниматель, кровно заинтересованный в высоких экономических результатах организованного им производства, и он добивается эффективности любыми способами: посредством кнута, пряника или их сочетания. В системе социалистического производства командно-административная функ-

веден Тейлором в ранг философского. Он утверждал, что «те же самые принципы могут быть с равным успехом приложены *ко всем решительно видам социальной деятельности*»[23]. Другими словами, в форме инженерной теории научной организации труда выражалась претензия на обоснование идеальной модели всесторонне рационализированного тоталитарного общества. Суть этой модели в предельно жестком и повсеместном разграничении управленческих и исполнительских функций: «Для того, чтобы работа могла производиться в соответствии с законами науки, необходимо установить... распределение ответственности между дирекцией предприятия и рабочими... каждому почти действию рабочего должны предшествовать одно или несколько подготовительных действий со стороны управления» (там же, с. 18—19). Все наши бесчисленные управленческие конторы, возглавляемые Госпланом, работают по классическим принципам тейлоризма. Оказалось, что в наиболее адекватной форме эти принципы осуществимы в системе реального социализма.

По мнению Тейлора, чем более наукоемким становится производство, тем менее способен каждый частичный наемный работник осмыслить тот общий план и цельный сложный научный замысел, который в конечном счете определяет смысл «каждого действия каждого отдельного рабочего» (там же). Поэтому рабочему вовсе незачем понимать то, что он делает. Как говорится, «начальству виднее». Чем меньше будет работник пытаться осмыслить назначение вмененных ему в обязанность функций, тем лучше для производства.

Но нет ничего совершенного в мире. И у тейлоровской системы есть свой весьма серьезный изъян. Оказывается, что частичный работник, даже став винтиком идеально отлаженного производственного механизма, все-таки сохраняет еще какую-то степень собственного творческого потенциала и в системе строго научной организации отчужденной своей трудовой деятельности направляет свою смекалку на подрыв отупляющей монотонности продиктованного начальством ритма, — грубо говоря, на то, чтобы «сачкануть». Тейлор неоднократно был вынужден констатировать это печальное обстоятельство: «*сознательно* медленная работа с целью недопроизводства полной дневной выработки... представляет собой почти повсеместное явление в промышленности... представляет собой самое большое несчастье» (там же, с. 5). И если бы только это. Еще хуже брак — от полного равнодушия к смыслу частичной работы. Как с этим бороться? Очевидно, только самым жестким контролем, качественным и количественным — с хронометражем. А поскольку, как мы видели, свои принципы научной организации Тейлор считал приложимыми и «решительно ко всем» проявлениям социальной жизни, то в перспективе идеальным контрольным прибором должен стать оруэлловский телескрин.

А японцы почему-то не тратят свой творческий потенциал на изобретение изощренных способов «сачкануть». И брака у них гораздо меньше, чем в США. Они последовательно наращивают объем *общеобразовательной* подготовки своей молодой смены, потом принимают в «общину-фирму» выпускника учебного заведения не на срок, а пожизненно и проводят его по возможности через все производственные структуры, циклы и даже должности, чтобы он на собственном опыте хорошо усвоил план и общий «научный» замысел дела — чтобы любую работу в своей фирме он смог выполнять с творческим интересом, осмысленно, отнюдь не только ради зарплаты. У них — «во время II мировой войны и в период послевоенной инфляции *зарплата стала мало зависеть от характера выполняемой работы;* зарплата должна была соответствовать тому прожиточному минимуму, который позволял рабочему содержать семью, и это усилило мотив рабочего самоуправления... Японию можно было бы назвать *капиталистической страной без капиталистов*, ибо владельцами крупного бизнеса часто являются сами предприятия»[24].

Но что же это такое: капитализм без капиталистов? Может быть, это особый японский социализм?

Я, грешник, думаю, что игра в трафаретные «измы» в данном случае отражает лишь узость и скудоумие общепринятых в «мировой науке» социально-экономических понятийных схем, заимствованных японскими авторами, чтобы объясняться с западными прогрессистами на доступном им языке. Но такое неразборчивое заимствование ведет к несусветной путанице. На Западе «организованный капитализм» вполне логично перерастает в социализм, а абстрактная демократия со всей трескучей борьбой за права — в тоталитарную диктатуру. Но *традиционный патернализм* — вовсе *не диктатура*, а общинно-семейное *самоуправление* — *не демократия*. И просто язык не поворачивается квалифицировать патерналистский общественный строй с наклеенными в угоду западным оккупантам фальшивыми накладными усами чисто внешней «демократической» политической организации — строй, сохраняющий ценности и структуры своей естественной общности, западными терминами «капитализм», «социализм» или даже «капитализм без капиталистов». Я думаю, что Япония — это нормальное традиционное общество, самобытным путем осуществившее агропромышленную модернизацию.

ция оказывается в руках наемного госчиновника, который столь же равнодушен ко всему, кроме своей зарплаты и привилегий, как и все другие наемники — винтики производственного механизма. Именно поэтому завершенный монополистический капитализм с плановой экономикой (социализм) оказывается «перезревшим капитализмом» (Зомбарт) на стадии экономического упадка — стагнации.

[23] Тейлор Ф. У. Научная организация труда. М., 1925, с. 4.

[24] Orientation Seminars of Japan, № 12, Tokyo, 1983, p. 4.

Оказалось, что самобытная модернизация дает весьма увесистые плоды, поэтому некоторые практичные американцы стали просить японских менеджеров помочь им избавиться от изъянов тейлоровской «научной организации» своего производства. И японские консультанты отважно берутся за дело. Нужно снизить процент брака на предприятиях с особо сложными новейшими технологиями? — для этого, говорят японцы, надо *не ужесточать*, *а отменить* систему громоздкого и унижающего человека контроля. Главное — улучшение социального микроклимата в рамках американского предприятия, замена строго регламентированных нормативов добросовестным отношением к делу, основанным на неформальных доброжелательных отношениях внутри коллектива.

В Америке японские консультанты очень стараются, но у них там не получается ничего путного, ибо на Западе давно уже стала типичной «абстрактность коллектива, у членов которого нет ничего общего, кроме разве языка» (Маркс К., т. 46, ч. I, с. 479). Такие исторические достижения западной цивилизации, как превращение всех ценностей в товар, любой осмысленной работы в «абстрактный труд» — субстанцию меновой стоимости, а всякой общности людей — в «абстрактный коллектив», квалифицировались Марксом как торжество прогресса. Но сегодня вдруг оказывается, что внедрение новейших технологий, основанных не на контроле, а на добросовестности исполнителя, требует реорганизации предприятий по типу «естественной общности», так дружно проклятой всеми прогрессистами. Такая реорганизация хорошо получается в Сингапуре и Таиланде, в Южной Корее и на Тайване, а в США и Западной Европе — нет. Потому что другой человеческий и социальный «материал»? Похоже на то... Сработанный «материал», растертый в атомарную пыль, истраченный *на становление* машинной системы поточного массового производства ширпотреба. Толчок был дан на Западе. И похоже, что производство ширпотреба в мире будет только нарастать. Но *методами иными* — с применением принципиально новых технологий, требующих не частичного работника, но творческих потенций мастера-универсала, каким был когда-то в Европе ремесленник и еще остается крестьянин.

Ирония истории заключается в том, что в не затронутых всеразрушающей «цивилизирующей функцией» дальневосточных «резервациях», отстоявших свою самобытность, творческий потенциал полупервобытного кустаря, сохранившего общинно-семейные навыки социальной жизни, оказывается сейчас гораздо лучше приспособленным к новейшим сложным технологиям. Будущее не за Западом, а за Востоком. Закат Европы уже на наших глазах становится реальностью. Так почему мы и теперь должны ориентироваться только на трафаретные западные пути? Они ведут в пропасть.

* * *

Дело не в том, чтобы доказывать возможность третьего пути. Он уже стал всемирно-исторической реальностью. За ним будущее. Вопрос в другом: насколько мы, измордованные семидесятипятилетним красно-желтым террором, способны к возрождению *своей* российской самобытности. Отнюдь не такой, как в Японии,— *не моноэтнической*. Ведь за плечами у нас тысячелетняя «империя», не похожая ни на какую другую, — органичная целостность множества враждовавших когда-то и сумевших ужиться все-таки рядом друг с другом народов, объединяемых не насильственной эксплуатацией со стороны «метрополии» и не механичной имперской цивилизацией»[25], но взаимной заинтересованностью в мире, порядке, веротерпимости, общих для всех законах, общего благоустройства и безопасности. В этом до катаклизма семнадцатого и заключалась специфика нашей весьма многогранной и многоцветной общероссийской культуры, православной в своей основе, но допускающей и другие религии, — ведь православие никогда не было столь агрессивным и нетерпимым, как папский католицизм, не говоря уже о протестантах с их богоизбранностью. В этом была исходная, если угодно, *«всечеловечная»* (Достоевский) *доминанта* нашей культуры — не прозападно-крепостническая и чиновничья петербургская, а еще древнерусская и старомосковская. Ведь Русь изначально складывалась как полиэтнический организм.

Сумеем ли мы возродить преображенными многоцветность общей российской культуры своих предков и самобытные формы своей естественной общности? Вот в чем вопрос. Если сумеем, тогда не будет проблемой и агропромышленная модернизация — не по японскому, а по российскому образцу. Ежели нет — станем колонией, полигоном «цивилизующей функции» уже выдыхающегося, но не утратившего свирепости западного капитализма, перерастающего в социализм. В форме вселенского «демократизма» с Запада к нам грядет тоталитарная организация обезличенных масс, превращаемых в трудовой ресурс.

[25] Невозможно представить себе русского православного человека где-нибудь в Комн. Бурятии, Казахстане или Литве в роли неприкосновенного римского гражданина в протекторате, англичанина в Индии, голландского кальвиниста в Африке или янки в банановой Южной Америке или Вьетнаме. Например, в больницах и других общественных заведениях Средней Азии уборные по сей день чистят по преимуществу русские бабы — «колонизаторши». Можно представить себе в этой роли англичанку в Индии? А между тем отношения между людьми разной этнической принадлежности в бывших Великобритании и России характеризуются одним трафаретным западным термином — «империализм». Чего за всей этой терминологической несусветицей больше — нарочитой недобросовестности «ведающих» или легкомысленного словоблудия ничего не ведающих?

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

«ШТОРМ-333»

27 декабря 1979 года в 18 часов 30 минут по кабульскому времени в афганской столице прогремел взрыв. Он раздался в центре города, неподалеку от центрального телеграфа, выведя из строя всю связь.

Тогда еще мало кто знал, что это—сигнал к началу операции «Шторм-333», названной потом вторым этапом Апрельской революции.

Для восстановления хода этих событий пришлось долгое время собирать свидетельства очевидцев — послов, советников, работников ЦК, МИДа, Генштаба, родственников уже ушедших от нас людей и т. п. Удалось познакомиться с документами, захваченными в американском посольстве в Иране во время исламской революции. Пробелы восполнялись домыслами, но я не боюсь этого слова, ибо домысел —это от слова домыслить, а не придумать.

29 АПРЕЛЯ 1978 ГОДА. МОСКВА. КРЕМЛЬ.

Вершина власти Советского Союза — это третий этаж одного из старинных зданий Кремля. Именно здесь находится кабинет Генерального секретаря ЦК КПСС и его приемная, здесь же зал заседаний Политбюро и так называемая Круглая комната, получившая свое название из-за огромного круглого стола, стоявшего посредине. А вообще-то это была по-современному, под орех отделанная комната с дополнительной дверью в кабинет Брежнева. Иногда казалось, что он любит ее больше, чем свой рабочий кабинет. Именно здесь он проводил совещания, не требовавшие стенографисток, здесь в узком кругу перебрасывались мнениями перед заседаниями Политбюро, где решались спорные вопросы. А главное, здесь не звонили телефоны, не лежали стопки бумаг, требовавших к себе внимания.

В Круглой, или, как ее еще стали называть после ремонта, Ореховой, комнате в этот день после долгого перерыва собралась Комиссия Политбюро по Афганистану. Создана она была еще в 1973 году, после прихода к власти Дауда, но официально не оформлялась. Отношения с Афганистаном развивались нормально, и Комиссия собиралась очень редко—от случая к случаю, большей частью слушая Устинова: связи в военной области представлялись наиболее прочными, и руководство страны раз от раза не забывало подчеркивать, что дружба дружбой, но как бы не произошло у южного соседа накопления оружия.

Сегодня Комиссия собралась в расширенном составе. Кроме Громыко, неизменного председателя, МИД представлял еще и его первый заместитель Корниенко. Министр обороны приехал вместе с Огарковым. Было приказано и Борису Николаевичу Пономареву, заведующему международным отделом ЦК, прибыть в Кремль со своим заместителем Ульяновским. Совмин представлял Архипов.

Не садились, ждали Брежнева. Вполголоса переговаривались, стараясь не касаться афганской темы,— считалось вроде неприличным выражать свои эмоции и давать оценки до начала совещания. Да и какие могут быть оценки, если революции всего полтора дня. Тут уж лучше послушать других, чтобы завтра, случись что в этом Афганистане, не предстать в неприглядном виде.

Наконец отворилась дверь из кабинета Брежнева. Леонид Ильич каждого обнял, поцеловал — к этому, видимо, его приучили многочисленные встречи.

— Начинайте, Андрей Андреевич,— кивнул он Громыко, обойдя всех.

Задвигали креслами, уселись. Выложили на стол папки с документами.

— Товарищи, каждый из нас уже познакомился с ситуацией, сложившейся в Афганистане, — неторопливо начал Громыко, перебирая свои бумажки.— Оценки свершившегося пока самые разноречивые — от того, что это демократическая революция, до определения его как верхушечного военного переворота,— так, кажется, выразился Ростислав Александрович Ульяновский.

— Верхушечный военный преворот, поддержанный армией и частью мелкой буржуазии,— не поднимая головы, уточнил свою позицию Ульяновский.

— Да, такие мнения,— повторил Андрей Андреевич.— Но, я думаю, нам надо сейчас определиться в главном: какое правительство пришло на смену Дауду и будем ли мы его признавать. Если будем, то как быстро. Все остальное, видимо, может подождать.

Громыко замолчал, давая возможность высказаться всем остальным. Однако добровольно первым никто не хотел начинать, и Брежнев, подождав, повернул голову к Пономареву:

— Борис Николаевич, как мне доложили, Тараки уже приезжал к нам в Москву, в ЦК.

— Да, Леонид Ильич. Это было где-то в конце 65-го года, уточнить не сложно. Но прилетал он неофициально, и мы, дорожа хорошими отношениями с Закир Шахом, решили тогда не принимать его на уровне первых лиц.

— Кто же беседовал с ним?

— Я, Леонид Ильич,— выпрямился в кресле Ульяновский.— Беседу с Тараки вел я и заведующий афганским сектором ЦК Симоненко Николай Несторович.

— И о чем же вы говорили? Как вам показался Тараки?

— Беседовали мы часа четыре или пять. Тараки уже тогда выдвигал идею переворота или вооруженного восстания. Нельзя сказать, что фанатичен в этой своей идее, но, по крайней мере, был очень увлечен ею.

— Что посоветовали вы?

— Мы рекомендовали не ставить для партии главной задачей свержение правительства — хотя бы в силу неподготовленности и малочисленности НДПА. Главная задача для них была и, видимо, остается— это объединение партии.

— А разве объединения не произошло? Борис Николаевич! — посмотрел Брежнев на Пономарева, словно это зависело от него.

— Формально — да,— ответил тот.— Но, к сожалению, победы тем и коварны, что тут же вносят раскол. Ростислав Александрович прав — главное для афганских товарищей — это сплочение своих рядов.

— И тем не менее переворот, или вооруженное восстание, или революция свершились,— подвел черту Брежнев и еще раз оглядел всех присутствующих: — Что дальше?

— В любом случае это прогрессивный режим, Леонид Ильич,— отозвался Андропов.— Мир, конечно же, ждет, кто первым признает ДРА. И как быстро,— здесь Андрей Андреевич прав. Нам надо определяться в первую очередь в этом. Я думаю, у нас нет особых оснований для тревог, чтобы не признавать революцию и новое правительство первыми. Потом будут и третьи, и десятые, и сороковые, но помниться афганцам будут именно первые. Надо помнить об этом, и мы не должны упустить этот шанс.

— Мы информировали посла Пузанова, что этот шаг возможен в самое ближайшее время,— тут же дополнил Громыко, почувствовав поддержку. — Он уже нанес неофициальный визит товарищу Тараки, но, видимо, будет лучше, если он это сделает открыто и одновременно объявит о нашем признании республики. Записка по этому поводу уже подготовлена.

Остальные члены Комиссии промолчали, соглашаясь. Брежнев посмотрел на Пономарева и Ульяновского:

— Вы как, не против?

Существовало негласное разделение между МИДом и международным отделом ЦК: все, что касалось отношений с развитыми капиталистическими странами—США, ФРГ, Японией, Францией, здесь приоритет отдавался профессионалам. Суслов же и Пономарев курировали развивающиеся страны и весь «третий» мир с их постоянными революциями и переворотами.

И Пономарев, и Ульяновский поспешно кивнули на вопрос Брежнева: конечно, они не против.

ИВАНОВ Николай Федорович. Родился в 1956 году в селе Страчёво Брянской области. В 1973 году окончил Московское военное суворовское училище, а в 1977 году — факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Служил в Афганистане. Подполковник. В настоящее время служит в Военно-художественной студии писателей. Живет в Москве.

— Я вижу, что мнение по этому поводу едино,— удовлетворенно проговорил Леонид Ильич,— Андрей Андреевич, дайте необходимые указания послу.

— Хорошо, Леонид Ильич.

— Ну, а у вас, у Комиссии, скорее всего, дел прибавится. Тут уж никуда не деться. Поэтому не буду вам больше мешать. До свидания, товарищи.

— До свидания, Леонид Ильич.

ДОКУМЕНТ (сообщение «Радио Кабула»):

«30 АПРЕЛЯ 1978 ГОДА. 20.30. Сегодня, 30 апреля, в 19.30 его Превосходительство Александр Михайлович Пузанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского Союза в Кабуле встретился с Председателем Революционного совета ДРА Нур Мухаммедом Тараки в его рабочем кабинете и во время встречи передал ему послание своего правительства.

В послании, в частности, отмечается, что советское правительство, последовательно придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела других государств и исходя из уважения прав наций на выбор путей решения своих внутренних проблем, официально признает Демократическую Республику Афганистан».

ДОКУМЕНТ (из секретной переписки американских внешнеполитических ведомств по Афганистану):

«6 мая 1978 г., № 3619

Из посольства США в Кабуле.

Госсекретарю, Вашингтон, немедленно.

В посольства США (немедленно): в Исламабаде, Москве, Дели, Тегеране.

Конфиденциально, ограниченное распространение.

Тема: Первая беседа с новым афганским президентом.

1. Нур Мухаммед Тараки, президент нового Революционного совета Афганистана (ему нравится, когда его называют «м-р президент»), принял меня одного в своем кабинете в старой резиденции премьер-министра 6 мая в 17.00. У входа в здание меня встретили те же — начальник протокольного отдела и его заместитель, которые служили еще при прежнем режиме...

2. Тараки приветствовал меня теплым рукопожатием и дружественной улыбкой, что было старательно зафиксировано фотографами. Затем мы сели в углу его кабинета и обменялись шутками, в то время как нас продолжали фотографировать. Я вызвал его громкий смех, когда сказал, что сожалею о том, что за четыре с половиной года пребывания в Афганистане не встречался с ним, и тем более сожалею, что не встречался в течение последних 9 дней.

Тараки говорил на отличном английском, иногда, правда, забывая слова».

КОНЕЦ ИЮНЯ 1978 ГОДА. КАБУЛ.

Первый заместитель премьер-министра Афганистана Бабрак Кармаль почувствовал на себе более чем кто-либо другой, что значит раскол в стане победителей. Сброшенная ему с барского плеча халькистов должность ничего не решала и не значила в стране. Вернее, должность была первейшей, но ничего не значил на ней именно он, Бабрак Кармаль, лидер «Парчама». Как и в прежние годы, вся власть — теперь не только партийная, но и государственная, сосредоточилась в руках «Хальк». И Тараки первым открыто игнорирует своего заместителя-парчамиста, сделав вторым лицом в партии и стране министра иностранных дел Хафизуллу Амина. Человека, которого на последнем съезде партии не избрали даже в состав Политбюро, настолько все делегаты поняли его коварство, приспособленчество, хитрость и жестокость. Неужели Тараки ослеп! Или ему просто выгоден такой человек, чтобы на контрасте с ним самому выглядеть более благородным! К чему в таком случае приведут страну сыновья скотоводов и, как стал в последнее время говорить о себе Амин, «выходцы из нижних слоев среднего уровня»! Да, а вот он — сын генерал-полковника Мухаммада Хусейн-хана — получил образование, его избирал парламент. Почему он должен стесняться этого и почему из-за этого теперь всю жизнь обязан довольствоваться вторыми ролями! Да уже и не вторыми, при нынешней ситуации только слепой не видит, что он, Бабрак Кармаль, уже вообще ни на каких ролях. Его нет. Нет его, его партии, идей «Парчам» — все подмято, растоптано, выброшено за борт истории...

Расплаясь однажды от такого внутреннего монолога, Бабрак Кармаль пришел в кабинет к Тараки. Нет, не так, здесь все решают детали. Перед тем как войти, его вначале остановили, попросили подождать и пошли докладывать. Какая низость! Какое пренебрежение! Еще не хватало, чтобы его не пустили или не приняли.

Бабрак намеревался войти к председателю ревсовета самостоятельно, не дожидаясь разрешения, но вовремя вышел порученец и пригласил в кабинет.

Еще одна неловкость при встречах с Тараки, может быть, даже самая большая,— это то, что Кармаль так и не решил, как же ему называть главу государства, как обращаться к нему. По имени — не так близки они для этого, да и не так он воспитан, чтобы фамильярничать со старшими по возрасту. В традиционном же слове «товарищ» Бабрак видел и чтил первоначальный его смысл и не мог позволить себе поступиться принципами. До этого как-то обходилось вообще без обращения друг к другу: вопрос — ответ — и до свидания, а теперь и встречи стали происходить все реже и реже, только на заседаниях.

— Я слушаю,— поднял навстречу голову от бумаг Тараки, лишь только он вошел.

О, эта усмешка из-под усов! Нет-нет, надо иметь гордость, надо проявить твердость и уехать отсюда. Пусть ухмыляется кому угодно — Амину, готовому лизать пятки, Гулябзою, Ватанджару. А для него, Бабрака Кармаля, это в последний раз. В последний!

— Я пришел, чтобы сказать: я чувствую, что работать в правительстве на своем посту с полной отдачей не могу,— остановившись посреди кабинета, решительно начал Бабрак Кармаль. Вновь удалось избежать обращений, никак не назвав Тараки,— ничего, переживет. Он не Амин, чтобы рассыпаться насчет «великого учителя», это тому надо, дабы сохранить титул «ученика». Он же будет краток: — Я считаю, что в данный момент я мог бы более плодотворно работать где-нибудь послом за границей. Я хочу выступить с этим заявлением на Политбюро.

Надеялся в глубине души Бабрак Кармаль, хотел верить, что Тараки замашет рукой, станет хотя бы ради приличия отговаривать, вспомнит его заслуги перед партией, революцией и страной. Напрягся, но... усмешка, опять усмешка.

— Хорошо, я подумаю над этим предложением,— ответил после некоторого молчания Тараки. Бабрак вдруг подметил, что генеральный секретарь тоже никак не называет его.— Это только ваше решение или ваши товарищи думают точно так же!

Тараки наносил удар, и Бабрак Кармаль вспылил:

— Я говорю от себя, но мои товарищи по партии думают так же.

— Хорошо,— все столь же выдержанно отозвался Тараки. И тут впервые Бабраку подумалось, что он делает ошибку, отдавая Тараки, халькистам свой пост. До этого он хоть как-то, но влиял на политику, ограниченно, но был в курсе основных дел. А теперь! Тараки неспроста спросил про товарищей, он может отправить из страны не только его, но и других руководителей «Парчама». Зря, зря он это сделал, поддавшись эмоциям. В политике побеждает только твердый расчет. Забрать свои слова обратно!

Тараки продолжал с улыбкой смотреть на него, и Бабрак, не попрощавшись, повернулся и вышел. Ладно, хуже все равно не будет. А борьба еще не проиграна, она только начинается.

...Через несколько минут после ухода премьер-министра к Тараки прибыл Амин. Вошел без доклада, поприветствовал учителя.

— Бабрак попросился на дипломатическую работу, найдется ему где-нибудь местечко! — с улыбкой спросил Тараки своего министра иностранных дел.

— Бабраку! Конечно, найдется. И для других, кто его поддерживает, тоже бы нашлось,— хитро глянул, все понимая, Амин.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ: Через неделю в афганском руководстве произойдут изменения. Лидеры «Парчам» оставят свои посты в правительстве и будут назначены послами: Бабрак Кармаль — в Прагу, Н. А. Нур — в Вашингтон, Вакиль — в Лондон, Анахита — в Белград, Наджиб — в Тегеран и Бариалай — в Пакистан. За Кадыром, Каштмандом, Рафи и другими активистами «Парчам», оставшимися в Кабуле, установится слежка.

КОНЕЦ АВГУСТА 1978 ГОДА. КАБУЛ.

Все как обычно: стул посреди комнаты, три человека в разных углах за столами. Лица их скрыты в тенях от настольных ламп, но по голосам, наверное, можно будет узнать, новые это следователи или прежние. Хотя что от этого изменится! До вчерашнего дня он молчал, отрицая все, кроме своего имени — Султан Али Кештманд. Но вчера начали пытать электрическим током...

Конвоир подтолкнул, и он прошел, молча сел на стул. Сейчас начнется перекрестный допрос, когда нет возможности перевести дыхание, подумать над ответом. И в угол, в угол, после каждого вопроса-удара Кештманд физически ощущал это, как его загоняют, вбивают в четвертый, никем и ничем не занятый угол. Единственное, чему научили первые допросы,— это не теряться после каждого вопроса, не пытаться угадать того, кто задал его, а тем более поймать взгляд. Лучше всего опустить голову, прикрыть глаза, что Кештманд, еще не дожидаясь первого вопроса, и сделал.

Где же он находится! Что за подвалы! Судя по носилкам, которые он видел в

коридорах, это может быть центральный военный госпиталь. А где госпиталь — там обязательно и морг. Подумаешь, появится однажды в нем чье-то неопознанное тело — кому до этого будет дело. Бабрак Кармаль перед отъездом предупредил, что в случае раскрытия заговора каждый должен принять любую судьбу, уготованную правительством. А догадаться, какой она будет, несложно. Лишь бы только больше не пытали...

— Когда вы в последний раз видели Бабрака Кармаля? — послышался голос из-за настольной лампы. Кештманд, забывшись, поднял голову, но тут же торопливо опустил ее:

— Дней за десять до его отъезда в Прагу.

— Что он говорил?

— Он говорил, что халькистское руководство изолировалось от народа и народ недоволен им.

— Было ли общее собрание «Парчам» по подготовке восстания? Кто на нем присутствовал?

— Общего собрания не было. Мы встречались друг с другом поодиночке.

— Кто должен был руководить восстанием?

Кештманд замялся, опустил голову еще ниже. По некоторым вопросам он уже предположил, что Абдул Кадыр тоже арестован и что-то уже рассказал. А руководить восстанием, поднимать войска поручалось именно ему.

— Кто должен был руководить восстанием? — повторил, но уже другой следователь и более жестко, вопрос.

«Каждый должен принять любую судьбу...»

— Кадыр.

— Дата восстания?

— Праздник разговения.

— Почему?

— В этот день каждый занят собой, своей семьей...

— Какие указания отдал Бабрак Кармаль Кадыру?

Опять про Бабрака. Значит, они хотят как можно больше собрать материала именно на лидера «Парчам». Можно, конечно, не заметить этого, не уточнять какие-то детали, но... но каждый должен принять любую судьбу. Далась сегодня ему эта фраза.

— Указания Кадыру давал я, а не Кармаль. Я сказал ему, что нынешнее руководство страны отклонилось от главной цели — строительства социализма.

— План восстания?

— Офицеры-парчамисты и те, кто их поддерживает, должны были взять контроль над частями и подразделениями. Гражданские — над государственными учреждениями. Восстание планировалось начать сразу во всех провинциях. От жителей городов и селений должны были организовать прием жалоб на действия нынешнего правительства. Школьников нужно было вывести на митинги... Бабрак Кармаль,— перебив какой-то новый вопрос, торопливо добавил Кештманд,— Бабрак Кармаль подчеркивал и настаивал именно на демонстрациях, на мирном исходе восстания.

— Какой строй вы планировали установить в стране?

— Народно-демократический. Название страны — НДРА: Народно-демократическая республика Афганистан.

— Какую участь в своих планах вы уготовили правительству страны?

— Арестовать и держать до тех пор, пока оно не согласится на сотрудничество.

— Вы были уверены в победе?

— Да... То есть нет... Вернее, никто ничего не гарантировал.

— Роль Кармаля, Анахиты, Нура, Вакиля и Наджиба в восстании?

— Они должны были приехать в Афганистан накануне.

— Каким образом?

— Нелегально. Через Иран или Пакистан.

— Должности в новом правительстве уже были распределены?

— Нет. Только Кадыр предлагался на пост главы правительства и министра обороны. Остальное зависело от лидеров «Хальк». Операция могла идти несколько дней, и если бы правительство пошло на переговоры с нами, восстание можно было приостановить и приступить к формированию нового руководства страны, где «Парчам», соответственно, предстояло занять надлежащие ей посты.

— Председателя реввоенсовета, министра иностранных дел?

— Видимо, да.

— Кадыр был готов к руководству восстанием?

— Не совсем. Он говорил, что у него возникнут трудности с летчиками, потому что они все халькисты или сочувствующие им... Извините, сердце,— Кештманд помассировал грудь.— За месяц до восстания я должен был встретиться с ним и... извините, дайте воды. Мне плохо...

— И что? Что за месяц до восстания?

— Посмотреть... готов ли он... психологически... Воды...

— Эй, носилки сюда. Быстро в реанимацию.

По длинному, узкому коридору двое санитаров везли на носилках потерявшего сознание члена Политбюро ЦК НДПА...

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ: Кадыру и Кештманду революционный суд вынесет смертный приговор, остальным членам заговора будут назначены длительные сроки заключения. Через год, когда к власти придет Амин, он издаст указ № 6 (от 14 числа месяца мизана 1358 года — 6 октября 1979 года): «Принимая во внимание прогресс и гуманные цели Великой Апрельской революции...

с тем, чтобы ликвидировать всяческое чувство угнетения и страха;

а также проявляя доброту и в целях обеспечения атмосферы уверенности и спокойствия для дорогих соотечественников;

...я издаю данный указ, связанный с нижеследующими политзаключенными, которые были осуждены 3 сентября с. г.

1. Абдулу Кадыру, сыну Мухаммед Акрама, смертная казнь заменяется тюремным заключением сроком на 15 лет.

2. Султан Али Кештманду, сыну Наджаф Али, смертная казнь заменяется тюремным заключением сроком на 15 лет...

Настоящий указ вступает в силу с момента его опубликования».

После 27 декабря 1979 года все парчамисты будут выпущены из тюрьмы, Султан Али Кештманд войдет в состав правительства Бабрака Кармаля.

МАЙ 1979 ГОДА.

Год, прошедший после фактического отстранения от власти «Парчам», назвать безоблачным для афганского руководства было трудно.

Холодным душем для Кабула оказались и мятежи в армии, последовавшие один за другим. После первого, вспыхнувшего в марте в Герате, Тараки на сутки прилетел в Москву — просил ввести войска. Визит был неофициальный, о нем знало всего несколько человек. Афганского лидера принял сначала А. Н. Косыгин, потом, чтобы у Тараки не осталось надежд, и Брежнев: оба в категоричной форме отказали в такой военной помощи.

Правда, решено было создать специальный батальон охраны для афганского правительства. Генеральному штабу было поручено подобрать для этой цели солдат узбекской, таджикской, туркменской национальностей.

С мая по сентябрь этот «мусульманский» батальон усиленно занимался боевой подготовкой под руководством комбата майора Халбаева...

10 СЕНТЯБРЯ 1979 ГОДА. ТАШКЕНТ.

— Сначала должен умереть ты, Хабиб Таджибаевич, а уж потом только этот человек,— полковник Колесов[2] показал Халбаеву фотографию пожилого мужчины с благородной сединой в волосах. «Тараки»,— узнал комбат по снимкам в газете президента Афганистана.— Вернее, скажем так: что бы ни случилось там, куда вы летите, но мы поймем тебя лишь в одном случае: если этот человек погибнет, то значит, ни твоего батальона, ни тебя самого уже нет в живых. Извини, но... Задачу по охране поставил лично Леонид Ильич Брежнев. Все. Я сейчас в штаб округа, потом к вам на аэродром...

— Ясно,— кивнул Халбаев, возвращая снимок. Наконец-то все стало на свои места с его батальоном. Не дай бог еще кому-нибудь оказаться в подобной ситуации: полгода упорнейших тренировок, а зачем — одни догадки. Офицеры, не говоря уже о солдатах, думали, что он хоть что-то знает, а ему обо всем — одновременно с батальоном. Ладно, охранять — так охранять, умирать — так... Короче, задача поставлена, будем выполнять.

— По машинам,— крикнул застывшему на плацу батальону.

И что было дела в этот день ташкентцам до колонны Газ-66, выбирающейся из городских улиц в сторону военного аэродрома.

Колонна шла, тыркаясь у светофоров, дергаясь на поворотах, шла с включенными фарами, с машинами ВАИ спереди и сзади — все как обычно. Кому могло прийти в голову сопоставить их движение с прибытием в Москву из Гаваны афганского лидера и исчезновением со страниц газет информации из Кабула.

Наконец показался аэродром. У ворот, зелеными створками захлопнувших дорогу на него, рядом с дневальным стоял Василий Васильевич. Быстро обернулся.

— Товарищ полковник,— не дожидаясь, когда машина остановится полностью, спрыгнул на землю Халбаев.— Батальон...

— Вижу,— остановил Колесов.— В об-

[2] Фамилия оставлена такой, под которой затем полковник служил в ДРА.

щем так, Хабиб Таджибаевич, даем отбой. Пока все откладывается. Возвращайте колонну назад.

— Так, может, здесь переждем! Там уже все опечатано.

— Нет, ты не понял. Откладывают не на час и не на два, а может... навсегда.

ДОКУМЕНТ (из переписки советского Министерства иностранных дел с посольством СССР в Кабуле):

«15 сентября 1979 г.

Советским представителям в Кабуле.

1. Признано целесообразным, считаясь с реальным положением дел, как оно сейчас складывается в Афганистане, не отказываться иметь дело с Амином и возглавляемым им руководством. При этом необходимо всячески удерживать Амина от репрессий против сторонников Тараки и других неугодных ему лиц, не являющихся врагами революции. Одновременно необходимо использовать контакты с Амином для дальнейшего выявления его политического лица и намерений.

2. Признано также целесообразным, чтобы наши военные советники, находящиеся в афганских частях, а также советники органов безопасности и внутренних дел оставались на своих местах. Они должны исполнять свои прямые функции, связанные с подготовкой и проведением боевых действий против мятежных формирований и других контрреволюционных сил. Они, разумеется, не должны принимать никакого участия в репрессивных мерах против неугодных Амину лиц в случае привлечения к этим действиям частей и подразделений, в которых находятся наши советники.

А. Громыко».

ДОКУМЕНТ (из секретной переписки американских внешнеполитических ведомств по Афганистану):

«17 сентября 1979 г., № 6936

Из посольства США в Кабуле.

Госсекретарю, Вашингтон, немедленно. В первую очередь: в посольства США: в Пекине, Дакке, Исламабаде, Джидде; в консульство США в Карачи; в посольства США: в Лондоне, Москве, Дели, Париже, Тегеране; в миссию США в НАТО.

Конфиденциально.

Тема (Ограниченное официальное использование): Напряжение в Кабуле уменьшается по мере того, как президент Амин использует свои политические завоевания.

1. (Полный текст документа — секретно).

3. На 16.00 по кабульскому времени 17 сентября политическая напряженность последних дней ослабевает. Хотя танки все еще охраняют ключевые позиции вокруг Дворца Арк («Дом народов») и комплекс «Радио Афганистана», танковые экипажи отдыхают в тени около своих машин.

4. На сегодняшний вечер запланировано обращение Амина к нации в 20.00 (на пушту) и в 22.30 (на дари). Афганцы ожидают услышать некоторые детали. Например, будет ли Амин по-прежнему следовать уважительному тону по отношению к «больному», уходящему «великому лидеру» Нур Мухаммеду Тараки... или он начнет развенчивать «великого учителя», под которым он служил в качестве «героического ученика»... По заслуживающим доверия сведениям, дочь Амина 16 сентября сорвала в своей школе портреты Тараки и назвала его «плохим человеком».

6. Что случилось с Тараки! Большинство кабульцев, с которыми сотрудники посольства беседовали... считают, что Тараки уже умер от огнестрельных ран, полученных при перестрелке, в которой был убит его охранник, печально известный Сайед Дауд Тарун, 14 и 15 сентября (точная дата пока неизвестна). Вполне могло быть, что Тараки и Тарун вольно или невольно принимали участие в насилии, которое сопровождало чистку последних военных членов кабинета. Сами они в этот момент еще не были включены в график Амина для уничтожения. Согласно расписанию Амина, их очередь была еще впереди. Тем не менее, раз представилась возможность, Амин мог быстро воспользоваться ею. Другой вопрос — почему же тогда Амин держал смерть Тараки в тайне, когда он дал указание о похоронах погибшего Таруна 16 сентября. Многие пока верят, что Тараки еще жив, но умирает и что о его смерти режим в конце концов объявит...

8. Советская реакция в Кабуле... Пока еще не ясно, знало ли советское правительство в Кабуле об акции Амина против Ватанджара заранее. Оказавшись перед свершившимся фактом (если это предположение верно), Советы не имели другого выхода, как терпеливо пережидать быструю смену событий. Кабульская пресса сообщила, что советский посол А. Пузанов посетил Амина 15 сентября в 10.00. Один из наших источников сообщил нам, что встреча продолжалась до полудня. На этой встрече, как можно предположить, между восходящим лидером и его советскими покровителями достигнуто взаимопонимание.

9. Общее впечатление среди дипломатов и осведомленных афганцев: Советы не в восторге, но, возможно, осознают, что в данный момент у них нет иного выхода, как поддерживать амбициозного и жестокого Амина... Теперь Амин — это все, что им осталось. До тех пор, пока не появится другой подходящий момент, он является единственным орудием, с помощью которого Москва может защищать «братскую партию» и сохранить «прогрессивную революцию»...

10. Тем не менее это не означает, что Советы молчаливо соглашаются с этой ситуацией. 17 сентября младший советский дипломат раздраженно говорил нашему сотруднику посольства, что халькисты совершают ошибку, «пытаясь сделать слишком много слишком быстро». Он считает, что режиму потребовалось бы четыре-пять лет, чтобы осуществить то, что они пытаются сделать за четыре месяца. Советский дипломат дал ясно понять, что, по его мнению, халькисты терпят неудачу.

Амстутц».

8 ОКТЯБРЯ 1979 ГОДА. 18 ЧАСОВ. КАБУЛ.

Начальник караула службы охраны Дворца лейтенант Экбаль уже переоделся в гражданское платье, чтобы идти домой, когда его вызвал к себе начальник Гвардии майор Джандад. Поглядывая на часы и чертыхаясь,— должна была подъехать машина и подбросить его до остановки, лейтенант вновь облачился в форму, поднялся на второй этаж.

В кабинете, кроме начальника, сидел и его заместитель по политической части старший лейтенант Рузи. Экбаль только успел доложить о прибытии, как в дверь постучали и вошел его друг — лейтенант Абдул Водуд, начальник связи Гвардии. Увидев друг друга, одновременно спросили взглядами: «Зачем вызвали!» — и так же одновременно пожали плечами.

Джандад пригласил лейтенантов подойти ближе к столу, сам же — высокий, накачанный, упругий, по-кошачьи цепко прошел к двери, проверил, плотно ли она закрыта. Остановился за спинами подчиненных, и когда они хотели повернуться к нему, остановил, положив им тяжелые руки на плечи. Из-за стола на офицеров испытующе смотрел Рузи.

— Я вас вызвал вот по какому вопросу, — начал за спинами майор. — По решению руководства ЦК НДПА и Революционного совета республики бывший глава правительства Нур Мухаммед Тараки должен быть уничтожен.

Лейтенанты, только что вновь хотевшие при первых словах командира повернуться, теперь сами замерли, сжались. Слова начальника Гвардии пронзили, но окончательный смысл доходил медленно. Зачем начальник говорит им это! Такое лучше не знать, даже если служишь в охране. Пронеси и помилуй, милосердный и милостивый...

— И это должны сделать вы! — резко закончил командир.

«Что! Тараки! Они! Уничтожить!»

— Да, вы,— прочел их мысли майор. Вернулся к столу, набычил голову: — Вы — члены партии и обязаны выполнять ее решения.

Теперь лейтенанты боялись посмотреть друг на друга. Словно они уже выполнили приказ Джандада, ЦК НДПА, Ревсовета и... и...

— Надо... вроде... документ такой,— пересилив страх, попытался сопротивляться Экбаль.— Чтобы официально,— тут же поторопился добавить. Надо срочно найти повод, чтобы отказаться, надо дать понять, что он не желал бы выполнять этот приказ. Зачем он ждал машину, мог бы дойти и пешком, а теперь...

— Или хотя бы... обращение по радио,— так же несмело, но тем не менее поддержал друга Водуд. И точно таким же извиняющимся тоном торопливо пояснил: — Чтобы не получилось, что это мы... сами.

Он тоже умолк, видимо, почувствовав, что, собственно, и слова Экбаля, и его — это уже фактически согласие на... на...

Подумать, а тем более произнести слова о предстоящем — этого они просто боялись. Слишком высок от них, лейтенантов, только-только принятых в партию, был Тараки — основатель этой самой партии. И хотя последние события, судя по газетам, показали, что он предал революцию, замышлял убийство их нынешнего руководителя Амина, имя Нур Мухаммеда Тараки, буквально вчера произносимое рядом с именем Аллаха, так быстро еще не могло опуститься в их сознании на землю. Да и убить человека — убить не в бою, а... просто прийти и убить...

— Насчет заявлений можете не беспокоиться — они будут,— навис над подчиненными Джандад.— А я еще раз повторяю: решением Пленума ЦК НДПА Тараки исключен из партии, а решением Ревсовета снят со всех постов и приговорен к смерти. Он теперь — никто, понимаете, никто. Вы выполняете решение партии, волю народа и мой приказ. Вам этого недостаточно!

Этого было достаточно. С самого начала все было достаточно и предельно по-

нятно — они не смогут отказаться. И боялись они, может быть, не столько исполнения приговора, сколько самого командира. Ведь ясно, что если откажутся... Нет-нет, они не хотят умирать в застенках Пули-Чархи. Они не хотят, чтобы погибли их близкие.

Зазвонил телефон, и лейтенанты впились в него глазами: может, он принесет спасение, сотворит чудо! Принесет весть, которая все отменит, выведет из той орбиты, куда их непонятно каким образом занесло, заставит заниматься одного нарядами, другого связью.

— Рузи, к начальнику Генштаба,— выслушав указания по телефону, сказал Джандад молчавшему все это время помощнику по политчасти. Тот стремительно вышел. Значит, и подполковник Якуб все знает...

Джандад вытащил портмоне, прямо в нем отсчитал деньги и протянул несколько бумажек Экбалю:

— Купишь белой материи. Сошьешь в виде простыни и принесешь мне.

«Для Тараки»,— понял начальник караула. Зачем, зачем он согласился на эту должность!

Вернулся возбужденный Рузи и, хотя видел нетерпение находившихся в кабинете, сначала сел на свое место, потом еще удобнее устроился в кресле и только после этого, наконец, сообщил:

— Начальник Генерального штаба приказал хоронить на «Холме мучеников», рядом с умершим год назад его старшим братом.

Для майора это была очередная информация, уточнение деталей, для лейтенантов же — крушение надежд. Спасения так и не пришло. Значит, на то воля Аллаха.

— Идите. Но находитесь на месте, я вас вызову,— отпустил подавленных подчиненных Джандад.

Офицеры вышли и, не глядя друг на друга, разошлись в разные стороны казармы.

— Не проговорятся! — задумчиво спросил Рузи. Сложив на груди руки, он в окно наблюдал за идущим вдоль плаца Экбалем. Снующие по внутреннему двору гвардейцы с заварными чайничками в руках — скоро ужин — отдавали ему честь, но лейтенант не отвечал на приветствия. Он шел точно по белой линии строевой разметки, и подошедший к окну начальник гвардии подождал с ответом, загадывая: что станет делать начальник караула, когда она кончится!

Лейтенант не остановился, не свернул: линия была у него внутри.

— Возьмешь его и съездите на кладбище, проверите готовность могилы. И — полная скрытность, ни один посторонний не должен видеть никаких приготовлений. Солдат для работ с лопатами и кирками пришлют прямо туда. Труп сверху накроете листами железа. Возьмешь их в ремонтной мастерской.

...В ту ночь Тараки не спалось. Он давно потерял счет дням и ночам, а если точнее, то он просто и не считал их. Жил от скрипа до скрипа ключа в замочной скважине: за ним! Оставлять его живым, а тем более долго оставлять живым Амину опасно. Так что обольщаться не стоит. Хафизулла не пощадит его.

А ведь как не хотелось верить в предательство Хафизуллы в Москве, когда об этом предупреждал Брежнев. Улыбнулся он тогда и предложению Громыко объединиться с лидером «Парчам» Бабраком Кармалем, чтобы противостоять рвущемуся к власти Амину. Успокаивал советских друзей: он не рвется, он просто таков по натуре и молодости.

Этот, первый, разговор произошел, когда летел в Гавану, на совещание глав государств и правительств неприсоединившихся стран. А возвращаясь через несколько дней опять же через Москву, услышал от Брежнева и Андропова новости, которые заставили-таки вздрогнуть и серьезно задуматься над положением дел в руководстве страны и партии: Амин в его отсутствие практически отстранил от занимаемых постов самых верных и преданных революции людей — Гулябзоя, Ватанджара, Сарвари и Маздурьяра.

— Это переворот, — сказал тогда Брежнев. — Тебе опасно возвращаться в Кабул.

Но он ответил так, чтобы сохранить и гордость, и достоинство, и даже — на всякий случай, если все не так серьезно — долю пренебрежения:

— Я уже старый человек, и мне не страшно умереть.

Так страшно или нет! Сейчас, когда смерть стояла на пороге, бравировать, лукавить не перед кем. Но нет, нет, страха он и в самом деле не чувствует. Горечь, обида на товарищей — бывших товарищей по партии и борьбе, единодушно переметнувшихся на сторону Амина и проголосовавших за его исключение из рядов НДПА, отчаяние перед обстоятельствами, отчасти даже непонимание происходящего — это есть, это клубится в душе все дни после ареста.

У двери послышались голоса, в скважину неумело вставили ключ. Значит, не охрана. Значит...

Вошли трое — он не сразу узнал офицеров из своей бывшей охраны. По тому, как они остановились на пороге, как, стараясь не глядеть на него, принялись оглядывать комнату, словно только за этим и пришли сюда, стало окончательно ясно: да, за ним.

— Мы пришли, чтобы перевести вас в другое место, — первым пришел в себя от его всепонимающего и, главное, совсем не испуганного взгляда Рузи.

— И вы захватите мои вещи! — уже с откровенной усмешкой спросил Тараки.

— Да, мы перенесем и ваши вещи, — или не понял, или не хотел поддаваться эмоциям Рузи. — Пойдемте.

Однако Тараки прошел к столику, взял стоявший около него дипломат. Испытывающе оглядел офицеров.

— Здесь около сорока тысяч афгани и кое-какие украшения. Передайте это моим родственникам.

Хоть бы один мускул дрогнул, хоть бы как-то изменилось выражение лиц пришедших, — Тараки бы почувствовал, понял, что с его родными и близкими. Но офицеры не выдали, не проговорились даже в жестах и мимике.

— Передадим, — бесстрастно ответил Рузи. — Прошу.

Тараки вышел первым, старший лейтенант, показав взглядом Водуду на одеяло, следом за ним.

— Сюда, прошу, — указал он на одну из комнат, когда они спустились на первый этаж.

Тараки оглядел пустынный, тускло освещенный коридор, поправил прическу — словно выходил на трибуну, к людям, и шагнул в низкую дверь. И уже на правах хозяина, улыбаясь — он и сам не знал, откуда у него столько выдержки, пригласил в комнату офицеров. Увидев Водуда с одеялом, понимающе кивнул. Лейтенант, не ожидавший такого откровенного жеста, стушевался, отступил на шаг, стал прятать одеяло за спину.

— Передайте это Амину, — Тараки снял с руки часы и протянул их старшему лейтенанту.

Когда-то Хафизулла спросил в шутку: «Сколько времени на часах революции!» Пусть знает, что они остановились. Теперь у него остался только партбилет. Как быть с ним! Наверняка потом... после... станут выворачивать карманы. Мерзко, низко!

Нур Мухаммед решительно достал книжицу:

— И это тоже.

— Хорошо, — принял все Рузи. Кажется (вздохнул с некоторым облегчением), приговоренный понял свою участь, не сопротивляется, не елозит у ног — таких приятнее... спокойнее... словом, так лучше.

Достал из кармана кителя тонкую шелковую веревку и, хотя сам мог спокойно связать уже выставленные самим Тараки руки, позвал помощников:

— Помогите.

Связывал тем не менее сам — видимо, просто боялся подойти к осужденному в одиночку. Веревка больно врезалась в запястья, у Тараки уже был готов вырваться стон, но он сдержался.

— Я закрою дверь, — пряча дрожащие руки, сказал подчиненным Рузи и быстро вышел из комнаты.

Лейтенанты, оставшись одни, тут же отскочили от связанного, словно не были причастными к происходящему. Они тоже не могли унять дрожь и смотрели только на дверь, ожидая Рузи и конца всей этой истории.

— Принесите, пожалуйста, воды, — нарушил молчание Тараки, и Экбаль, опередив Водуда, выскочил в коридор.

— Ты куда это! — преградил ему там дорогу возвращающийся политработник.

— Он... просит пить.

— Некогда воду распивать. Пошли, — вернул лейтенанта Рузи.

Кажется, в минуты отсутствия он не просто закрывал входную дверь, а и сбрасывал с себя последние капли нерешительности. И, войдя в комнату, с порога указал Тараки на кушетку:

— Ложитесь.

Тот посмотрел на вернувшегося пустым Экбаля, облизал пересохшие губы. Да, он пожил на этом свете, ему все равно не страшно покидать этот мир, но почему-то очень хочется пить...

Руки были связаны впереди, и Тараки лег на спину.

Рузи словно только этого и ждал. Стремительно подойдя к Тараки, одной рукой зажал ему рот, второй ухватил за горло. Водуд набросил на лежащего одеяло — наверное, чтобы не видеть агонии. Экбаль прижал слабо подрагивающие ноги умирающего.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ: Через несколько минут убийцы вынесут тело Тараки, завернутое в одеяло, и уложат в машину. Она возьмет курс на кладбище Колас Абчикан, «Холм мучеников», как прозвали его кабульцы. Свежевырытую могилу будут охранять несколько солдат.

Когда все будет закончено и Рузи, передавая начальнику Генерального штаба вещи Тараки, посмотрит мельком на часы, они покажут 2 часа 30 минут ночи 9 октября. Это будет время, начавшее отсчет нового поворота в Афганистане, время, которое станет началом и для судьбы ограниченного контингента.

10 ОКТЯБРЯ 1979 ГОДА. КУНЦЕВО-ЗАРЕЧЬЕ

Водитель чуть притормозил за воротами, и Брежнев, зная, что он смотрит за ним в зеркало, кивнул: выйду. Когда-то здесь останавливались без напоминаний, зная привычку хозяина дачи № 6 пройти оставшиеся до дома двести метров пешком. Теперь же все диктуют годы и здоровье, в в дождь и ветер водитель даже не смотрит в зеркальце, везет к самому подъезду.

Сегодня Брежнев решил пройтись: погода стояла тихая, а известия из Афганистана пришли удручающие. Принес их Юра Андропов:

— Леонид Ильич, Тараки убит.

Брежневу вспомнилось, как он вздрогнул, и его вновь передернуло, как от озноба.

— Ну, а что же вы! — он с отчаянием посмотрел на Андропова. 12 сентября, какой-то месяц назад тот, как всегда, немногословно, а оттого, может, и убедительно, дал понять, что пока Нур Мухаммед Тараки будет лететь из Москвы в Кабул, в афганской столице, по данным КГБ, должны произойти события, в результате которых Амин будет убран.

— Когда... убили! — спросил, немного придя в себя, Брежнев.

— Еще два дня назад.

— Как два! Посол только вчера, при тебе, звонил оттуда и говорил, что Амин положительно отнесся к нашей просьбе сохранить ему жизнь. Даже, по-моему, сказал, что они питаются из одной кухни. Да, я не забыл, это говорилось о Тараки.

— Мы просили уже за мертвого.

— За мертвого! И Амин вот так... с нами!

Брежнев встал, начал прохаживаться вдоль стола. Он и сам не заметил, как появилась у него эта сталинская привычка — ходить вдоль стола. А скорее всего, он и не ведал, что повторяет кого-то.

— Как его... убили!

— Задушили. Подушкой. Офицеры из его же охраны.

Охрана! Как же легкомысленно они оставили в Ташкенте батальон.

— Ты говорил, что наши десантники, ну, те, которые уже в Афганистане, готовы были вылететь в Кабул на его освобождение. Что же не вылетели!

— Батальон уже сидел в самолетах, Леонид Ильич. Но... Зенитчикам, которые стоят на охране аэродрома Баграм, был отдан в этот день приказ расстреливать любой самолет, взлетает он или приземляется. Мы еле успели дать отбой, предотвратить...

— Чем же тогда там занимаются наши военные советники! За что получают деньги! Кто там старший!

— Генерал-лейтенант Горелов.

— Горелов! Это тот, что ли, которому мы звание присваивали на ступень выше положенного!

— Он. Но ведь то Дауд лично просил за него, еще до революции.

— Дауд, Дауд... А сейчас Амин. Он давно там!

— Горелов! Три с половиной года.

— И за это время не заиметь влияния среди каких-то зенитчиков!

Андропов хотел что-то объяснить, но сдержался. «А что скажешь, если проморгали», — в который раз за сегодняшний день подумал Брежнев, медленно шагая дорожкой парка.

Злиться не хотелось, вернее, нельзя было: врачи все настойчивее просят не волноваться, перед ужином обязательно дают выпить какую-нибудь гадость под предлогом снотворного или успокоительного. Но разве будешь спокойным, когда такое творится. Тараки... Нур Мухаммед Тараки.

Машина тихо шуршала сзади. Ее можно было пропустить вперед, но до поворота и дому оставалось шагов десять, и Брежнев не стал сходить на обочину. Да и на охране сегодня Медведев, а он себе такие вольности не позволит — уехать, оставить одного. Эх, Нуру бы таких людей. А Амин-то, Амин... Как же просмотрели его! Как допустили, что вырос до таких постов и так стремительно! И не побоялся ведь, хотя прекрасно знал отношение Советского Союза к Тараки. Отношение ЦК. Его, в конечном итоге, Брежнева, отношение. Не побоялся...

Свернул на тропинку к даче. Не оглядываясь махнул рукой сидевшему в машине Медведеву — в гараж. Вот теперь он точно остался один. Уже подсчитывал — на полное одиночество в этой жизни, на этой земле, ему отпущено вот эти 62 шага от поворота до дома. 62 шага в сутки.

Центральную дверь на даче открывали редко — по праздникам или если вдруг принимали гостей. А так пользовались запасным выходом — мимо кухни, подсобок — в холл. Когда-то дача была деревянной, но уговорили перестроить ее, обложили мрамором. Появились третий этаж, лифт, бассейн с парилкой, туалеты в каждой комнате, но исчезли бильярдная, комната с птицами — как много раньше привозили и дарили птиц! — в главное, из дома ушло тепло. Уж сколько горевалось по старому срубу, но кто ж теперь вернет прошлое! Да и вообще в последнее время вокруг него творятся дела без его ведома и согласия. То за время его отдыха в Крыму проложили автотрассу из Внукова к тыльной стороне дачи, то в одну ночь вырубили рядом с воротами рощицу и оборудовали вертолетную площадку, — все, говорят, надо. А то вдруг появляется в какой-нибудь его речи абзац про развитие той же Западной Сибири, и тогда сибиряки требуют денег и средств на выполнение его указаний. А где их взять, лишние деньги! Только если другим не дашь. Надо бы серьезно поговорить с Цукановым, пусть наведет в своем хозяйстве порядок.

Вызвал лифт. Подумав, нажал на третий этаж.

На «голубятне», как Брежнев называл его, были только его рабочий кабинет и библиотека. Леонид Ильич включил свет. Хотел выйти на балкон, но, что-то вспомнив, прошел к столу. Задвигал ящиками. В самом нижнем нашел то, что искал — красную тетрадь со своими пометками и вложенными в нее страничками машинописного текста.

Да, это была рабочая тетрадь, в которой прорабатывались вопросы переговоров с Тараки 10 сентября. Где-то должна быть и справка, подготовленная Андроповым, о положении дел в Афганистане.

Справки не оказалось, и Брежнев попытался вспомнить, что было написано в ней. Что-то о финансировании афганских мятежников в Пакистане, о совещании в Америке по поводу положения дел в Афганистане, о донесениях госдепартамента в посольство в Кабуле по поводу желательности падения режима Тараки — Амина. Что-то еще было... А, о тайных встречах Амина с американским послом, где-то больше четырнадцати неофициальных встреч за последнее время.

Тараки, узнав об этом, поверил окончательно в то, что Амин может его сместить.

Да, тогда, 10 сентября, Тараки поверил ему. Но что он подумал, когда увидел на аэродроме Амина! И как вести теперь себя с убийцей! Что посоветует институт Примакова, востоковеды! Впрочем, что они могут посоветовать, если и Апрельская революция стала для них громом среди ясного неба, если до сих пор не могут окончательно разобраться с различными движениями и партиями в стране. Разогнать бы их наполовину, может, и на пользу бы пошло. Да только за каждого уволенного плакальщик-заступник обязательно найдется, так что будет себе дороже. Только и надежда, что у Андропова и Устинова люди знают свое дело, перекроют прорехи.

Хотя как сказать. От них скорее всего как раз и идет разнобой в оценке афганских событий. Насколько он успел уловить, военные находят ее спокойной, в одном из донесений даже написали, что для Афганистана Тараки — это знамя, а Амин — мотор революции. Советники от КГБ, наоборот, бьют тревогу: все рушится, революцию можно спасти только в том случае, если придут к власти парчамисты во главе с опальным ныне Бабраком Кармалем. Сегодняшнее руководство халькистов во главе с Тараки и Амином скорее случайно, чем закономерно. Оно дискредитировало себя и не пользуется поддержкой народа. А Бабрак не запятнан...

Брежнев все же вышел на балкон. Около летнего бассейна стоял сын и задумчиво смотрел на покрытую опавшими листьями воду. Внизу, около построенного недавно из бамбука детского домика сидели на корточках внуки, рассматривая выползшего на тротуар ежа. Рядом крутилась Галинка...

ДОКУМЕНТ (из секретной переписки американских внешнеполитических ведомств по Афганистану).

«18 сентября 1979 г., № 6976

Из посольства США в Кабуле
Госсекретарю, Вашингтон, немедленно,
Конфиденциально
Тема: Некоторые соображения об афганском политическом кризисе.

2. ...Вот уже 18 месяцев мы наблюдаем, как эта марксистская партия (НДПА) сама себя уничтожает. Одно афганское официальное лицо вчера в беседе с работником посольства потихоньку назвало руководство «кучкой скорпионов, смертельно кусающих друг друга».

Для иллюстрации: если взять список министров, утвержденных в апреле 1978 года, то в нем произведено 25 изменений. Количество изменений среди заместителей министров еще больше — 34. Одна чистка сменяет другую, и трудно даже представить себе, каким образом этому режиму удается выжить...

Я не знаю, что принесет будущее. Поразительно, но Амин выживает, несмотря на заговоры против него, которые следуют один за другим. Конечно, закон средних чисел в конце концов должен настичь и его... Лично я не дал бы ему более 50 процентов шансов, что он останется у власти в этом календарном году.

Я считаю, что его шансы умереть в постели в преклонном возрасте равны нулю.

Амстутц».

27 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА. 16 ЧАСОВ 30 МИНУТ. КАБУЛ.

Ах, пайшанба — святой и лукавый для мусульманина день. Слово это означает «четверг». Четверг на Востоке — наша суббота. Конец рабочей недели. Завтра — выходной.

По четвергам в Кабуле подавали в дома и горячую воду. На два-три часа, но успеть помыться, затеять постирушку можно. Главное, не прозевать это время, поймать, когда «заработают» трубы.

Утром 27-го они молчали, и полковник Анатолий Алексеев, старший среди советских в афганском госпитале, разрешил врачам задержаться, если воду вдруг дадут во время обеда. Да и по опыту уже знал: если день прошел относительно спокойно, то уж ночь жди крутежную. Впрочем, с приходом наших войск обстановка в Кабуле стала намного спокойнее, да и из посольства дали команду: с сегодняшнего дня всех советских больных отправлять в медсанбат к десантникам. К десантникам так к десантникам, хотя, съездив к ним в дивизию, расположившуюся на пустыре за аэродромом, он увидел вместо медсанбата только несколько наспех поставленных палаток.

Полгода назад на инструктаже перед отправкой в Афганистан, им сказали:

— Никакой политики, симпатий или антипатий. Ваша политика одна — высочайший профессионализм. Лечите людей, а не идеологию.

Во время обеда пошла хоть и не очень горячая, но все же и не холодная вода. Постоял, блаженствуя, под душем, до красноты растерся полотенцем: эх, в баньку бы. Набросив куртку, вышел на балкон покурить. И тут же увидел, как из стремительно подъехавшего «уазика» выскочил Тутахел, главный хирург госпиталя. Увидев на балконе Алексеева, замахал руками.

— Что случилось! — крикнул-спросил Анатолий Владимирович, хотя ответа дожидаться не стал: то, что произошла какая-то беда — это ясно и без слов, а раз так, то главное — быстрее все увидать собственными глазами.

— Что! — тем не менее спросил у Тутахела, выскочив уже одетый, из подъезда.

— Надо ехать во Дворец, там большое несчастье, — распахивая дверки машины, растерянно ответил главврач.

В «уазике» уже сидели терапевт полковник Виктор Кузнеченков и один из гражданских врачей-инфекционистов.

— Во Дворце большое несчастье, — не отводя взгляда от дороги, забитой рикшами, водоносами, осликами, «тойотами», повторил афганец. — Очень много отравленных. Сильно отравленных.

Алексеев повернул голову к Кузнеченкову, но Виктор, как мог в тесноте, пожал своими широкими плечами: сам ничего не знаю.

— А... Амин! — осторожно спросил Алексеев.

Афганец скосил взгляд на водителя и ничего не ответил.

«Значит, и Амин», — понял полковник. С Амином ему приходилось встречаться несколько раз. Сначала мельком — это еще при жизни Тараки, но в сентябре, когда произошла та злополучная и непонятная до сих пор перестрелка между охраной Тараки и Амина, в госпиталь привезли изрешеченного пулями аминовского адъютанта Вазира Зерака.

— Анатолий Владимирович, Амин попросил, чтобы его оперировали только советские, — прибежал в операционную Тутахел.

Советские — значит советские. Собрали, кто был под рукой, простояли у стола три часа — спасли Вазира. А когда дело у того пошло на поправку, Амин, уже глава правительства, выделил для своего адъютанта личный «Боинг» и Алексеев с Тутахелом вдвоем сопровождали единственного пассажира сначала в Москву, в больницу 4-го управления, потом и в санаторий.

Про эту перестрелку ходило много самых разноречивых слухов. По одним — Вазир закрыл своей грудью Амина, по другим — Амин инсценировал нападение сам. Мол, если бы захотели убить Амина, подпустили бы еще на два шага ближе и расстреляли бы в упор. Да и при входе во Дворец стоял танк, и по дороге к министерству обороны стояло их еще около пятидесяти — при желании они могли разнести машину, в которой уезжал премьер-министр и истекающий кровью адъютант, в клочья и дым. Но... «Ваша политика — высочайший профессионализм». Надо было — он спас Вазира. Потребуется помощь Амину — он сделает все, что зависит от него, врача. В остальном пусть разбираются политики, советники, КГБ — кто угодно.

У входа во Дворец их уже поджидали, но первым делом почему-то резко потребовали сдать оружие. Обычно, входя в здание, «мушаверы» сами сдавали пистолеты дежурному, здесь же быстрые и сильные руки обыскали их, подтолкнули к двери. Стоявшие рядом афганские офицеры проводили их недовольными, чуть ли не враждебными взглядами. «Что это они!» — подумал Алексеев, открывая тяжелую дверь.

Войдя в вестибюль, врачи тут же замерли. На полу, на ступеньках сидели, лежали в самых неестественных позах люди. Куда там немой сцене в «Ревизоре» — такие позы не придумаешь, они могут быть только при массовом остром отравлении.

Алексеев переглянулся с Кузнеченковым... да, отравление. Первым делом — сортировка: кому помогать в первую очередь, кто потерпит. И противоядие. Есть ли здесь какие лекарства!

Склонились над лежащей на полу женщиной, но по лестнице буквально скатился начальник госпиталя Валоят.

— Наконец-то, — со вздохом облегчения проговорил он и схватил врачей за руки. — Этих оставьте, не до них. Там Амин в тяжелом состоянии.

Амин, раздетый до трусов, лежал на кровати. По отвисшей челюсти, закатившимся глазам и заострившемуся носу было ясно, что они уже опоздали, но, словно всю жизнь работали в паре, Алексеев и Кузнеченков без слов подхватили Амина, потащили в распахнутую дверь ванной. Она была уютной, но не такой большой, чтобы спасать в ней отравленного хозяина, однако выбирать не приходилось. Мешаясь и помогая друг другу, сделали уколы — Валоят стоял у дверей уже со всем необходимым, промыли желудок. Амин — он крепкий, надо побороться...

— Есть пульс, — уловил слабое биение жилки на запястье президента Кузнеченков.

Из ванной — вновь на постель: уколы, давление, пульс, уколы. Появились две капельницы с физраствором, и Алексеев ввел иглы в вены обеих рук. Замерли, ожидая результатов — они сделали все, теперь все зависело только от организма самого Амина. И дрогнули веки умирающего, и подтянулась, сомкнулась в стоне челюсть. Успели. Вытащили.

Впервые после приезда во Дворец офицеры перевели дыхание, осмотрелись.

— Вроде стрельба какая-то, — кивнул на окно Кузнеченков.

Выстрелы — то одиночные, то длинными очередями — звучали совсем рядом с Дворцом, но Анатолий Владимирович не придал им значения: в Кабуле стреляют практически каждую ночь. А время — ни много ни мало, а седьмой час, для декабря это уже ночь.

— Ну что, идем к другим! — Кузнеченков, еще раз проверив пульс и давление у Амина и удовлетворенно кивнув, посмотрел на командира. — Валоят что-то про дочь Амина говорил, вроде тоже отравление.

— Идем, — согласно кивнул Алексеев.

Однако дошли они до коридора: мощный залп сотряс здание, посыпались стекла, погас свет. Внизу закричали, где-то что-то вспыхнуло, и врачи перебежали к полукруглому бару — здесь не было по крайней мере окон, хоть какой-то защитой казалась стойка.

— Неужели «духи»! — вслух подумал Алексеев.

— Черт его знает, — отозвался еле видимый в темноте Кузнеченков. — Эй, что там творится! — приметив кого-то в коридоре, окликнул он.

Подбежал, стреляя короткими очередями, афганский офицер, некоторое время тяжело переводил дыхание, потом отдал им свой автомат и побежал дальше. Оружие показалось легким, и Алексеев, сняв магазин, потрогал пальцем планку — патронов больше не было. Отложил автомат в сторону. «Ваша политика — высочайший профессионализм», — опять пришла на память фраза, и он чертыхнулся. И замер: по коридору, весь в отблесках огня, шел... Амин. Был он в тех же белых трусах, флаконы с физраствором, словно гранаты, держал в высоко поднятых, обвитых трубками руках. Можно было только представить, каких это усилий ему стоило и как кололи вдетые в вены иглы.

— Амин, — увидев, не поверил своим глазам и терапевт.

Алексеев выбежав из укрытия, первым делом вытащил иглы, довел президента до бара. Амин прислонился к стене, но тут же напрягся, прислушиваясь. Врачи тоже услышали детский плач — откуда-то из боковой комнаты шел, размазывая кулачками слезы, пятилетний сынишка Амина. Увидев отца, бросился к нему, обхватил за ноги. Амин прижал его голову к себе, и они вдвоем присели у стены. Это

была настолько тягостная, разрывающая душу картина, что Кузнеченков, отвернувшись от отца с сыном, сделал шаг из бара:

— Я не могу, пойдем отсюда.

Знать бы им, что они — последние, кто видит Амина живым. Эх, пайшанба... День перед выходным...

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ: Врачи перейдут в соседнее помещение — конференц-зал с высокими, широченными окнами с уже полностью выбитыми стеклами. Со двора сквозь стрельбу услышат русский мат и вздохнут с некоторым облегчением: значит, не душманы. Станут между окон, чтобы не задело случайной пулей.

Но только опасность подстерегла с другой стороны. Распахнется от удара ногой дверь, и в темноте запульсирует автоматная очередь. Кто стрелял, зачем — поди разберись в темноте. Но рухнет со стоном на пол полковник Виктор Кузнеченков, и пока Алексеев, уже не обращая больше внимания на стрельбу, донесет его большое, тяжелое тело до лестницы, врач будет уже мертв.

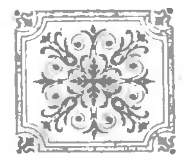
— Мертвых не берем, потом, — отмахнутся от него у входа во Дворец, где грузили на БТР раненых. До него не сразу дойдет, что сказал это на чистом русском языке солдат в афганской форме.

— Он еще жив, просто тяжело ранен,— соврет Алексеев.

Полковника погрузят на бронетранспортер, и Анатолий Владимирович довезет его тело до посольской больницы. Сам станет к операционному столу, на котором один за другим будут меняться раненые: советские, афганские, гражданские, военные.

А первые погибшие при штурме Дворца, первые «ноль двадцать первые» в афганской войне — полковник Кузнеченков, спасавший Амина, и полковник Бояринов, возглавивший штурм Дворца, будут лежать в морге. Рядом. Бояринов за выполнение своей задачи будет удостоен звания Героя Советского Союза, Кузнеченкова тоже отметят орденом Красной Звезды — за выполнение своего врачебного долга. Афганистан начинался вот с таких парадоксов.

Сын Виктора Петровича Кузнеченкова закончит Ленинградскую военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова и станет военным врачом. На кафедре военно-полевой хирургии его учил оказывать хирургическую помощь, работать на черепе, животе, конечностях профессор, доктор медицинских наук полковник Алексеев, который за Афганистан «заслужит» только грамоту с тремя ошибками. Правда, на международном симпозиуме «Медицина катастроф», проходившем в Италии, папа римский за самоотверженность при спасении людей в экстремальных условиях вручит ему символический «пропуск в рай»..



Н. Т. ФЕДОРЕНКО,
академик Флорентийской академии искусств (Италия)

КИТАЙ:
открывая будущее

В нашей стране, можно сказать, с давних пор укоренилась политика ориентации на западноевропейские страны. Вообще выглядит это так, будто Европа суть вселенский центр, сердцевина всего мироздания. Это столь же нелепо, как и суждения древних китайских властителей, полагавших, что Китай—центр Поднебесной, по окраинам которой ютятся варвары и дикари.

Академик С. С. Шаталин торжествующе провозглашает: «Мы становимся частью цивилизованного мира, который раньше так активно нас отторгал, выталкивал нас. Именно отсюда появилась возможность и поучиться у других, и получить помощь».

Что означает «мы становимся частью цивилизованного мира»? Сандвичи «Макдональдса» в Москве, казино в гостинице «Савой», наркомания, мафия, рэкет? Осталось, кажется, не так уж много — легализовать публичные дома — и тогда мы, наверное, в полной мере приобщимся к западной цивилизации.

Налицо бесспорное проникновение совершенно чуждых нашему национальному духу пристрастий. Излишняя популяризация насилия, грубого секса, открытости интимных тайн губительны для культуры... «Огромное количество матерей, отцов ставят нам постоянно в вину культ насилия и секса». Ни стриптиз, ни эротика, ни механический секс Америки не прибавил ничего к подлинной культуре. Напротив, опошлил ее, ибо обнажил самое сущность порока: все делается во имя денег. Это не культура, а бизнес, купля и продажа.

Факт остается фактом: американская цивилизация, достигшая небывалого индустриального развития, не создала высоких образцов духовной культуры. Достигнутое Америкой по сути не культура, но скорее чечетка и косметические средства, которые броско выдают то, что пришло в США в виде «утечки мозгов и талантов из других стран».

В статье «Не терять головы!» на страницах «Литературной газеты» С. С. Шаталин вновь подчеркивает: «В историческом плане мы действительно, пожалуй, имеем последний шанс выкарабкаться с обочины на столбовую дорогу цивилизации».

Что считать столбовой дорогой, повторяю, это еще вопрос. И излишне, думаю, доказывать, что сознательность и культуру людей надо сперва выработать, воспитать, опираясь на моральные принципы и этические нормы, накопленные человечеством. И вот тут-то не следовало бы нам пренебрегать опытом и традициями других стран, в том числе китайского народа с его древними устоями морали и гуманизма. Между тем из поля зрения у нас выпадает огромный геополитический и духовный пласт.

Обратимся, к примеру, к такому пособию, как «Словарь по этике» (издательство «Политическая литература», под редакцией И. С. Кона), выдержавшему несколько изданий. В аннотации подчеркивается, что статьи словаря раскрывают основные понятия этики, «характеризуют важнейшие моменты истории, этической мысли, этические взгляды мыслителей прошлого и современности». Однако, за незначительным исключением, все понятия в словаре взяты из опыта европейской этики. Терминология — почти сплошь западного происхождения. Словарь создает впечатление, будто Восток, особенно Китай, никакой ценности не представляет, а потому можно ограничиться лишь несколькими статьями — «Конфуций», «Лао-цзы», «Буддизм». При этом статья о Конфуции — позволим себе такое сопоставление — в два раза короче статьи о «Демагогии»...

Составители словаря, видимо, не случайно выделили специальные статьи — «Гуманизм» и «Гуманистическая этика», но всецело построили их опять-таки на западном материале, ни словом не обмолвившись о морально-этическом учении Конфуция, в частности о таком важном понятии, как «Ли» — «Этика», «Нормы поведения», «Установления» и т. п. Конфуцию принадлежит афористическое выражение: «Без «Ли» — не смотреть, без «Ли» — не слушать; без «Ли» — не действовать».

Не говорится в словаре и о том, что свыше 25 веков назад китайский ученый впервые поставил человека в центр всего мироздания. Именно Конфуцию принадлежит заслуга в том, что «Жэнь» — гуманизм — стал главным содержанием его учения и проповедей. Разве не многозначителен тот факт, что в небольшом по объему трактате «Лунь юй» («Суждения и беседы»), о котором в словаре лишь упомянуто, слово «Жэнь» встречается свыше ста раз. Останавливаемся на этом именно потому, что многие наши историки и социологи считают, что гуманистические идеи и тенденции всегда были связаны лишь с Европой, опытом и практикой демократии. Они утверждают, что все это и сделало Европу тем, чем она будет оставаться в мире завтрашнем и послезавтрашнем — средоточием гуманистической мысли, ценностей и практики. Позиции эти изложены, в частности, А. Н. Яковлевым в публикации «Европейская цивилизация и современное политическое мышление» («Правда» от 21 марта 1990 г.).

Смею добавить, что многие исследователи — китайские и зарубежные — приходят, однако, к заключению, что человеческая сущность осмыслена на Востоке раньше и лучше, чем на Западе. В частности, этическое учение, тайники которого остаются для наших современников непознанными объектами прошлого. Разумеется, мы имеем в виду критическое познание прошлого, из которого надо брать живой огонь, а не пепел, не золу или сажу.

Странным представляется вывод составителей словаря и об изречении Конфуция: «Государь должен быть государем, подданный — подданным, отец — отцом, сын — сыном», — будто бы это «закрепляло традиционно-патриархальные устои и социальное неравенство (с. 125). Такое толкование нельзя не отнести к приемам вульгарной социологии.

Приведенным афоризмом Конфуций подчеркивал необходимость компетентности — соответствия человека занимаемому положению в обществе, в государстве. Речь идет о том, чтобы государь справедливо исполнял свой долг, чтобы отец был настоящим отцом и чтобы сын был достойным наследником. Именно в этой связи Конфуцием был выдвинут принцип «изменения названий», т. е. принцип приведения в соответствие имени или названия и сущности. Иначе говоря, вещи должны называться их собственными именами.

И все же «Философский словарь» (издание четвертое, дополненное и исправленное) по своей евроцентристской ориентации превзошел даже «Словарь по этике». На более чем семистах страницах этого издания вообще не нашлось места ни для философии Конфуция, ни Лао-цзы, ни Чжуан-цзы, не говоря уже о других великих мыслителях Китая. И это в словаре, который выходил под редакцией академика П. Юдина, в свое время занимавшего пост посла СССР в Китае. Поистине сюжет для иронического жанра. Правда, причина, видимо, не только в личностях: «Не вини коня, вини дорогу», — гласит китайская мудрость.

К сказанному следует прибавить, что наша печать и средства массовой информации изо дня в день насыщаются главным образом западными материалами. Театры и кино заполнены западными пьесами и спектаклями. Восточная драматургия фактически вовсе не представлена.

В наших школах и высших учебных заведениях с незапамятных времен царит ориентация на западное просвещение. Как и в прошлом, у нас все еще живет ностальгия по латинскому, греческому, особенно английскому, французскому, немецкому. Ничего противоестественного с исторической точки зрения в этом нет. Но времена меняются. Меняются также акценты, в том числе и в отношении актуальности познания культур народов мира.

Русский язык и созданная на нем литература издавна являются носителями гуманистических идеалов, общечеловеческих ценностей. Каково же наше собственное отношение к этому важному средству общения и духовных связей между народами Запада и Востока? Весьма прискорбно, но мы являемся свидетелями того, как бурно развивается процесс засорения русского языка. Все чаще появляются в нашей прессе и на телевизионном экране бездумные заимствования главным образом американского происхождения: брифинг, уик-энд, рейтинг, популизм, консенсус, менеджмент, маркетинг, андерграунд, конверсия, эксклюзивность, стратификация, рэкет, рокер, тайм-аут, экстрасенс, репрезентация, ретро, стресс, прессинг и т. п. Все эти иноземные заимствования употребляют без надобности, а ведь адекватные по значению слова существуют в русском языке.

Мои дальневосточные университетские профессора, прежде всего китайские, прививающие интерес своим слушателям к русской речи и ее чистоте, обращали внимание на отсутствие соответствующей службы русского языка. И в самом деле, не похоже, чтобы кто-либо занимался процессом речевого загрязнения и коверканья русского языка. Нет у нас ни центра, ни соответствующего органа, который следил бы за культурой родной речи.

Новая терминология, особенно научно-техническая, внедряется разумеется и в Китае. Но проблемы засорения языка иноземными словами там практически не существует. Зарубежная терминология — научная и общественно-политическая — не «клишируется и не калькируется» механически, как у нас, а вводится в язык по смыслу того или иного слова. Иероглифика обладает в этом отношении неисчерпаемыми возможностями. Иностранный термин приобретает китайскую композицию и становится понятным любому человеку. Даже такие слова, как «коммунизм», «социализм», «интернационализм», которые звучат почти одинаково на всех языках мира, переведены на китайский и звучат как самобытные китайские слова.

Об этой особенности китайского языка можно было и не писать, если бы на глаза мне не попалось рассуждение Н. С. Хрущева, который в своих воспоминаниях «Мао Цзэдун и раскол» дает этому свою совершенно неожиданную интерпретацию. «Потом он (Мао Цзэдун. — Н. Ф.) принялся рассуждать о характерных особенностях Китая. В качестве примера он сослался на тот факт, что в китайском языке нет ни одного иностранного слова. «Народы всего мира употребляют слово «электричество», — хвастливо говорил Мао. — Они позаимствовали это слово из английского языка. А у нас, китайцев, имеется собственный термин!» От этого шовинизма и высокомерия у меня прямо-таки мурашки по спине забегали» («Проблемы Дальнего Востока», 1990, № 2, с. 114).

Интересно, что бы сказал Н. С. Хрущев, прочитай он высказывание А. С. Пушкина: «Язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими»? Или А. П. Сумарокова: «Восприятие чужих слов, а особенно без необходимости, есть не обогащение, но порча языка»? Представления Н. С. Хрущева о «шовинизме и высокомерии», мягко говоря, не могут не вызвать изумления.

Пока что у нас делаются первые шаги в ознакомлении с китайским традиционным искусством. На экранах телевизоров стали эпизодически появляться демонстрации национальных школ Ушу, Тайцзи, Кунбу. Внедряется иглотерапия. Ведутся передачи об искусстве цигун, древней методике, которая, по оценке японских ученых, считается медициной будущего. К сожалению, феномен цигун, в основе которого заложены материя и микроэлектроника, у представителей советской науки интереса почти не вызывает.

Что касается современной музыки, то у нас безраздельно царит западное «поп-искусство», «рок-культура». Особенно престижным эстрадные артисты, по-видимому, считают исполнение песен советских авторов на английском языке. Возможно, они рассчитывают, что таким путем можно добиться большей популярности, успеха.

Слов нет, нам нужна взаимосвязь с внешним миром, его культурой и искусством, ибо мы — неотъемлемая часть мирового сообщества, а не пространство, отгороженное «железным занавесом». Но, соприкасаясь с зарубежной жизнью, мы должны обладать собственной духовной устойчивостью, воспитать в себе национальный иммунитет, сознание своей принадлежности к народу, тебя породившему. Человек представляет определенную ценность и интерес именно благодаря тому, что является носителем неповторимой национальной культуры. А это прежде всего предполагает знание родной истории, сказок, песен, которые мы с самого раннего детства впитываем от своих родителей и пращуров; знать, любить и ощущать глубину народного бытия, осознавать свою связь с корневой ее преемственностью.

И мне трудно понять, почему у нас игнорируется искусство Востока, китайская музыкальная культура и всячески поощряется западная эрзац-культура. Тем самым мы способствуем процессу вестернизации нашей страны, открывая шлюзы системе валового производства «массовой» культуры. Эрзац-культура — это скорее проявление духовной нищеты и вырождения, чем процветания.

Китайцы, несомненно, лучше информированы о нашей стране, больше знают о жизни нашего народа. Помимо общих сведений, в Китае весьма многообразно представлена наша культура, искусство, литература. Достаточно сказать, что в Пекине и других городах страны издаются многочисленные журналы, публикующие на своих страницах советскую литературу на китайском языке. Можно сказать, что наши литературные новинки, как правило, появляются в Китае быстрее, чем в других странах, в том числе в западных государствах, не говоря уже о русской классике, которая полностью переведена на китайский.

Прибавьте к этому, что русский язык преподается не только на курсах, но и в школах, институтах, университетах. В столице и провинциях. По радио и телевидению.

«Китай знает Россию, — подчеркивал академик В. М. Алексеев, — во много сотен раз лучше, чем русские Китай» («Восток—Запад», М., 1985, с. 254). И далее: «Для того, чтобы Китай заговорил с нами достойным нас языком, надо и нам с ним говорить достойным его языком. Основа достойного языка не в стереотипных фразах вежливости, а в глубоком взаимном понимании» (там же, с. 260).

Наш евроцентризм в немалой степени исходил от бывших руководителей внешнеполитического ведомства — Молотова, Вышинского, Громыко, который, как теперь стало известно, голосовал за вторжение наших вооруженных сил в Афганистан. Не случайно никто из них серьезно не занимался восточными проблемами. Они перекладывали эти дела на своих помощников. Ни один из них за долгие годы руководства дипломатией не удосужился хотя бы однажды побывать в Китае. Все их взоры были прикованы к Западу. Они оставались приверженцами однополюсной политики — США, Запад. Восток для них будто вовсе не существовал. Они его игнорировали.

На очевидность нашего евроцентризма указывают наблюдатели различных стран. Так, газета «Таймс оф Индия» опубликовала статью профессора Центра советских исследований при Делийском университете Зафара Имама. Он утверждает, что в Советском Союзе «имеется мощная группа политиков, которые усиленно работают над тем, чтобы переделать советскую систему, включая внешнюю политику, на западный манер». «Сам министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе (теперь бывший. — Н. Ф.) является горячим сторонником Запада, а все члены влиятельного Президентского совета, за исключением Е. Примакова, — евроцентристы» («Известия» от 17.10.1990 г.).

Быть может, кто-то сочтет это необоснованным, не согласится с таким утверждением, захочет оспорить. Но таково суждение специалиста, взгляд со стороны.

Если провозглашать Европу нашим общим домом, в котором мы стремимся расположиться, то естественно возникает

вопрос об остальном мире, во всяком случае, не меньшем и по масштабности, и по значимости, то есть вопрос об Азии, в особенности о нашем непосредственном соседе Китае. Не получается ли, что мы словно бы пренебрегаем дальневосточным ареалом? Разве не возникает вопрос, почему нет Хельсинки азиатско-тихоокеанского региона, хотя существует Хельсинки в Европе?

Самой судьбой нашей стране предопределено служить мостом, связывающим Европу и Азию. Советский Союз уже в силу счастливого соединения цивилизации этих континентов, евроазиатской своей двукрылости, призван историей сыграть роль объединительную, способствующую пониманию и сотрудничеству народов двух половин единого целого. Нельзя не считаться с тем фактом, что Советский Союз занимает значительную, если не большую, часть Азии и соседствует с Китаем. Выходит к Тихому океану, который, как известно, еще Герценом был мудро назван Средиземным морем будущего.

В этой связи перед Советским Союзом и Китаем пролегает многообещающая и благодатная дорога, полная больших и неисчерпаемых возможностей. Это должно пробуждать стремление у наших народов к лучшему познанию друг друга, а не к взаимному разобщению и отчуждению.

Плодотворное сотрудничество немыслимо при отсутствии понимания и доверия, невозможно в условиях существования диспропорций, дискриминации и несправедливости.

В стратегическом же плане Китай является для нашей страны важнейшим фактором сбалансированности международной политики Запад — Восток. Отдают себе в этом отчет и в Китае: «В нынешнем неспокойном мире, — отмечает директор Института СССР и Восточной Европы при Академии общественных наук КНР Сюй Куй, — каждому из наших народов особенно важно сознавать, что у него надежный тыл, что за его спиной — добрый сосед, которому можно доверять. Подписанное в Москве соглашение о принципах взаимного сокращения вооруженных сил и укрепления доверия в военной области на китайско-советской границе позволит ощутить плоды нормализации не только нашим народам».

Не лишены оснований и соображения западных наблюдателей, что концепция общеевропейского дома может быть привлекательна для США, в частности тем, что она способна отвлечь Советский Союз от Китая и азиатско-тихоокеанского региона.

Ведь не секрет, что США с особым пристрастием следили и следят за развитием отношений Советского Союза и Китая. Излишне пространно говорить о том, что в нормализации и укреплении советско-китайских отношений менее всего приходится рассчитывать на понимание со стороны США, хотя они более всего провозглашают свою заинтересованность в улучшении межгосударственных отношений стран дальневосточного региона и Азии. Наверное, они не только сокращают свои вооруженные силы и военные базы на Дальнем Востоке, но еще более их укрепляют. Сближение Советского Союза с Китаем всегда вызывает страх на Западе. И напротив, всякое осложнение в их отношениях встречается с большим удовлетворением. Белый дом готов сделать все, чтобы воспрепятствовать добрососедским отношениям Советского Союза и Китая. При этом, по мере улучшения этих отношений, все более активизируется американская деятельность, направленная на их усложнение. Особенно усердствуют американские эмиссары во время своих участившихся вояжей в Китай, стараясь доказать агрессивность советской политики.

Помощник госсекретаря США по делам Азии и Тихого океана Соломон откровенно выразил стратегический смысл американской политики азиатско-тихоокеанского региона: США, подчеркнул он, по-прежнему сомневаются в целесообразности создания азиатско-тихоокеанского механизма безопасности. После окончания «холодной войны» Соединенные Штаты видят свою новую роль в Азии в том, чтобы служить «стабилизатором» в регионе, и никто другой, по его словам, не способен справиться с этим. Так что главные элементы азиатской стратегии США — силы передового базирования, зарубежные базы, двусторонние военные соглашения — должны, мол, оставаться неизменными.

«Европейский пример не может быть сравним с разнообразием ситуаций, которые мы наблюдаем в азиатско-тихоокеанском регионе, — говорит министр обороны США Чейни. — АТР — это прежде всего морской театр военных действий, где отсутствуют перекрывающие друг друга союзнические структуры. США служат как бы уравновешивающим элементом в регионе. Поэтому стремление СССР ограничить действия флотов не отвечает интересам стабильности. И поэтому мы по-прежнему выступаем против контроля над морскими вооружениями». Газета «Крисчен сайенс монитор» расценивает слова Соломона и Чейни как попытки вашингтонской администрации найти новые обоснования для военного присутствия США в азиатско-тихоокеанском регионе.

Кстати, АТР — это не только Китай или Япония. Это еще и так называемые «четыре дракона» — Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Опираясь на богатые духовные традиции, они набирают все более высокие темпы. Однако стоит задуматься над тем, почему Южная Корея, стремительно развивающаяся в последние годы, имеет в области внешней торговли активный баланс. Почему эта еще вчера полуотсталая азиатская страна стала соперницей высокоразвитой Японии в международной торговле? Южная Корея лидирует в «четверке драконов», демонстрируя жизнестойкость традиций культуры древнего и молодого народа. Уместно привести здесь признание самих южнокорейцев. «Конфуцианская философия, — отмечает социолог Пак Ун-Чжу,— это философия любви. Любви не в узком смысле слова, а в понимании, как благотворительности, гуманности, как уважительности к каждой личности. Атмосфера взаимного уважения и сотрудничество всех членов общества, дух оптимизма, которые характерны для Южной Кореи, изначально восходят к конфуцианству. Конечно, и Будда, и даже Христос оказали влияние на становление нашего национального характера, но в первую очередь, конечно, это были идеи Конфуция. Они же и создали предпосылки для развития корейской экономики, для быстрого ее взлета. Сегодня в Корее невозможно заниматься бизнесом, не уважая и не понимая Конфуция: его участие очень реалистично и утилитарно. Особенно его призыв к знаниям и культ учености. Важно, что у наших молодых людей к нему не меньший интерес. Тот, кто не знает своих традиций, совершает много ошибок, он постоянно находится в конфликте с самим собой и окружающими. Сейчас конфуцианство реализует себя именно в духовной активности». Однако наши ортодоксальные газетные оракулы упорно стараются доказать, что «чудо» — это вовсе не чудо, а всего лишь экономическая «мифология», продукт цивилизованного цинизма. Иными словами, повторяется то же, что ими уже говорилось о японском экономическом взлете.

Китай, как и Япония, сохраняя национальные традиции духовной культуры, опирается на нравственные устои народной жизни, воспитывая и совершенствуя в человеке саморегуляцию, выдержку, самообладание.

Очевидно и то, что ведутся неустанные поиски путей объединения западной технологической науки и восточной духовной культуры в целях создания нового миропонимания, нового мышления. Известно, что не только для прошлого, но и для нашего времени характерно взаимовлияние и взаимодействие Запада и Востока. Разве это не две взаимозависимые половины, образующие единое целое? Разве не происходит и теперь сближения всех культур? Своего рода синкретизм? Разве люди ждут света только с Запада, оставляя в стороне Восток?

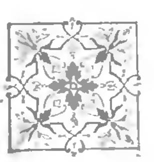
Без высокой культуры, нравственных устоев, без духовности китайский народ, насчитывающий ныне более миллиарда человек, несомненно, не смог бы, например, на относительно ограниченной территории решать экономические проблемы, обеспечивать жизнь населения, не прибегая к импорту продовольствия. И здесь нам есть над чем поразмыслить. Утверждая и пропагандируя собственное свое мировоззрение, мы нередко игнорировали чужое, либо проявляли пренебрежение к иным взглядам и миропониманию. К великому удовлетворению, ныне многое изменяется. Мы стали внимательнее относиться к иным мировоззрениям.

А может быть, стоит и поучиться. Поучиться великому трудолюбию китайского народа, его упорству в достижении поставленных целей. Не смогли его вытравить ни годы безумной «коммуникации» на селе, ни десятилетие разгула «культурной революции» хунвэйбинов. Поучиться уметь жить скромно, что органично взаимосвязано с непрерывностью уважительного отношения к традициям просвещения, к знаниям. Понять явление синтеза традиций и современности, вечной проблемы, сопутствующей человеческому обществу на путях его исторического движения.

Отношения между народами, как и между людьми, прежде всего требуют понимания, открытости и доверия. Понимать, говорят в народе, значит уметь прощать. Подозрительность и недоверие к нам шли, в первую очередь, от нас самих, от собственной нашей подозрительности и недоверия друг к другу, которые упорно воспитывались в нашей стране на протяжении долгих лет культа личности и застойности. Взыскательность к себе—вот чего нам недоставало. И происходило это по причине того, что нам не хватало культуры человеческих взаимоотношений. Движимые социалистическим эгоизмом, вытеснявшим из нашего сознания понятия стыда, милосердия и веры, мы постоянно искали дурное вне себя, у других, не вглядываясь в собственное сознание, в свою душу.

Что и говорить, нелегок путь преодоления долгой отчужденности в советско-китайских отношениях. На смену «образа врага» приходит ныне образ друга и соседа.

Быть может, пока и не во всем совпадают представления китайского и советского руководства, но при всех обстоятельствах Китай стоит ближе к нам идеологически и мировоззренчески. Мы — естественные соседи. Самой природой и историей заповедано нам жить в мире и согласии.



Летопись России: история в лицах

СВЯТЫЕ КНЯЗЬЯ-СТРАСТОТЕРПЦЫ БОРИС И ГЛЕБ

Вглядываясь в образ страстотерпцев князей Бориса и Глеба, постепенно разглядываешь за ними и первоначальный образ христианской России и даже языческий образ ее, понимаешь, почему так легко Россия приняла христианство. То есть без особой проповеди и особой борьбы.

Не случайно они, замученные за Христа, считаются не мучениками, а страстотерпцами, просто мученье терпевшими. Ведь они были убиты как будто по политическим мотивам, и не только за Христа.

Но в том-то и дело, что это святые особые, и только народ своим сердцем понимает их святость, греческая церковь отказывалась их даже причислить к лику святых.

Рано установилось народное почитание этих святых, Господь сразу прославил их святость многими чудесами. Поэтому, рисуя земные портреты Бориса и Глеба (в святом крещении Романа и Давида), нужно еще дать портреты небесные.

Итак, житие святых Бориса и Глеба, прежде всего по Димитрию Ростовскому. Посмотрим на происхождение, на родословную этих святых.

Борис и Глеб — это сыновья Владимира Равноапостольного, просвятившего в X веке Россию.

У Владимира было многочисленное потомство. Будучи язычником, он имел множество жен. Святополк окаянный — третий сын, который и придумал злое убийство братьев.

Мать Святополка — греческая монахиня, красавица, ее расстриг брат Владимира Ярополк. «Владимир, тогда еще язычник, убил Ярополка и взял его жену себе в замужество, от нее-то и родился Святополк окаянный», — читаем в житии.

Борис и Глеб родились от болгарыни, а в Болгарии уже было христианство. Были дети еще и от других жен, но мы остановимся на этих. Посадил их отец на княжение по разным землям: Святополка в Пинске, Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме.

В то время, о котором мы будем рассказывать, по истечении 28 лет по святому крещению, постиг Владимира злой недуг, он был болен. К отцу прибыл Борис из Ростова, печенеги шли ратью на Русь. Печенеги — кочевой народ, они часто нападали на Россию.

Защищая Русь, Владимир строил города по рекам Десне, Остру, Трубежу, Суле и Стугне, как сторожевую линию против печенегов. Владимир был в великой печали, потому что не имел сил выступить против безбожных. Бориса вызвал сам отец, так как этот сын был «блаженный и скорослушливый», как говорится в житии, дал ему много воинов и послал его против безбожных печенегов.

Борис был старше, знал грамоту и любил читать книги, прося у Бога, да сподобит Он его того, что есть у святых. Глеб это слушал и был неразлучно с братом.

Когда Борис достиг совершеннолетия, отец его задумал женить, он отказывался, но бояре настаивали на женитьбе, и Борис, послушный воле отца, женился. Отец его, женив, послал на княжение во Владимир Волынский, где он проявил много милосердия. Узнав, что Святополк замышляет убийство, князь Владимир возвратил его в Киев, это было до послания Бориса в Ростов.

Борис не нашел супостатов своих на обратном пути, Бориса встретил его вестник и сказал, что отец его умер. Святополк утаил смерть отца. «Ночью разобрал пол палат в селе Берестовом, обернул тело умершего в ковер, спустил его на веревках, отвез в санях в церковь св. Богородицы», — все это делалось тайно.

Борис оплакивал смерть отца и не знал, кому поведать свою печаль. Старшему брату? Но он думает о мирской суете. Все-таки решился поведать ему, тем более что хотел там увидеть лицо брата Глеба.

Теперь посмотрим, как произошло убийство. Димитрий Ростовский настолько это рисует явственно, что видишь все, как сейчас.

Вот едет Борис к старшему брату Святополку, он понимает, что тот замыслил убийство, но все-таки едет. Его размышления. «Если я пойду в дом отца, то многие обратят внимание, что пришел изгнать, а это все мирская суета и мимолетно, тщетно и ничтожнее паутины».

Идя своим путем, он думал о себе, что еще молод, и хотелось плакать. Хотел удержаться от слез и не мог, ибо, как замечается в житии, был правдив. Его укрепляла та мысль, что, если брат его и убьет, он будет мучеником за Христа. И шел с радостным сердцем.

Святополк, восседая в это время на отеческом столе в Киеве, сделал для многих непонятный шаг: раздал киевлянам многие дары и отпустил их, а Борису послал весть: «Брат, я хочу с тобою жить в любви и увеличу твою честь в отчем наследии», — но все это было неискренне, он замышлял убийство. Он прибыл тайно ночью в Вышгород, призвал вышгородских мужей и заручился от них в верности себе. Те поклялись:

— Мы все готовы за тебя головы свои положить.

Заручался от них дважды:

— Если вы обещаете положить за меня головы, идите тайно, найдите брата Бориса и улучив время убейте его.

Они обещали.

На обратном пути Борис остановился на р. Альте, близ Переславля-южного. Дружина ему посоветовала:

— Иди и сядь на княжеском столе отца своего, ибо все воины находятся у тебя.

Борис отвечал:

— Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего.

Воины разочарованно ушли от него, и Борис остался только с отроками своими.

В примечании сказано, как замечено по Нестору, Борис посылал одного отрока с мольбой, но окаянный удержал его у себя, не отпустил.

И вот настал день субботний, Борис, удрученный печалью, вошел в шатер свой и со слезами возопил к Богу:

— Слез моих не презри, Владыко. Уповаю на Тебя, что приму жребий с Твоими рабами. — В это время он думал о мучении и страдании святого Никиты и святого Вячеслава (память первого — 15 сентября старого стиля, второго — 28 сентября) и полагал, что он будет убит, подобно им и подобно святой великомученице Варваре, которая была убита своим отцом (память — 4 декабря).

Это его утешило и привело в некоторый покой.

Наступил вечер, Борис велел служить вечерню, молился со слезами, потом уснул, и был сон его, как замечается в житии, полон многими думами и глубокой, страшной печалью: как все выдержать и остаться верным Богу.

Проснулся тогда, когда нужно было быть утрени, наступало уже воскресенье.

Он велел священнику начинать службу, сам обулся, умылся и стал молиться Богу.

Посланные от Святополка пришли на то место еще ночью, услышали голос Бориса, как тот пел псалмы, потом молился:

— Господи Иисусе Христе, Ты явился сим образом на земле, изволил добровольно взойти на крест и принял страдания за наши грехи. Сподоби и меня пострадать. — Но, услышав сильный топот около шатра, затрепетал, залился слезами и сказал: — Слава Тебе, Господи, что сподобляешь меня принять горькую смерть, я не ищу княжения. В Твоих руках, Владыко, душа моя.

Священник и отрок, увидя Бориса ослабевшим, сами тоже заплакали и воскликнули:

— Милый господин, какой благодати сподобился Ты, не стал противиться брату ради любви Христовой, хотя и мог бы защититься, имея много воинов.

И вдруг они увидели бегущих к шатру, блеск оружия и обнаженные мечи. Безжалостно было пронзено тело Бориса копьями. Отрок Бориса бросился на его тело и сказал:

— Пусть и я буду сподоблен окончить путь свой здесь, — родом он был венгерец, звали Георгий, его тоже пронзили копьями.

Но князь Борис ранен был несмертельно, он выбежал из шатра. Здесь находящиеся, посланные Святополком, решили с ним разделаться окончательно.

Борис стал упрашивать их:

— Братья мои милые, погодите немного, дайте помолиться Богу.

Он благодарил Бога, что помог ему освободиться от «прельщения жития сего», затем обратился к убийцам и, глядя на них, как подчеркивается в житии, «умиленными очами, заливаясь слезами», сказал им:

— Братья, приступите и окончите повеленное вам и да будет мир брату моему и вам, братья.

Все видевшие это плакали.

Посланные Святополком, убив Бориса, избили и многих отроков, отроку Георгию отсекли голову и отбросили в сторону.

Тело Бориса обернули шатром и повезли на повозке. Доехав до леса, они увидели, что Борис еще жив. Ему пронзили сердце, он окончательно скончался.

Это было 24 июля, тело его тайно перенесли в Вышгород и погребли его у церкви святого Василия.

Убийцы явились к Святополку, ожидая от него похвалы. Но на убийстве брата Бориса Святополк еще не остановился, он размышлял так: «Если я остановлюсь на сем убийстве, то меня ожидает двоякое зло. Братья воздадут мне за содеянное, изгонят меня. Поэтому приложу беззаконие к беззаконию». Он замыслил убить еще Глеба.

Он притворно сказал Глебу:

— Иди, отец зовет тебя.

Глеб сел на коня и помчался на зов.

Доскакав до Волги, конь его у устья реки, в поле, споткнулся и повредил себе ногу. Прибыв к Смоленску, Глеб остановился на реке Смядыне в лодке.

В это время к четвертому брату, Ярославу, прибыла весть о смерти отца. Он предупредил Глеба:

— Не ходи. Отец твой умер, брат Борис убит Святополком.

Услышав об этом, Глеб зарыдал:

— О милый мой брат и господин, если Ты получил дерзновение у Бога, моли и обо мне, да буду сподоблен той же смерти, что и Ты.

В это время неожиданно пришли злые слуги Святополка.

Святой Глеб плыл в лодке, и они его встретили на устье Смядыни. Увидев их, он возликовал, желая принять их с любовью, а они стали мрачными.

Когда лодка поравнялась, злодеи схватили лодку князя за уключину, подтянули к себе и стали скакать в нее, имея в руках обнаженные мечи.

У гребцов Глеба от страха выпали из рук весла.

Глеб увидел, что его хотят убить, и, как замечается в житии, взглянул на злодеев умиленными очами и сокрушенным сердцем, смиренным разумом и частым воздыханием, заливаясь слезами и слабея телом, стал молить их:

— Не троньте меня, братья мои милые и дорогие. Какую обиду нанес я брату моему и вам, братья. Если и есть обида, то ведите меня к князю вашему. Пощадите юность мою. Будьте мне господами, а я ваш раб.

Но убийцы не смутились, не устыдило их, как замечено в житии, ни одно слово. Глеб понял, что они не внимают его мольбе, и обратился с мольбой к родителям своим:

— Будь спасен, милый мой отец и господин Василий (имя Владимира при крещении), будь спасена, госпожа моя, мать, будь спасен, брат Борис, старейшина юности моей, брат Ярослав, мой помощник, будь спасен и ты, брат и враг Святополк, и вы все, братья и дружина. — И, преклонив колена, стал молиться: — Прещедрый, премилостивый Господь, не презри слез моих. Вот я заколаем, но зачем и за какую обиду — не знаю.—Потом, взглянув на убийц, сказал: — Приступите и кончайте то, зачем посланы.

Старый повар Глеба, именем Торчил, взял голову Глеба на колени и перерезал ему горло.

Случилось это 5 сентября, в понедельник.

Ярослав возмутился убийством, пошел войной на братоубийцу, тот собрал свое войско, встретились у Днепра, бой не начинался около трех месяцев. Начались заморозки, Святополк все время пьянствовал. Ярослав на своих лодках переплыл на другой берег. Сильная была сеча. Воины Ярослава прижали Святополкову рать к озеру и одолели ее, Святополк бежал к ляхам, Ярослав сел на отцовском княжении в Киеве.

Через два года Святополк пошел на Ярослава с королем Болеславом и ляхами. Войска встретились у реки Буга.

Сначала победил Болеслав, Ярослав бежал в Новгород.

Конец Святополка страшный: он сошел с ума, все время повторял: «Бегите, бегите, гонятся за нами».

Он пробежал всю ляцкую землю и скончался там. Из могилы его, как утверждается в житии Бориса и Глеба, исходил злой смрад.

С того времени затихла на Русской земле крамола, так заканчивается житие, и Ярослав получил господство на Руси.

Теперь начинается иное житие святых мучеников Бориса и Глеба, полное всяких чудес, перст Божий указывает на их святость.

Народ узнал, что Борис погребен в Вышгороде; о Глебе не все знали, что убит в Смоленске. Были посланы священники отыскать тело, отыскали и перенесли в Вышгород.

Небесное житие святых страстотерпцев Бориса и Глеба начинается с видения зажженной свечи, огненного столпа и слышания ангельского пения на месте их захоронения в Вышгороде. Нелегко этому сразу поверили, что их Бог прославляет.

Пришли варяги, и один из них ступил ногой на могилу, тотчас огонь опалил ноги.

Это заставило многих задуматься.

Второе. Загорается церковь — пономарь, одолеваемый сном, оставляет свечу на высоком месте. Когда стали тушить, было удивительно, что горит сверху, поэтому успели все вынести, пока не загорелось снизу.

На том месте построили храмину, куда и положили тела.

Сначала обо всем случившемся сообщили князю Ярославу, тот сообщил митрополиту Иоанну, и все двинулись на место захоронения. Когда открыли гроб, телеса страстотерпцев были нетленными, белы, как снег, и лица светлы, как у ангелов.

Строят церковь на месте храмины с пятью главами. Расписывают, украшают иконами, в церковь переносят мощи святых при большом стечении народа, и устанавливается празднование 24 июля — после того, как князь раздал много имения нищим, сиротам и вдовицам.

В 1054 году Ярослав скончался, наследниками остаются сыновья: Изяслав, Святослав и Всеволод. Разделяется имение между всеми. Изяслав княжит в Киеве, Святослав в Чернигове, Всеволод в Переяславле. Церковь, построенная в память Бориса и Глеба, обветшала, построили новую, туда переносят мощи.

Мощи Глеба поставили на сани и повезли. Когда открыли их, все исполнилось благоухания.

С мощами Бориса несколько было иначе. Когда вошли в двери храма, не могли сдвинуть мощи с места. Велели народу воскликнуть:

— Господи, помилуй!

Рака с мощами сдвинулась.

После литургии все братья князья, как говорится в житии, светло отпраздновали память, и устанавливается новое празднование — 2 мая 1072 года.

Начинаются многочисленные исцеления хромых, слепых, бесноватых.

Владимир, сын Всеволода, называемый Мономах, княжил в переяславской земле, имел большую любовь к святым, он оковал святые раки серебром и золотом, а после перенесения мощей, добавил к золоту и серебру хрустальные подсвечники, так что удивлялись красоте приходившие из Греции.

Можно остановиться еще и на таком случае.

Некий старец Мартин страдал болезнью желудка. Однажды, лежа в келье, он изнемогал от жажды. Вошли к нему на третий день Борис и Глеб, как они изображаются на иконах, и сказали:

— Чем ты страдаешь, старче?

Он рассказал, они спросили:

— Не надо ли тебе пить?

— Я умираю от жажды, — сказал он.

Один из них взял коромысло, принес воды, другой зачерпнул и напоил его. Он спросил:

— Чьи вы дети?

— Мы братья Ярослава, — ответили они.

Старец сказал:

— Да пошлет вам Господь многая лета. Возьмите хлеб и ешьте, я не могу послужить вам.

Они сказали:

— Пусть хлеб останется для тебя, а мы пойдем.

Выздоровев, старец понял, кто посетил его.

И, наконец, нужно остановиться еще на двух случаях. О первом из которых любят вспоминать все жизнеописатели святых, в том числе и Г. Федотов.

Великий князь Александр Ярославович вел войну со шведами. Когда он с войском перешел на реку Неву, один из воевод, совершая ночную стражу, увидел при восходе солнца плывущий корабль. Посреди корабля стояли святые Борис и Глеб в одеждах червленых, как замечается в житии, гребцы сидели как бы одетые мглой. И сказал святой Борис:

— Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему против неистовых врагов.

В тот день была дарована победа над шведами.

Думаю, что и в наше время эти святые говорят:

— Поможем нашим сродникам.

Мы, русские, — все их сродники, и помочь нам нужно не просто против неистовых, а против неистовейших наших врагов, и будем верить, что это совершится.

Второй случай, подобный этому, с великим князем Московским Дмитрием Иоанновичем, — в войне против татарского царя Мамая. Ночной страж Фома Хацибеев видел видение. На высоте показалось большое облако, с востока шли великие полки, с юга шли двое светлых юношей, держа в руках свечи и обнаженные мечи. Это были Борис и Глеб. И сказали они воеводам татарским:

— Кто вам повелел истреблять Отечество наше, от Господа нам дарованное?

Когда было рассказано это видение Димитрию Донскому, он взмолился Богу и победил татарского царя 8 сентября 1380 года.

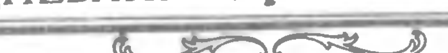
На этом кончается небесное житие князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Нам всем нужно знать своих первомучеников. Они беспокоятся о нас, и никакие новоявленные враги не одолеют нас — в это надо верить.

Борис и Глеб — особые русские святые. Как говорит Федотов, они сняли поношение с Русской земли, долго коснеющей в язычестве. Они являются ходатаями за Русскую землю. Своим житием они показывают пример незлобия и кротости, погашающих всякую крамолу. В дни княжеской междоусобицы, когда Русь только приняла и еще не прониклась христианским духом, они осуществили христианскую заповедь любви к людям, почему и явились потом, после своей физической смерти, дерзновенными помощниками во всякой нужде. Их же пример указывает и на богоносность Русской земли, Россия еще в язычестве была приготовлена к христианству, оттого и такие святые появляются сразу.

Советское безбожие хуже, чем язычество, но и оно не смогло отвратить нас от Христа, мы, пусть по инстинкту, но тянемся ко Господу, и в то время, когда считающие себя просвещенными хотят уравнять христианство с другими верованиями, даже с магизмом, мы говорим: нет! Русь должна быть христианской, православной, и другой она быть не может. Лишившись почти всякого земного благополучия, мы уповаем на Бога: нам невозможно — Богу же все возможно. И говорим: с нами Бог, разумейте языцы. Да помогут нам в нашем уповании святые страстотерпцы, мученики Христовы Борис и Глеб, верные помощники земли Русской!

Отец Дмитрий ДУДКО

ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

ОБИРАЛЫ И РОТОЗЕИ

Статья написана до трагического распада союзного государства. Читатели могут судить, насколько оправданы были предупреждения, высказанные здесь.

КАЖДОЕ лето они появляются в людных местах, нарастают, словно, кучки пыли по углам, — у окраинных станций метро, у железнодорожных платформ и просто на перекрестках возле магазинов. Непременно ражий, наглый, потный пахан в центре, два-три дылды на подхвате в толпе. И — зрители вокруг. Плотный, галдящий, переминающийся с ноги на ногу, спаянный общим азартом круг. Что же приковало внимание?

На разогретом асфальте поблескивают наперстки. Пахан присаживается на корточки, они оживают под его пальцами. И тогда из толпы выступает какой-нибудь мужичок с выражением удали и решимости на лице.

Ну, кто угадает, под каким наперстком фишка? Пахан лениво выполняет положенный ритуал — проигрыш вначале, равнодушно пододвинутые мужику деньги. А потом все круче, все азартнее игра, простак все чаще лезет в пиджак, за бумажником, выкладывая выигрывающему мошеннику новые десятки. И наконец обобранный дочиста выходит из раздавшегося круга с выражением все той же удали на лице. А круг снова спаян азартом — кто следующий...

Дурацкий азарт. Сколько раз само центральное телевидение, надменно жалующее своим вниманием лишь избранных особ, вынуждено было снисходить до изобличения этого мошенничества. Показывало снятые скрытой камерой замедленные кадры — опытная рука приподымает наперсток, и фишка оказывается там, где нужно пахану. И что же, уменьшилось после таких показов число ротозеев? Стоят как ни в чем не бывало! Знают, что их обманывают, а смотрят, разинув рты...

Еще недавно они могли позволить себе такую роскошь. Все-таки, что ни говорите, мы привыкли к мысли: человеку в России пропасть не дадут. Неизбалованные заморским комфортом, мы легко готовы обойтись минимумом, а его — уверены — обеспечат. Государство, общество, завод — все равно кто, главное: с голоду не умрешь. Потому и хорохорится проигравшийся в пух мужичонка, потому благодушно похохатывают разомлевшие ротозеи, пропуская в центр очередную жертву.

Это «застойное» благодушие, этот неискоренимый социальный оптимизм (основанный на реальном многолетнем опыте нещедрой, худосочной — но все-таки — социальной защищенности) в крови советского человека. Уж как молодые ребята стараются подчеркнуть свою непохожесть на отцов, а ведь и они преисполнены социального оптимизма. Ну прямо, по песне сталинских времен: «Молодым везде у нас дорога...»

«Нам жить», — с этих слов началась беседа со студентами московского педуниверситета. Симпатичный паренек бойкой скороговоркой повествовал о жизненных перспективах.

«А вы уверены, что вам *дадут жить*, что эту величайшую привилегию вам преподнесут, как в былые годы, на блюдечке с голубой каемкой?» — огорошил я собравшихся. Мне не хотелось их обижать. Но непоколебимая уверенность в безоблачном будущем пугала. Страшно стало за этих славных ребят. Милые мои, вы проглядели момент, когда государство сбросило с себя груз социальных гарантий, *отреклось от обязательств*, оставило нас один на один со стихией жизни. Отныне, если вы действительно хотите выжить, вы не можете позволить себе беспечного благодушия. Необходима воля к борьбе, знания и трезвый расчет.

Мы говорили долго. — Вот вы строите планы на будущее, а оно зависит от того, останется ли высшее образование бесплатным. Если же придется платить, это многим окажется не по карману. И, прощай, университет. Конечно, ни вы, ни ваши родители не сталкивались с подобной ситуацией. Она кажется фантастической. И тем не менее будете платить. Или искать работу.

А работу так просто не найдешь. «Рынок», который с помпой спускают сверху обернется спадом производства. Только в Москве к концу года обещают появление от 800 тыс. до 1 млн. безработных. Каждый десятый или каждый восьмой окажется не у дел. Прежде всего молодежь — выпускники школ, вчерашние студенты. Не так-то просто уволить человека. Не взять на работу — без проблем.

Сегодня нас успокаивают — всем неудачникам выдадут пособие. Но серьезные экономисты предупреждают — не хватит средств. К концу года до 50 млн. человек встанут в очередь за пособиями. Шутка ли, прокормить этакую громаду. Да и захотят ли более удачливые конкуренты? Пресса загодя пробуждает ненависть к завтрашним «нахлебникам». «Нам при нашей нищете придется содержать орду паразитов», — кликушествует в «Московском комсомольце» писатель-гуманист С. Каледин.

Второй фактор — повышение цен. В апреле потребление продуктов сократилось в два — четыре раза («Советская Россия», 27.04. 1991). Подумайте, наш стол в последнее время и так не отличался изобилием. Четырехкратное сокращение рациона — грань голода, а быть может, и настоящий голод. А ведь это только начало. Осенью правительство планирует «либерализовать», как изящно выражаются экономисты, цены. То есть производители будут драть с населения столько, сколько сочтут нужным.

У кого хватит смелости в таких условиях уверенно заявить: нам жить?!

Скажут: зачем пугать молодежь? Это жестоко! Нет, жестоко оставлять в неведении сегодня, а завтра сталкивать в пропасть нищеты. Молодые должны знать, что их ждет. А то ведь никто не мог ответить на вопрос, из какого (союзного, республиканского, местного) бюджета финансируется система образования, в которой придется работать будущим учителям, если им удастся завершить учебу. Никто не знал, откуда предполагают взять средства для пособий по безработице.

Полное неведение по вопросам, от которых впрямую зависит жизнь и благосостояние людей. Неведение и равнодушие. Не только у молодежи. У всего общества.

На Западе — кто торжествует на выборах? Тот, кто гарантирует работу для избирателя и программу развития для его региона. Обворожительная улыбка, красноречие, смелость — все это немаловажно. Однако, привлекательные мелочи отступают на задний план перед главным, насущным.

Если проводить модные аналогии с Западом, то все, кто зависят от союзного бюджета, должны горой стоять за Союз. Те, кто связаны с республикой — от нее добиваться социальной защиты. Но ведь у нас, как правило, и не думают о подобных «пустяках». Любой готов азартно раскачивать пресловутое федеративное государство, не думая о том, из какого банка завтра получит зарплату. Не догадываясь, что укрепление финансовой самостоятельности республик, может быть, и означает осуществление высоких принципов, провозглашенных в международных хартиях, но для него лично, для конкретного Сергея или Петра обернется потерей работы и голодом.

Мы все до ужаса похожи на ротозеев, самозабвенно глазеющих на пахана-наперсточника. Только и слышно: как он его «срезал», как тот его изобличил, как этот ему ответил. А тем временем нас обирают дочиста. Подняли цены до заоблачных высот. Лихо «приватизируют» госсобственность, созданную совокупным, т. е. и нашим с вами трудом, не возвращая нам при этом ни копейки. Обещают выбросить с работы полсотни миллионов.

Очнитесь! Ну ладно студенты. Но на нас, мужиках, ответственность за семьи, за детей.

Данные опросов общественного мнения свидетельствуют о страшной дезориентированности общества. Вот несколько брошюрок с исследованиями «социального самочувствия нижегородцев» (так названа одна из них, подготовленная в 1991 году Научно-исследовательским социологическим центром Нижнего Новгорода).

Два стоящих рядом абзаца. В одном утверждается, что «идея рыночной экономики... в целом воспринимается уже не столь болезненно». В другом социологи констатируют: «С большой тревогой ожидается возможная безработица: еще в прошлом году ее отметили в качестве актуальной проблемы 11% жителей Н. Новгорода, сегодня — от 60 до 71% жителей областного центра и городов области».

Боятся потерять работу и — тянутся к рынку! Но ведь одного без другого не бывает. Боишься, что выбросят за ворота — борись. Руками, зубами и, разумеется, головой. Не нравится быть безработным — оказывай давление на своих депутатов. Ведь это же чушь какая-то — 70% населения опасается безработицы, а российские парламентарии принимают программу Шаталина — Явлинского, реализация которой поведет к сокращению *миллионов* рабочих мест.

Еще тема для размышления. Подавляющее большинство опрошенных обеспокоено нестабильностью: «В число наиболее беспокоящих факторов попали такие, как проблема роста преступности (94%), дисциплины и порядка (91%), причем все они не просто получили абсолютное число голосов, но и выросли за год на 8%». Естественная тревога, свидетельствующая о здравом смысле общества, о его тяге к порядку и безопасности.

Но вот на повестку дня выносят референдум о будущем Союза. Не буду говорить о том, правомерна ли сама по себе идея в один день решить вопрос о судьбе государства, создававшегося нашими предками в течение тысячи лет. В данном случае меня интересует, как реагирует встревоженное нестабильностью общество на перспективы развала государственных структур. А такой финал был бы весьма реален, не досчитайся сторонники сохранения статус-кво нужного количества голосов.

Казалось бы, 90% обеспокоенных поддержанием дисциплины и порядка *должны были* единодушно высказаться за сохранение страны. Распад государства обернулся бы хозяйственным и экономическим крахом. 94% напуганных ростом преступности опять-таки *обречены были* поддержать целостность государства. Муниципальная милиция — дело

будущего. Пока порядок в стране (худо ли, бедно) поддерживает МВД СССР.

Итак, *если руководствоваться здравым смыслом*, в поддержку Союза должно было выступить свыше 90% опрошенных. Вместо этого социологи зарегистрировали цифру почти вполовину меньшую — 50%. Твердыми противниками Союза объявило себя 30% опрошенных.

Исследования позволяют выявить социальную базу и тех и других. «За» сохранение государства высказалось 43% рабочих, «против» — 22%. А вот у «непроизводственной интеллигенции» соотношение противоположное — 33% поддержали идею развала, 28% желают стабильности.

Ну разумеется, интеллигенции свойственна неудовлетворенность существующим положением, ей присущ творческий поиск, и т. д. и т. п. Но согласитесь, одно дело — «дерзать» где-нибудь в Англии с ее политической структурой, укреплявшей свою устойчивость в течение столетий, другое — у нас, на шатающемся и без того государственном основании, прикрывающем бездну, в которой клокочет хаос гражданской междоусобицы.

Впрочем, особых дерзаний опрос нижегородской интеллигенции не выявил. Недовольство нынешними структурами — да. И вместе с тем дисциплинированное повиновение — сродни забытому, партийному — структурам, так сказать, альтернативным. Если люди, выступающие за сохранение Союза, могли позволить себе демонстрировать *индивидуальное* отношение к политическим лидерам (35% — за Горбачева, 30% — против, 30% — за Ельцина, 35% — против), то в стане противников государства царит армейское единообразие (за Горбачева — 2%, против — 81%, за Ельцина — 74%, против — 3%).

Словом, наши свободолюбцы предпочитают маршировать стройными рядами. К распаду государственных связей, анархии, смуте. А ведь нетрудно догадаться, кому, *какой социальной группе* труднее всего придется в огне междоусобицы.

Но наверное, советской интеллигенции известен какой-то заговор «от пули, пожара и сглаза»? Или она обзавелась чудодейственным оружием — по «гиперболоиду» на каждого мэнэеса? И уж во всяком случае, учла опыт первой гражданской войны, почти поголовно истребившей русскую интеллигенцию, если она так нетерпеливо и целеустремленно толкает страну ко второй гражданской?

Неужели все-таки нет? «заветное» слово не разузнала, «гиперболоидами» не запаслась? Но тогда, простите, *кого же* готовят советские вузы? Понимаю, настоящих профессоров студенты там не застали (настоящие — довоенные, те, кому посчастливилось учиться у дореволюционных ученых). Философию не проходили, поневоле ограничившись истматом и диаматом. Но совсем-то уж не уметь сопоставлять очевидные вещи, прогнозировать ситуацию, анализировать накопленный опыт — это в конце концов стыдно! Это, знаете ли, дисквалификация. Таких работничков умственного труда близко нельзя подпускать к любой, требующей сообразительности и ответственности работе.

Так ведь уже не подпускают, толпами гонят из науки! И кто? Те самые апологеты рыночной экономики, на которых до сих пор готовы чуть ли не молиться простоватые и недальновидные советские интеллигенты. Полтора года назад я предупреждал — первыми безработными станут не слесари и мотористы, не шахтеры и сварщики — ученые. В ответ равнодушное молчание. Патриотическую прессу интеллигенция в массе своей не читает. Зато теперь может прочесть коротенькую заметку в «Известиях» — каждый третий из 2100 научных сотрудников Харьковского университета уже стоит в очереди на бирже труда.

Однако заметкой все и ограничилось. Никто не потребовал от «своей» прессы проанализировать ситуацию, обсудить создавшееся положение. У нашей интеллигенции не хватает воли даже на то, чтобы обдумать собственную судьбу.

Если уж речь зашла о прессе, нельзя умолчать о ее вкладе в дезинформацию общества. Активность масс-медиа чревата угрозой агрессии — пророчили специалисты. Правда, подобная перспектива связывалась с информационной войной, с действиями *противника*. «Американские стратеги «психологической войны» разработали тактику коммуникативной атаки, которая предусматривает возможность в исключительном случае массированным ударом телевизионных, радио- и печатных средств... разрушить реальные представления о собственном государстве у населения этой страны, и создать иллюзорные, угодные тем, кто организует такого рода действия», — предупреждал в 1984 году ведущий исследователь американской прессы Я. Засурский.

Действительность оказалась причудливее самых фантастических прогнозов. Не закордонные радиоголоса — собственные пропагандисты, вчерашние партийные подпевалы развернули невиданную в истории кампанию по промыванию мозгов.

В чьих интересах работает эта армия заклинателей, догадаться нетрудно. Они охотно заявляют о своих симпатиях к «активным особям» — теневым миллионерам, переходящим на легальное положение. Нетрудно догадаться и об истоках такой симпатии. Тут нет загадки. Непостижима готовность публики отдавать свои сердца и головы, энтузиазм и энергию в распоряжение ловких манипуляторов.

Нас не только дезориентируют. Проще и откровеннее — обманывают. С размахом. Цинично. Многократно. А почему нет, если мы раз за разом соглашаемся играть в ту же игру? Через месяц никто не вспомнит, что говорили сегодня. Можно безбоязненно морочить новыми миражами.

Кто вспоминает сегодня о предвыборных обещаниях союзных парламентариев? А ведь всего два года назад их выписывали аршинными буквами на каждом углу. Для меня, жителя Фрунзенского района столицы, небезразлично, что сулил нам будущий депутат Виктор Ярошенко. Беру еще не успевший пожелтеть номер «Вечерней Москвы» от 10 марта 1989 года. Крупно набранный лозунг программы: «Социальная защита».

Позволю себе процитировать: «...Не удается сдержать рост розничных цен на товары первой необходимости, включая продовольствие, что значительно снижает реальные доходы всех слоев населения, особенно пенсионеров и учащихся, инвалидов и ветеранов, многодетных семей, низкооплачиваемых рабочих и служащих... Предлагается вынести на обсуждение Верховного Совета СССР ряд законопроектов, суть которых сводится к тому, чтобы обязать предприятия, институты, органы социального обеспечения и т. д. ежеквартально повышать зарплату, пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты на величину индекса роста цен, который должен рассчитываться и публиковаться Госкомстатом СССР, а контролироваться профсоюзами».

Вспоминаю, как голосисто расхваливала программу тетя Поля, бывшая жэковская уборщица, вышедшая пять лет назад на пенсию. Еще бы — каждый квартал прибавка! Понимаю, почему сосед, фотограф Регельсон, многозначительно качая головой и поднимая палец, произносил нараспев: «Ярошенко — профессиональный экономист».

Что же вы примолкли, дорогие мои соседи. Нашему депутату посчастливилось взлететь даже выше, чем могли рассчитывать его избиратели. Экономический советник Б. Н. Ельцина, министр внешнеэкономических связей РСФСР.

Ждете, когда он вспомнит о щедрых предвыборных обещаниях? Уже и ждать, сидя на нищенском окладе, невмоготу. Ведь рост цен измеряется не десятками, как в 1989 году, а сотнями процентов. Жизнь подорожала «в разы», как любит говорить один из наших лидеров, Михаил Сергеевич.

Вот бы и предложил Ярошенко другому лидеру, Борису Николаевичу: повысимка мы и зарплату «в разы», как я обещал избирателям. Конфликтовать с центром нам не впервой, так пусть народу будет от этого польза.

Да что-то не спешит наш избранник изронить золотое слово.

Еще обещано было защитить честных тружеников и наказать воров. «Предлагаем внести на обсуждение Верховного Совета СССР ряд законопроектов по борьбе с теневой экономикой», — грозно писал В. Ярошенко. Да вот незадача — о жестких антимафиозных законопроектах не слышно. Разве что разрабатываются в глубокой тайне. А пока наш депутат, министр и советник вместе с коллегами подготовил программу приватизации государственной собственности. Теневым миллионерам (а бывают другие?) предлагаются за бесценок заводы, земли, жилой фонд. Не правда ли, своеобразная борьба?

И все же, в чем-то В. Ярошенко преуспел. Обещал избыток товаров для москвичей. А вышло, что не только москвичи — любой житель Союза может полюбоваться на праздничное изобилие. Не верите — пройдитесь по улице Горького, скажем, от площади Белорусского вокзала до Большой Грузинской. Года три назад здесь было шесть магазинов и одно ателье. Товары — как и всюду — поступали с перебоями, да и невзрачные на вид. В обувном — туфли за 40 рублей, в булочной — батоны по 16 копеек (цены были еще не павловские). Прямо за советского человека-труженика обидно.

Теперь — не то. Обувной закрылся, уступив место роскошному цветку коммерческой торговли, магазину «АБВ». Рядом, на месте булочной, еще один «коммерческий» новосел. Напротив, через дорогу, ателье поделилось частью площади с третьим форпостом свободного предпринимательства, магазином «Улыбка». И действительно, войдешь, посмотришь на ценники, не то что улыбнешься — расхохочешься. Мужская рубашка — 600 (шестьсот — прописью) рублей, набор кастрюль — две с половиной тысячи. Зримая забота о «пенсионерах и учащихся, инвалидах и ветеранах, многодетных семьях, низкооплачиваемых рабочих и служащих...»

Но и сверх того — не клялся Ярошенко защищать интересы держателей свободноконвертируемой валюты, а порадел и им. Рядом с «Улыбкой» ополовинил торговые площади любимого московской ребятней «Пионера» магазин фирмы «Solentini».

Кстати, коли мы взялись припоминать недавнее прошлое, не запала ли вам в память компания против магазинов «Березка»? Как отважно наши газеты с бескомпромиссной «ЛГ» на челе бились за восстановление социальной справедливости! Как это понимать?! — спрашивали они. — Подходит советский человек к парадному подъезду, а его не пускают — чеков нет. Прекратить безобразие, позакрывать безнравственные «Березки». И позакрывали — при всеобщем ликовании. Чтобы потом открыть «Rifl», «Solentini», опять-таки при всеобщем ликовании масс. Причем теперь к нашим восторгам могут присоединиться иностранные бизнесмены — прибыль-то идет в их карман.

Словом, приезжайте, сами посмотрите на расцвет здоровой частной инициативы. Купить вряд ли что купите — простому человеку, даже если он избиратель В. Ярошенко, это не по карману. Тут уж, признаюсь, мы, жители Фрунзенского района, во все концы столицы устремляемся за покупками, подальше от роскошных витрин. Зато полюбуетесь вдосталь. Наш депутат скоро и вам такую жизнь устроит, недаром он российским министром стал. А пока что, в чаянии глобальных перемен, милости просим. Может, не только посмотрите, как мы живем, но и подумаете над этим в пути.

На размышления наводят не только невыполненные предвыборные обещания, но и грандиозные общесоюзные программы. Оказывается, их выносят на обсуждение, отнюдь не за тем, чтобы выполнять. «Независимая газета» познакомила нас с очаровательным острым словцом академика С. Шаталина о его знаменитой программе. «Слушай, — по-приятельски обратился к академику В. Бакатин, — но 500 дней — это же чушь!» «Конечно, чушь, отвечает, чушь» (11.04.1991).

Представляете, как уморительно вышло — Верховные Советы всех уровней обсуждали — Российский принял было, Казахстан уже по этой программе живет, — а ведь «чушь»... Сидят в мягких кожаных креслах два маститых государственных мужа и хохочут: да что ты говоришь, неужели вправду? — Ей-ей, чушь собачья...

Ну, повеселились по-свойски, а потом объяснили изумленному читателю: не волнуйтесь, «как логическая схема «500 дней» прекрасная вещь». А за объявленный срок ее, мол, никто и не думал осуществлять.

Откровение за дружеским столом вынесено на всеобщее обозрение, понятно, не для саморазоблачения. Скорее, для саморекламы. Нам «хай лайф» показывают. Позволяют восхититься зрелищем божественной раскованности сильных мира сего. Подлинных хозяев жизни. Это какой-нибудь министришко в конце декабря до инфаркта гонял подчиненных — горит годовой план. А тут заоблачные высоты, и мерки, понятно, иные. — никто и не собирается выполнять собственноручно подписанные планы.

Утечка информации делалась с тонким психологическим расчетом. Возмущаться наглым обманом — фу, как некультурно, неблагодарно. Перед вами приоткрыли волшебную завесу власти, вас приобщили к ее тайнам. Не возмущаться, благоговеть и благодарить следует.

И вот сотня тысяч читателей «Независимой газеты» — истинных интеллектуалов, независимых, подобно их родному изданию, коллективно благоговеют. Переживают, переваривают собственную приобщенность. А у меня из головы не идет картина — разогретый асфальт, ухмыляющийся пахан, блестящие на солнце наперстки.

Впрочем, что жалкие потуги привокзальных гастролеров в сравнении с теми спектаклями, которые устраивают сильные мира сего! Лидеры оппозиции предпочитают разыгрывать их перед стотысячными аудиториями столичных митингов. Чуть что — все на площадь! Сотня десантников заняла телевидение в Вильнюсе — митинг, десяток депутатов выдвинули собственную повестку съезда народных избранников России — митинг. Какие громкие призывы, какая забота о литовских тележурналистах, о парламентском регламенте, обо всем на свете.

Хотя почему же обо всем? 2 апреля безумное повышение цен нанесло страшный удар по всему народу. И что же — прозвучало знакомое: все на митинг? Тишина. Третьего, пятого, десятого апреля — о демонстрации ни слова. Вернее, об акциях протеста говорили и даже митинговали по всей стране. Но это была не «демократическая» инициатива — самородная активность масс. Оппозиционные лидеры в Москве и Ленинграде равнодушно взирали на всплески народного отчаяния. Только в конце апреля созвали митинг на Манежной, но и его сумели свести к выдвижению Ельцина кандидатом в президенты РСФСР.

Правительство, бессильное мобилизовать массы, поневоле ограничивается узким кругом зрителей. Но и здесь во всем блеске воскрешаются традиции ярмарочных подмостков. — Предлагайте, что считаете нужным, я готов рассмотреть любое предложение, — ораторствовал Валентин Павлов на апрельской встрече с профсоюзниками.

Как благородно и демократично! Десятки институтов, работающих на правительство, в результате многолетней ударной научно-исследовательской работы добились одного — полного провала экономики. И тогда премьер выходит на сцену и делает широкий жест — давайте ваши программы.

Да знаете ли, сколько специалистов разрабатывают программу — не развития гигантской страны — обыкновенного космического полета? Шесть тысяч в течение трех лет! С использованием мощных ЭВМ и прочих достижений научно-технического прогресса. Вы не знаете. Павлов — знал.

Правительство — оппозиция... Какой шикарный выбор. Они вполне стоят друг друга! На Западе правительство и оппозиция в трудные моменты объединяются в общей ответственности за судьбу страны. Или за судьбу строя, который они отождествляют с интересами нации. Недавний пример — намечавшаяся забастовка американских железнодорожников. Тут же собирается Конгресс, среди ночи будят президента Буша, чтобы поставил подпись под готовым законопроектом о запрещении стачки, которая могла нанести колоссальный урон Соединенным Штатам.

А у нас Президент и доморощенный конгресс спят, кажется, 24 часа в сутки. Много недель полыхала забастовка шахтеров. Верхи выжидали. Вал огня дошел до смежных производств, одна за другой стали лопаться оставленные без топлива домны. Верхи благодушно наблюдали за национальной катастрофой. В результате ущерб превысил тот, что был нанесен металлургии в годы Великой Отечественной войны.

Безответственность — вот что объединяет у нас оппозицию и власть.

Главные роли отданы, бесспорно, Борису Ельцину и Михаилу Горбачеву. Каждый их выход волнует зал. В апреле газеты сообщили, что в Находке рабочий убил своего приятеля: не сошлись во взглядах на союзного и российского лидера.

Бедные рабочие! Махните рукой на риторику. Судите по реальным действиям, по тому, что непосредственно касается вас. Русского народа и русской земли. И союзное, и республиканское руководство охотно распродает землю под зоны свободного предпринимательства. А как реагируют лидеры на притеснения русских в республиках? И тот и другой безразлично отворачиваются от русских ходоков из Прибалтики, Закавказья, Средней Азии.

Стоит ли рвать рубахи и награждать друг друга тумаками в споре из-за этих людей?

На Востоке есть обычай кидать медяки представителям партий, утративших доверие. Звонкий намек на милостыню, предназначенную банкротам. Когда же русский народ научится этому жесту? Единственно достойному ответу и на официальные речи о крупных достижениях перестройки и на «альтернативные» программы типа «500 дней». По прекрасным «логическим схемам» мы жили более чем достаточно.

Так что же делать? На баррикады? Нет, Россия не переживет еще одной революции. Да и не стоит усилий — на баррикадах мы поменяем одних лидеров на других, столь же, а может быть, и более безответственных. Но что же тогда...

А нужно в сущности немного. Не позволять дурить себе голову. Прессе. Политикам. Экономистам. В любой стране шаталинское признание «чушь» — о собственной «чудодейственной» программе — означало бы бесповоротный конец политической да и научной карьеры. Почему академики считают, что с нами можно вытворять все, что заблагорассудится?

Бессмысленно метаться между двумя лидерами в поисках «отца родного». Надо искать своих политиков. Сейчас, разочаровавшись, многие досадливо машут рукой: все такие. А вы всех не видели. Надо внимательно смотреть, анализировать программы. Находить и поддерживать лучшее.

Уверенно заявила о себе депутатская группа «Союз». На мой взгляд, у нее хорошие перспективы. Во-первых, эта группа сплотилась вокруг людей известных, привлекших внимание яркими (как бы к ним не относились) выступлениями. Петрушенко, Алкснис известны миллионам людей. Во-вторых, «Союз» не замешан в постыдных акциях — ни в павловском повышении цен, ни в фильшинской афере со 140 миллиардами. Пресса пытается облить их грязью, но к чему сводятся обвинения? Критикуют Президента? — но с чего это вольнолюбивая пресса стала такой законопослушной. Резко оценивают годы перестройки? — а разве перестройка прибавила кому-нибудь счастья или хлеба (кучка подпольных миллионеров не в счет).

Нет, я вовсе не стремлюсь рекламировать какую-то одну политическую силу. Я ищу тех, кто хочет и способен защитить меня. И вас призываю о себе позаботиться. Когда народ, отвернувшись от паханов, начнет искать своих лидеров, столь же яростно, как сейчас он ищет «дефицит», тогда начнется возрождение России. И дефицит, кстати, появится на полках. Некому будет прикрывать мафиози.

— Вот еще, искать! — А что же, новгородцы, бывало, искали себе князя по всей Руси. Зато он действительно был их князем.

В сущности я предлагаю одно — руководствоваться здравым смыслом. Отказаться от роли статистов, участвующих в чужом спектакле. Требовать защиты своих интересов (а не литовских и не латышских, как на московских митингах — об этом лучше позаботятся в Вильнюсе и Риге).

Надо быть предельно внимательными и требовательными к тем, кто выступает на политической сцене от нашего имени. Скажете — ничего не получится, это не в традициях Руси. Отчего же? Есть традиция московского единения народа и власти, увенчанная именами благоверных князей Даниила и Димитрия. Но нового Дмитрия Донского сейчас не видно. Почему бы не вспомнить о новгородской традиции? Купцы и ремесленники великого вольного города нуждались в князе для «представительства» и для руководства дружиной. Однако внимательно следили за каждым его шагом. И если князь ставил собственные интересы выше интересов города, они сажали его на лошадь, выводили на большую дорогу и вежливо прощались с ним.

Проблеск надежды — любопытная ситуация, сложившаяся вокруг Курильских островов. Оппозиция давно заявляла, что власти попытаются в той или иной форме вернуть их Японии, получив в обмен миллиардные валютные инъекции. Эти инъекции на какое-то время способны были бы стабилизировать ситуацию и вернуть верхам столь необходимый им кредит доверия. И вот перед поездкой Президента в Японию один из видных деятелей оппозиции миллионер Тарасов заявляет: острова будут проданы.

Необычно болезненная реакция на это утверждение показывает: Тарасов «бестактно» обнажил то, что до времени должно было быть сокрыто от публики. Приковав внимание народа к проблеме Курил, оппозиция добилась своего — союзное правительство не получило миллиардов. Но и народ своего добился — не позволил кромсать территорию страны (без сомнения, возвращение островов создало бы прецедент и территориальные претензии к Союзу покатились бы как снежный ком).

История эта показала, что нас все еще используют в игре: оппозиция — власти. Но она продемонстрировала и силу народа. Достаточно было напрячь внимание — и его интересы были соблюдены. Наглядный урок, как надо действовать для того, чтобы нас перестали считать ротозеями.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Уведомляем вас, что объявленный план публикаций на конец 1991 года и 1992 год остается НЕИЗМЕННЫМ.

Редакция.

КРИТИКА

ПЕТР ПАЛИЕВСКИЙ

Булгаков—1991

Среди тех, кто пришел к нам из недавнего прошлого — а они как будто специально подзадержались, чтобы участвовать в наших делах, — Булгаков, конечно, первый. Ум у него самый трезвый и ясный, избегающий односторонности; талант самый мощный и одновременно разборчивый, тонкий.

Но есть сомнения, так ли мы встречаем его, чтобы получить то, что он способен нам дать. Особенно в том разыскании источников, которым увлечены многие. Писатель поднимается нам навстречу с новой мыслью, а мы возвращаем его туда, откуда он вышел: он предлагает живой образ, а мы рассыпаем его на составные части, своими силами монтируем опять. То есть вовлекаемся в интересную интеллектуальную игру вместо насущных дел.

У меня в руках маленькая книжка, изданная тысячным тиражом в 1928 году Обществом изучения Московской губернии. В ней собраны легенды о «проклятом доме» со львами, № 14, на Арбате. Читаем:

...«Слышал — такое тут дело: будто, как полночь, музыка и заиграет похоронный марш... настоящая, взаправдашняя музыка. Ну, играет вовсю... А как дадут свет — нет никого, ни единой души...

А музыка эта вот откуда — тут происшествие. Кровь человеческая тут пролилась. Одни граф ли, князь ли, смерти себя предал. Из полковников был и жил в этом доме. А жена у него — красавица на всю Москву. Вот через нее и пошло: с офицером драгунским сбежала. А полковнику от этого срамота. Вот он и стал скучный. День, другой сумрачный ходит... Все молчит... После того созвал офицеров — пир устроил. Вот и сидят эти господа, пьют, едят. И музыка тут играет. Ну, одним словом, бал. А на дворе ночь. Вот полковник говорит: «Вы на часы смотрите, как будет двенадцать часов, скажите мне»...

И вот стрелка на 12-ти и остановилась... Они и говорят: «Ровно 12, минута в минуту». Тут он шампанского стакан выпил... И как музыка заиграла, он и бабахнул себе в висок».

То есть обнаруживаем и «проклятую квартиру», и сбежавшую жену (как у Берлиоза, который, правда, стреляться не стал, как и Степа Лиходеев); и бал, и пир, и кровь, и «12 часов», и шампанское...

А вот и еще легенда, записанная от «водопроводчика С. Менкова»: «Слышал еще до войны — будто привидение по ночам ходило по дому. Всё в белом, а мужчина или женщина — разобрать нельзя. И был приказ, чтобы полиция подкараулила. Вот стали караулить. Смотрят — идет. Тут давай палить в него из револьверов. Зажгли огонь. Никого нет, а пули на полу лежат».

В других версиях вы найдете и чертей, которые «балы устраивали», и «фальшивые деньги», и даже оттенки выражений типа «говорят», «будто», «правда ли, нет ли» и т. п. По свидетельству старожила Москвы М. И. Чуванова, в этот дом в самом начале войны угодила бомба. Неизвестчый человек с немецкой фамилией, может быть, и начинавшейся на дубль-ве, навсегда стер его с московского ландшафта. Теперь там плоскокрыший магазин «Цветы» и таинственный участок за забором. В довершение можно сообщить, что по справочнику Суворина «Вся Москва» дом этот принадлежал в 1917 году купцу-антиквару.

Интересно? Еще бы. На эту тему можно написать диссертацию, скажем: «Булгаков и народно-речевая культура Москвы конца XIX — начала XX веков. Проблемы коннотации», и успешно защитить; я первый буду голосовать «за» в совете Института мировой литературы. Но продвинет ли это мысль Булгакова в нашу жизнь? Скорее задвинет назад, откуда эта мысль только забрезжила.

Или, предположим, мы прочли у Н. Берберовой про «клетчатые брюки В. А. Пяста, знаменитые в те годы в Петербурге. О них было в пародии... — «и клетчатые панталоны, рыдая, обнимает Пяст»... Они назывались Пясты...». Но разве булгаковская идея, когда во сне Турбина вдруг является первый из тех — «в брюках в крупную клетку», — которые разбредутся потом по всему пространству «Мастера и Маргариты», — разве этот образ лжи, двоения, миража, бездонных пустот среди будто бы прочных линий не сообщает нам нечто бесконечно более важное, чем принадлежность кому-то картинных панталон? Пусть они и мелькнули когда-то в сознании писателя.

Или вот, роясь в каталогах, можно случайно набрести: «Майдель, Э., бар. К вопросу о желудочном секретине. Эксперимент. исслед. в физиологич. лаборатории ун-та св. Владимира. 1917, Киев, 104 ст. Цена не обозн.». Того самого университета, который кончал в это время студент-медик Михаил Булгаков, — вдруг еще, допустим, получивший от барона на экзамене «неуд»... Разъяснит ли это образ? Только затемнит, а может быть, и оскорбит память почтенного физиолога. Предположим, что ближе к Майгелю романа «неизбежный барон Штайгер», поминаемый в дневниках Елены Сергеевны (жена Булгакова. — Ред.) в связи с посещением ими иностранных посольств. Но опять-таки: что мы знаем об этом человеке? А булгаковский образ освещает нам одним ударом, хоть и по-разному, всех майгелеподобных, которых мы могли сами встречать.

Есть основания считать, что затемняющую роль, увы, может выполнять и разыскание вариантов, неизбежное в филологии, потому что все усилия писателя были сосредоточены на том, чтобы дать нам один-единственный, выводящий из тьмы неизвестную мысль.

Конечно, в движении культуры есть большие дороги, и обнаружить их признаки, следы далеких соответствий, бывает важнее, чем выделить насущный момент, так как они дают ему же направление, включают в духовную связь. Но это совсем иное, чем источники.

Каюсь, например, что, приведя в статье 69-го года* того же «клетчатого» из «Белой гвардии» во сне Турбина (чтобы не забыть рождения идеи), я не вспомнил, откуда взялись его слова: «Россия — страна деревянная, нищая, а русскому человеку честь — только лишнее бремя». Но Елена Сергеевна заволновалась: «Это цитата! Цитата!». Через три дня звонит и говорит: «Нашла!» (или «нашли», не помню). Это «Бесы», Достоевский, слова Кармазинова, который обнаружил для себя оправдание, зачем ему надо бежать в благоустроенную Европу. Ничего современнее не скажешь; и этим мгновенно замкнулась дуга от бесов Достоевского к Булгакову, к их аргументам и целям наших дней.

Находить такие соответствия всегда плодотворно, хоть для тех же бесов. Их преемственность любопытна даже на уровне непонятных совпадений, например, у Чехова в записных книжках встречаем: «Окрестности Патриарших прудов на вид тихи и мирны, но на самом деле жизнь в них — ад».

Или что-нибудь поглубже, из того же Достоевского: «Дело в том, что я вещищаю чертей: на этот раз на них нападают безвинно и считают дураками. Не беспокойтесь, они свое дело знают; это-то я и хочу доказать». Это из «Дневника писателя», статья «Спиритизм, нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти». Статья 1876 года.

Но для себя Достоевский в это же время записывает: «Если только это черти. Вот как бы только это повернее? Не могу представить сатану». Не можем ли мы теперь сказать, что этот шаг в русской литературе сделан?

ПАЛИЕВСКИЙ Петр Васильевич — литературовед, критик. Родился в 1932 г. в г. Смоленске. Окончил филологический факультет МГУ в 1955 г. Кандидат филологических наук. Автор книг «Русские классики», «Литература и теория». Работает в Институте мировой литературы им. Горького.

* См. «Наш современник», 1969, № 3 — (Ред.).

Невидимые нити такого рода могут подниматься к Булгакову даже из далекой древности, например, от Нестора-летописца, из «Повести временных лет». Послушаем: «Бесы ведь, подстрекая людей, во зло их вводят, а потом насмехаются, ввергнув их в погибель смертную, подучив их говорить»... И — оттуда же, мысль большой глубины: «Бесы ведь не знают мыслей человека, а только влагают помыслы в человека, тайны его не зная. Бог один знает помышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом».

И несомненно, что эта его традиция не только русская, а православная по преимуществу; вот византийский пример XIV века. Григорий Синаит: «Бесы наполняют образами ум наш или лучшие сами облекаются в образы по нам и приражаются (прилог вносят) соответственно навыкновению господствующей и действующей в душе страсти».

Немало таких мыслей звучат почти эпиграфами к страницам Булгакова. Не обязательно по этой теме и, конечно, не обязательно издалека. Сходные идеи могут быть рядом, — возьмите только две строчки раннего Есенина: «Собачье сердце мое... я на тебя наточил лезвие».

Но нельзя не повторить: все они — соответствия, разновеликие, далекие и близкие, имеющие каждое свою идею. Если же попытаться объявить их источником, выводить из них новый образ, и тем более судить по ним этот образ, наступит затемнение, а иногда и катастрофа.

Она становится почти неотвратимой, когда, например, в источники попадает вера и начинает всерьез и в одном ряду сравнивать известные главы романа и Евангелие. Но воображать, что согласно Булгакову «на самом деле» не было никакого Иисуса, а был Иешуа, так же нелепо, как и верить, что не было никакого хромого дьявола, а «раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого... Правый глаз черный, левый почему-то зеленый». Роман — вымысел, сказка. По классическому суждению Пушкина, «сказка ложь, да в ней намек», то есть бесспорная ложь и перед действительностью, и перед верой (которая для верующего есть главная действительность), зато — житейское допущение, фантазия, позволяющая лучше видеть и проверить отношение нашей правды к высшей.

Всего этого как будто не знает статья о Булгакове в парижском «журнале христианской культуры» «Символ» (№ 23. 90 г.). В одной руке автор держит ножницы, в другой — Катехизис и перелистывает роман. Нетрудно угадать, что за этим следует. Открытие первое: «не только Иисус, но и Сатана представлены в романе отнюдь не в новозаветной трактовке». Второе: «В нем есть суд, казнь и погребение Иешуа-Иисуса, но нет его воскресения» (как будто кто-либо мог воскресить нищего из Гамалы до Судного дня). Третье: «нет в романе и девы Марии-Богородицы», «нет Бога-Отца и Бога-Сына», — и все это «обусловлено сознательным и резким неприятием канонической новозаветной традиции». С изумлением обнаружив, что Булгаков начитан в масонской литературе значительно сильнее, чем он сам, автор решает, что перед ним чернокнижник, масон и теософ. Статью завершает картинка, где кот наставляет в масонской мудрости потерянного Булгакова, совершенно так же, как если бы бес, сидевший в мешке у Вакулы, начал учить Гоголя.

«Символ» — журнал квалифицированный. Он издается влиятельными католическими кругами на русском языке как бы в преодоление разрыва схизмы, и в его редколлегию входят известные специалисты из Москвы. Остается гадать: либо редакция действительно считает, что можно судить роман по правилам богословия, да еще в манере тех статей 30-х годов, которые наклеивала семья Булгаковых в специальный альбом — они были только с обратным знаком. Но в это трудно поверить. Либо статья эта дана с некоторым попущением, может быть, из неудовольствия самим фактом присутствия Булгакова там, где существуют иные, безупречно-христианнейшие кандидаты в первые русские писатели. Если так, то прав известный евразиец П. Н. Савицкий, который, перечисляя в работе «Ритмы монгольского века» признаки упадка и подъема России, одним из первых признаков упадка называет «вмешательство папы в русские дела».

И все-таки «сегодня» этого писателя важнее для нас всего прочего. Потому что через него именно касаются и задевают нас любые миры. Начиная с самой поверхности, с текущего дня.

Например: что получится, если посыпать сверху возможностью хватать деньги, непременно сверху... Булгаков предвидел это, оказывается, лучше авторитетных политиков и экономистов. Кто мог поверить, что те самые зеленые купюры, на которых «нарисован какой-то старик» и которые, мы помним, «должны лежать в Госбанке», свободно выйдут из вентиляционной трубы Никанора Ивановича, и в размерах, не доступных его снам. «А это фирма дарит Вам на память» — возьми, все прекрасно, только неизвестно, почему через самое короткое время побежишь голеньким. А ведь Булгаков ничего не знал об опыте латиноамериканцев или Польши. И какая объективность: «храбрая женщина, удивительно похорошевшая»... Напрасны и смешны оказались усилия «административно-командной системы», так как на них есть простой ответ: «деспот и мещанин, не ломайте мне руку». Роскошные магазины, чистенький старичок с тремя пирожными на подносе, восторженные ответы продавца иностранцу — всё, всё сбылось.

Но предположим, это слишком горячий предмет. Есть область иная, стратегически далекая и непосредственно живая, куда необходимо входит Булгаков наших дней. Это — язык.

Если кто-то считает, что он живет в дни тяжких раздумий о судьбах своей родины (причины есть) и ему нужна эта единственная поддержка и опора, — пожалуйста, вот подошедшая ко времени булгаковская речь. Могут сказать, что у нас есть Шолохов с его первозданным кипением и народной полнотой слова: правда. Но помимо этого, нужна норма — выделенное умом равновесие, порядок; то есть, конечно, не какой-то словарный образец, но норма как центральное течение, выводящее язык из отстоев, тупиков и старицы, чистая главная струя: задача чрезвычайной трудности. Для русского языка с его огромным пространством и нынешним разбродом это вопрос жизни.

Мы понимаем теперь, что Булгаков есть носитель этой нормы. У него есть эта всерастворяющая сила, очистительный состав, исключительная тонкость в отслаивании шелухи и распада. Весь этот сор отдан дьяволу.

«Слушаю. Как же. Непременно. Срочно. Всеобязательно. Передам». — Варенуха почти с ужасом опускает трубку: он слышит полет мертвых частиц, которыми я сам травил не раз несчастных посетителей. Или вот Воланд отвечает: «О, я большой полиглот и знаю очень большое количество языков». Как ни верти эту фразу, ничего грамматически неправильного в ней нет; и все-таки язык искалечен. Русский, потерявший чувство родного языка, услышав эти тонкости, может быть, и отрезвеет; иностранца же можно проверять: если он их понял, значит, жизнь чужого языка ему уже открылась.

В одном из сборников Иерусалимского университета сделано чрезвычайно пристальное наблюдение, что в романе «Мастер и Маргарита» нет ни одного нерусского слова, и даже начальная буква фамилии Воланд, сверкнувшая на визитной карточке, выписана по-русски, как «двойное В». Это свидетельство следует принять: стрелка — указатель действующей нормы.

Все помнят, как в «Роковых яйцах» наглый репортер в ответ на замечание профессора: «Как Вы можете писать, если Вы не умеете даже говорить по-русски», — «почтительно рассмеялся. — Валентин Петрович исправляет». Кто такой этот Валентин Петрович, мы хорошо знаем, и он сам впоследствии точно провел границу между собой и Булгаковым в сочинении «Алмазный мой венец». Булгаков «был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог... Мейерхольда и Татлина и никогда не позволял себе, как любил выражаться Ключик, «колебать мировые струны». А мы эти самые мировые струны колебали беспрерывно»... То есть, попросту говоря, рвали, а там, где не удавалось, завинчивали гайки, чтобы лопнула при прикосновении струна, ударив в глаз, или, наоборот, отвинчивали, чтобы она бессильно провисала — изобретений хватало. Провести мировые струны сквозь хаос было задачей Булгакова, и он ее выполнил. Оттого и стал необходимым сейчас его язык.

От нормы языка мы могли бы шагнуть и глубже, к другой необходимости Булгакова сегодня — его объективности.

Один хорошо мне знакомый писатель, который в течение десятилетий стонал: когда же кончится эта проклятая гражданская война (имея в виду потребление остатков белой правды)! — как только предоставилась возможность, стал неистовым монархистом и начал свирепое, неотступное преследование большевиков. Граж-

данская война запылала для него вожделенным костром не хуже прежнего.

Ничего подобного вы не найдете у Булгакова. Гражданская война преодолена у него в духовной высоте, и ее участники видны с иной, недоступной каждой стороне точки зрения. Мы можем видеть теперь, что и эта задача, о которой он говорил в письме правительству,— быть объективиым,— была решена. Довольно перечесть его «Ханский огонь».

Насколько выше Булгаков в этой задаче даже и очень больших писателей, можно понять, перечтя напечатанные наконец для всех «Окаянные дни», где раскаленный от обиды и отчаяния Бунин записывает то, что, как он считает, «народ» говорит: «Ну, вот немец придет, наведет порядок...» И вспомним, как отвечает на те же угрозы Василисы в «Белой гвардии» молочница Явдоха: «...уж очень вы распустились с этой революцией. Смотри, выучат вас немцы».— «Чи воны нас выучуть, чи мы их разучимо». Разница решающая.

В 1987 году в Нью-Йорке вышла на английском языке книга воспоминаний немецкого дипломата Ханса фон Херварта, сотрудника немецкого посольства в Москве перед самой войной. Написанная в соавторстве с американцем Фредериком Старром, эта книга, конечно, повествует о сопротивлении одновременно нацизму и большевизму и называется «Между двух зол». Среди прочего фон Херварт рассказывает о посещении им московских театров, говорит, что публика предпочитала классику революционным пьесам и вообще современным авторам. «За одним исключением,— пишет он,— пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных». В этой пьесе, созданной на основе романа середины двадцатых годов, можно было освободиться, передохнуть от революции. Аудитория предавалась этому с наслаждением, отчасти потому, что пьеса шла в прекрасном исполнении, я полагаю, труппы театра Станиславского.

«Дни Турбиных» имели особое значение для одного сотрудника нашего посольства, генерала Кёстринга, военного атташе. В одной из сцен пьесы требовалось эвакуировать гетмана Украины Скоропадского, чтобы он не попал в руки наступавшей Красной Армии. С целью скрыть его личность его переодели в немецкую форму и унесли на носилках под наблюдением немецкого майора. Во время того, как украинского лидера переправляли подобным образом, немецкий майор на сцене говорил: «Чистая немецкая работа», всё с очень сильным немецким акцентом. Так вот, именно Кёстринг был тем майором, который был приставлен к Скоропадскому во время описываемых в пьесе событий. Когда он увидел спектакль, он решительно запротестовал против того, что актер произносил эти слова с немецким акцентом, поскольку он, Кёстринг, говорил по-русски совершенно свободно. Он обратился с жалобой к директору театра. Однако, вопреки негодованию Кёстринга, исполнение продолжалось неизменным».

По документам, опубликованным газетой «Московские новости», сам Скоропадский тоже жаловался, что пьеса рисует «бесперспективность белого движения» и «пытается ... осмеять и смешать с грязью гетманство». В те же дни Карл Радек в фойе Художественного театра публично возглашал, что пьеса контрреволюционная и цензура должна ее запретить. Объективность Булгакова не устраивала ни одну из воюющих сторон. Но книга фон Херварта интересна не столько этим эпизодом, но тем, что из нее следует, что будто бы именно он, фон Херварт, произнес и ранее известные по документальной литературе слова на совещании, созванном в Восточном министерстве Розенберга сразу после Сталинграда: «Русских могут победить только русские». С чисто немецкой наивностью собравшиеся догадались о том, о чем давным-давно знали до них другие, но только не высказывали, как не высказывают и сейчас.

Способы, которыми это достигается в умственной области, Булгаков понимал как никто, и у него они раскрыты с замечательной тонкостью и непроизвольной простотой. И здесь он также незаменим в воспитании нашего современного сознания.

Приходится слышать произносимое как бы с горячим сочувствием: «Смотрите, русская литература впервые, вот уже сколько лет, живет без великих писателей, никогда этого не было». Отвечаем: не спешите судить нынешних, мы не знаем о них всего, и они еще не скончались. Но для понимания того, что с нами происходит, нам достаточно в общенародном состоянии — Шолохова, в невидимой области духа — Булгакова. С этими двумя Михаилами мы уж как-нибудь переберемся в XXI век. А там посмотрим.

КРИТИКА

ВСЕГДА С РОССИЕЙ

Княгиня Зинаида Шаховская — это олицетворение подлинного русского зарубежья. Отражение «серебряного века» нашей культуры. Она демократична, как и положено быть аристократу. Нет в ней того плебейского высокомерия, которым переполнены наши литературные салоны. Но эта демократичность никогда не переходит в фамильярность, разнузданное панибратство. В общем, многое, чем мы все больны здесь, не коснулось русских за рубежом.

Вера в Бога, вера в Отечество, бескорыстное служение России.

Зинаида Шаховская — известный французский писатель, фронтовик, лауреат ордена Почетного легиона и многих французских литературных премий. Она верно служила Франции, своей второй родине. Но душа ее — в России. Потому и — русские книги, русские друзья, русские стихи. Ее очень ценили И. Бунин, В. Набоков, А. Ремизов, И. Шмелев. Теперь уже Шаховская делится с нами своими воспоминаниями о русских классиках.

Сейчас княгиня живет одна в центре Парижа. Она рада встречам со своими соотечественниками, рада своему литературному возвращению в Россию. Говорят, у нее «трудный характер». Это для тех, кто движим корыстью, кто старается ее обмануть, как «огоньковец» Ф. Медведев.

Там же, где затрагиваются интересы России, в том числе и литературы России, Зинаида Шаховская всегда с русскими патриотами. Она чересчур хорошо знает Запад и потому с грустью смотрит на потуги наших «плюралистов» сорвать «западные аплодисменты», унижение выпрашивающих милостыню для России.

Зинаида Шаховская верит в возрождение русской нации, в великую и свободную Россию. Она — всегда с нами!

В этом номере мы печатаем две небольшие статьи писательницы, как бы предваряя знакомство читателя с ее творчеством, которое мы планируем в дальнейшем представить более полно и многогранно.

Владимир БОНДАРЕНКО.

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

НА МРАМОРЕ РУКИ...

Минуты есть: «не может быть» бормочешь,
«Не может быть, не может быть, что нет
Чего-то за пределом этой ночи»...

Владимир Набоков.

Владимир Набоков стоит совсем особо в русской литературе. Ни к какой школе его не причислишь, ни с какой группой единомышленников не свяжешь. Ни к какому писательскому кругу он не принадлежал в своем горделивом одиночестве. Владимир Набоков феномен и самая яркая звезда литературы первой русской эмиграции, в которой было немало звезд. Даже та, кому чужд набоковский мир, не пытаются оспаривать его огромного дарования.

Я была дружна с Набоковым в самые трудные годы его существования, с начала 30-х годов до его отъезда в США (хотя в начале его жизни в Америке материальных трудностей и там было у него немало). В одном из писем ко мне в те времена Набоков пишет: «Мы медленно погибаем от голода, и никому до этого нет дела».

Но об этих же годах впоследствии в расцвете своей славы он вспоминает публично с чрезвычайно характерной для него привычкой к мистификации как о «беспечных годах моей эмигрантской молодости».

Жалею тех, кто не знал Набокова в эпоху его первого цветения. Все в нем привлекало и радовало: природный шарм, искристость ума, даже некоторая шаловливость, мгновенная изобретательность сравнений,— так, глядя в Брюсселе на только что зажженные городские фонари — в середине белый колпак, вокруг него четыре желтых: «четыре пива и одна сода». И еще более удивительная, по сравнению с поздними годами, теплота по отношению к друзьям, деликатность, отсутствие высокомерности при сознании своего таланта. Не только жена и сын были предметом его заботливости, но и мать, которую он боготворил, и младший брат Кирилл, тогда студент в Бельгии.

В последний раз мы виделись незадолго до его отъезда в США (мы оставались в Европе, решив принять участие в войне). Хотя переписка между Англией и Америкой шла почти нормально, связи с Набоковым мы не имели. Снова встретились уже в Париже, на коктейле у Галлимара по случаю выхода французского перевода «Лолиты». К сожалению, вот эта, самая последняя наша встреча в Париже была неудачной. Одна из причин, боюсь, не единственная, нашего отчужденья, была, вероятно, моя статья о Набокове в «Revue de Deux Mondes». Перечитывая ее теперь, я знаю, что́ именно в этой, в сущности, вполне естественно хвалебной статье его уязвило: мое утверждение, что творчество Набокова — это итог, вершина, пик эмигрантского творчества, эмигрантской безрадостной свободы и ни к чему непривязанности. Думаю это и сейчас.

Владимир Набоков совсем не космополит, примысливший себе чужие берега и нашедший себе на них место. Если и стала для него родина мифом, миражом, плодом воображения, а мир — пустыней, населенной аллегорическими персонажами, марионетками, гротесками, то все это не что иное, как декорация, скрывающая действительность.

Родина для Набокова как раз не миф, а единственная реальность. Даже в его американских книгах мы найдем присутствие взрастившей Набокова России, страны потерянной, но не забытой. Отчаяние потери — или потерь,— потому что детство и юность Набокова так же невозвратимо потеряны, как и мертвые, которых он любил и которые составляли райский мир, революцией сметенный.

«Будем прежде всего сочинителями»,— писал мне Набоков, но и сочинитель не из пустоты созидает, а из осязаемого, видимого, слышанного, воспринятого. Проза поддается насилию над ней, она поддается даже лжи. Мы можем перекраивать положения, заметать следы, выдумывать чувства, создавать героя-арлекина из разных людей, нами встреченных. Прозой говорят народам демагоги. Но вот поэзия, рождающаяся из подсознанья, по своей иррациональной сущности лукавить и лгать не может. Какие бы герметические формы она ни принимала, основа ее всегда правда. Лучшие русские поэты, принужденные писать хвалу Сталину, выдавали свое принужденье плохим качеством стихов.

И вот в стихах своих Набоков ничем не защищен, он обезоружен и обнажен в них гораздо больше, чем в полузакамуфлированных признаниях, рассыпанных в его романах и в художественных биографиях. В поэзии сущность набоковской трагедии, его травма выступают отчетливо. Конечно, и в романах можно видеть, что участь эмигранта наложила на писателя тяжкий груз. Все искрящееся, живое, подлинное идет из детства, из России, все тяжелое, бессмысленное — после расставания с ней. Перейдя на английский язык, Набоков Россию потерял вторично, и потому американское его творчество вдвойне трагично. Слава ошиблась континентами.

Выйдя из мира пародии и бессмыслицы, из надменности мастера, стихи выявляют нам другой, более душевно нам близкий, более человеческий облик Набокова. Пусть стихи его менее оригинальны и ярки, чем его проза, там подо льдом теплится огонек нежности и страдания, так старательно запрятанный в изощренности стиля и построении романов (особенно последних, по времени, конечно). И в тоненьком сборнике стихов 1929—1951 гг. (изд. Рифма, Париж, 1952 г.) почти в каждом стихотворении найдем подтверждение тому, о чем я пишу, о дыхании России.

В 1932 г. уже:

> мир, быть может, пуст и
> беспощаден,
> я не знаю ничего —
> но родиться стоит ради
> этого дыханья твоего.

Дыханья музы, но и Мнемозины:

> И теперь, увеличенный памятью,
> И прочнее и краше вдвойне,
> Старый дом, и бессмертное пламя
> Керосиновой лампы в окне.

И сквозь сумерки возвращается живым убитый отец:

> Не изменился ты с тех пор, как умер.

В 1938 г. уже окончательно понято Набоковым, что естественный его путь прерван навсегда, тот самый, в «непрерывность» которого он так долго верил. «Молчанье отчизны, молчанье зерна», но, несмотря на все его призывы: «отвяжись, я тебя умоляю!» — все всматривается «дорогими слепыми глазами» в изгоя России, и он готов себя «искалечить, променять на любое наречение все, что есть у меня — мой язык». Уже в Америке в 1942 году написано стихотворение «Слава», где наиболее открыто выявлено боренье с мечтой о признанье на родине.

«Никогда не мелькнет мое имя — иль разве (как в трагических тучах мелькает звезда) в специальном труде, в примечаньи к названью эмигрантского кладбища...»

Не место и не время подобрать все цитаты, но именно потому, что так жива у Набокова память о дооктябрьской России, «советская сусальнейшая Русь» Набокова не соблазнила. Он еще не «сыт разлукой», чтобы примириться со скукой «немого рабства». В 1942 г. Набоков отказывается от своей приверженности к Славе:

> так смешна мне пустая мечта
> о читателе, теле и славе.

Но в альманахе «Воздушные пути» № 2 1961 г. в стихах, посвященных защите «Лолиты» от нападок, мы читаем:

> Но как забавно, что в конце абзаца,
> корректору и веку вопреки,
> тень русской ветки будет колебаться
> на мраморе моей руки.

Дар Набокова заслуживает памятника. Русскую литературу он обогатил, но думаю, что останется он писателем для писателей и для литературоведов. В русской традиции «любовь всенародная» идет к учителям и пророкам, к тем, «кто чувства добрые» в них пробуждают. Искусство Набокова другого порядка, другого призвания. Его можно назвать и моралистом, и даже не без метафизических проблесков, но все же главная забота его эстетическая, плетение изощренного словесного кружева, блестящих гирлянд не только над воображаемым, но и над пустотой.

Не ампутированный от России дар Набокова вылился бы в другую форму, может быть, и тем его судьба не была такой счастливой, как обещала ему его юность, но не было бы в нем трагического раздробления.

> Сейчас переходим с порога мирского
> в ту область... как хочешь ее назови:
> пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,
> иль, может быть проще — молчанье
> любви.

Набоков заслужил мировую славу, мировое признание, и, конечно, надлежало ему получить и Нобелевскую премию, хоть она выдается и заслуженно, и незаслуженно. Все же успел он дожить и до тайного своего упования. Владимир Набоков таинственным путем вернулся на родину. В России его знают и почитают.

Александр Солженицын, так далеко стоящий от Владимира Набокова по духовным устремлениям, по стилю, по «космополитизму» успел при жизни старшего собрата объявить всенародно, что он считает его гениальным.

И уже «тень русской ветки» колышется над умершим писателем.

ПО ПОВОДУ ДВУХ ПИСЕМ

В какой бы мягкой форме разногласия между двумя такими людьми, как Солженицын и Сахаров, публично ни высказывались,— самый факт этих разногласий несомненно смущает многих. Я лично не смущена — между людьми чести и доброй воли споры имеют и положительный результат, и высказывания полезны уже и тем, что дают пищу не только для дискуссий, но и для размышлений.

В сущности, ни Солженицын, ни Сахаров не политики, а моралисты. Читала же я их тоже не как политик, а как историк (с оглядкой на прошлое, особенно недавнее, да и настоящее), потому что современность — это отрезок истории, и мы являемся его прямыми свидетелями и очевидцами.

Ответ Сахарова только что дошел до меня, а «Письмо вождям» Солженицына, уже при первой проглядке его, удивило меня тем, что я нашла в нем совпадения с некоторыми позициями покойного С. Малевского-Малевича, выраженными в его книге «СССР сегодня и завтра». Прежде всего то, что и книга Малевского, и письмо Солженицына обращены к правящей верхушке СССР, имеющей возможность эволюционно вывести страну из тяжелого положения. Затем свободная, никак не насильственная федерация народностей, находящихся на территории СССР, и наконец предположение, что после невероятного зажима теперешней власти демократическое управление на манер западных республик или королевств, не может справиться со всеми задачами,— люди, пришедшие с разных полюсов, один мало знакомый с Западом, другой всю жизнь, с юности, в нем живший, как-то и где-то встретились.

Расхождения Солженицына и Сахарова обозначились очень ярко в отношении каждого из них к Западу. Неудивительно, что и тот и другой знают о Западе не много. Сахарову он представляется видимо, вершиной мудрого управления и высокой государственной и общественной морали, Солженицын скорее инстинктивно, чем из опыта, понял его—Запада—слабости и, в частности, духовную его слепоту. Сахаров человек науки, Солженицын — человек творческого прозрения. Уважая, по-видимому, своих ученых западных собратий, Сахаров принимает, как нечто непогрешимое, и политические взгляды западных ученых, чаще всего радикальные, хотя по существу своему Сахаров — человек, видимо, одухотворенный. Солженицын ставит краеугольным камнем личной, общественной, да и государственной жизни, «примат духовного над материальным» и, как и подобает провидцу и пророку (их за это обычно побивают каменьями), очень чувствителен к порокам людей и обществ и их обличает.

Он не благодушен, но всякое благодушие (посмотрите вокруг себя) очень быстро становится равнодушием — то есть бездействием.

Собственно говоря, в этом споре на первый взгляд происходит как будто продолжение споров западников и славянофилов.

«Славянофил» — стало как-то очень неосмотрительно бранным словом, но если посмотреть посерьезнее, никак не были славянофилы врагами просвещения или врагами Запада. О Западе они знали гораздо больше, чем западники,— как Белинский или Чернышевский (за исключением

Чаадаева и Печорина). К тому же и те и другие верили в мессианскую роль России (Белинский, впрочем, считал Германию «Иерусалимом нового мира»). Хомяков призывал русских с любовью обнять все народы и научить их тайнам свободы, света и веры, а Достоевский утверждал — «Европа нам второе отечество».

Самобытность же свою русские видели только в культуре, основанной со времен Св. Владимира на духовных началах, как на принципе всякой культуры вообще. Рассматривая исторически жизнь русского народа, замечаешь, что как раз он-то и не имел расовой установки и очень легко — без проблем — смешивался с иноземцами и европейскими, и азиатскими. Правда, боярышня «Арапа Петра Великого» не очень-то радостно шла за Ибрагима, но ведь и то сказать — он был тогда единственный чернокожий в России и его единственность должна была казаться ей опасной. Был, правда, как единственное затруднение в смешанных браках, вопрос вероисповедания. И теперь еще этот вопрос существует для православных, католиков и особенно для евреев и магометан. А так — немцы ли, итальянцы, французы, татары, калмыки, евреи, поляки, литовцы — кто только с русскими не роднился без всякой травмы для их потомства: Нессельроде, немецкий еврей, став православным, без всякого затруднения породнился со знатью и стал временщиком Александра I (как и барон Шафиров), и не о чистоте своей расы говорят русские, а только о своем присущем и дорогом им, духовном и культурном наследии. Вероятно, и Сахарову наследие это не менее дорого, чем мне, без проблемы делящейся между двумя противоречивыми культурами — французской и русской.

Несомненно, постулаты Сахарова гораздо легче будут приемлемы на Западе, и главным образом, увы, из-за недружелюбия Запада к России как таковой, чемпионом и рыцарем которой выступает Солженицын. Трудное это дело! Почитайте западные газеты. Спутник, лунник,— это все достижения СССР, но не советские, а русские войска входят в Прагу. На демонстрациях «порабощенных народов» русский народ никогда не бывает представлен. Маленький пример личного опыта: в Париж приехал один ленинградский артист и попросил меня устроить ему выступление по телевидению. Я при нем позвонила знакомому журналисту ОРТФ: «Только что приехал советский артист!», мой посетитель меня прервал: «не советский, а русский». Я настаиваю: «советский». День передачи был сейчас же назначен, и я объяснила гостю: «Сказала бы я, что вы русский, вами бы не заинтересовались».

Выходит как-то так, что все имеют право любить свою страну и свой народ, кроме русских: и израильтяне, и арабы, и англичане, и французы, и шотландцы, и баски, и латыши, но вот русские, чаще всего утверждающие не расовое свое происхождение, а принадлежность к не такой уж второстепенной культуре, сразу называются **шовинистами**.

Мудрено ли, что при такой предвзятости русский народ начинает более отчетливо чувствовать свою особенность и у него развивается комплекс национальных меньшинств: та обидчивость, которая раньше не существовала. К тому же в наше время очень легко видеть, что если когда-то боялись большинств, то теперь боятся меньшинств, и оказывается, что они одни могут рассчитывать на поддержку общественного мнения.

Я совершенно не оспариваю, что русский народ за тысячу лет своего существования сделал много несправедливого или жестокого, но история всякого народа полна злодеяний. Сахаров как бы недоволен, что Солженицын напоминает о страданиях русских, но ведь и правда — об их страданиях как-то удивительно мало помнят на Западе, да и на Востоке...

И я лично не без грусти прочла у Сахарова трафаретную фразу: «Существующий в России веками рабский, холопский дух».

Иногда как участница, иногда как свидетельница войн и революций, оккупаций, и немецких, и союзных в разных странах, могу сказать, что сопротивление — дело всюду личностей, а не толпы, и я не знаю другой страны, кроме России, где после 50 лет насилия и террора выявилось бы так много мужественных людей, включая авторов этих двух писем.

Имеющий теперь доступ ко всей нужной ему информации о старой России и о Западе сегодняшнего дня и слишком хорошо уже знающий советский мир, Солженицын очень скоро сделает правильный синтез новых своих знаний с прежним опытом. Сахарову же придется еще догадываться, идти на ощупь, принимать многое на веру. Самое же главное для всех нас — это научиться разговаривать, уважая друг друга, спорить так, как будто бы ударяя кремень о кремень, мы добываем нужный нам огонь,—и стучаться и в земную, и в небесную двери, пока они, по очереди, не откроются.

КРИТИКА

Круг чтения

ЮРИЙ МАКСИМОВ

Преграда на пути зла

ЗАПИСИ В ДНЕВНИКЕ О РОМАНЕ АНАТОЛИЯ КИМА «ОТЕЦ-ЛЕС»

Неверующий человек — вовсе не обязательно атеист. Даже если он возвел неверие в принцип. Атеизм — это религия, ставящая человека выше Бога, признающая самодостаточность человека, а значит — его ОДИНОЧЕСТВО.

Не надо путать последовательных атеистов с пресловутыми воинствующими безбожниками. Последние олицетворяют собой лишь ересь в атеизме, наподобие «ереси жидовствующих» в христианстве.

ЧЕЛОВЕК НЕВЕРУЮЩИЙ — это человек, не нашедший своей веры. Одни ее ищут, и ищут активно (их очень мало), другие — пассивно (их значительно больше), третьи не ищут вовсе (имя им — легион).

Таковы и герои романа Кима...

2

Люди, не нашедшие (или не ищущие) своей веры, в силу самых разных причин более других зависимы от внешних условий существования и поэтому вынуждены жить ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЛУЧАЮ. Это обстоятельство, на первый взгляд достаточно невинное, на самом деле может привести к катастрофическим последствиям. Реалии человеческого общежития таковы, что от жизни ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЛУЧАЮ до жизни ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОДЛОСТИ — один шаг.

Черный мрак, постоянно видимый сквозь ажурную ткань кимовского повествования, есть обиталище тех, кто этот шаг сознательно или несознательно уже сделал...

3

Согласно религиозным представлениям древних ариев (я имею в виду маздеизм) Бог создал материальный мир не по прихоти своей и не для собственного удовольствия, а для того, чтобы воздвигнуть преграду между собой и своим противником — воплощением Мирового Зла. Атакуя Бога, Зло наткнулось на Преграду — Землю, проникло во все ее поры, в том числе и в человеческие тела, и оказалось запертым в материальном мире, как в темнице.

Итак, Земля как преграда на пути Зла...

Какой поистине космический полет мысли! В какие захватывающие дух глубины познания позволяет заглянуть этот акт творения!..

Я вовсе не утверждаю, что именно маздеизм явился источником вдохновения писателя. Отнюдь. Я просто утверждаю, что это роман о борьбе Добра и Зла в первую очередь, а все остальное, на что обратили внимание немногочисленные холодно брюзжащие или уныло сочувствующие критики, в достаточной степени второстепенно.

Потому и слышен так часто в романе голос ОТЦА — ЛЕСА, который и есть собственно ЖИЗНЬ, голос его зеленой листвы, его тянущихся к солнцу ветвей, голос его падающих на землю детей-деревьев и его только что проклюнувшихся из земли младенцев-ростков:

«Я знаю, кажется, бездны человеческой души, в мою тысячелетнюю картотеку занесено всё самое чудовищное, на что оказывался способным человек, и весьма убористым почерком записаны туда неисчислимые истории самых невероятных страданий. Однако все это доселе известное и в сравнение нейдет с подлинными качествами души и ума тех людей двадцатого века, которые невероятно успешно содействуют делу всеобщей гибели. Их ледяной сатанизм и ненависть к жизни в 10^{38} раз превышает мою любовь к ней. Лес человеческий может стать смертным не потому, что деревья его передушат друг друга,— человечество может погибнуть, если в нем будет оставаться даже небольшое число подобных людей.

Моя натуральная сила приумножения жизни, весь мой труд под солнцем не могут противостоять такой ненависти. Моя зе-

леная материя не уверена в себе и мнительна, она может существовать только при особенных, благоприятных условиях. Глубокая меланхолия, свойственная мне, родилась от чувства моей малости во Вселенной — тайное устремление мое к смерти есть не что иное, как желание слиться с этой малостью, вернуться в нее, как после скитаний блудный сын возвращается к отчему дому.

Но невозможность смерти, невозможность моего исчезновения вне материи наполняет мукою моё существование,— человек мучается не только потому, что сам виноват во всём, но и потому, что он страдал бы всегда, где бы он не оказался. И те злыдни мира, которых я хорошо знаю, потихонько подтачивают оболочку атомного ядра, чтобы выпустить заключённый туда огонь сатаны...»

4

«Я — ОДИНОЧЕСТВО». Эти два слова, написанные писателем именно так — большими буквами, то и дело появляются на страницах романа, быть может, даже пугая читателя безысходностью, выраженной так ёмко и коротко. Но пугаться или даже чувственно сторониться этих слов не стоит. В их печали есть светлая сторона: признание уникальности, а значит, самоценности каждой отдельной человеческой ДУШИ...

Три поколения одной семьи — отставной офицер, военный ветеринар, доморощенный философ Николай Николаевич Туравв, его сын, изувеченный второй мировой войной Степан Николаевич, сын сына, ученый Глеб Степанович — стержневые (я намеренно не употребляю слово «главные») герои романа, заблудшие, но ищущие свою ВЕРУ дети ОТЦА-ЛЕСА. И соединяет их внешне совершенно различные жизни между собой не только родство мятущихся и страждущих душ, но и очистительная ПАМЯТЬ ОТЦА-ЛЕСА, избавляющая от ОДИНОЧЕСТВА:

«И возвышалась посреди поляны темная глыба нового барского дома, углами крыши подрезая едва заметную, прозрачную синеву ночного неба, и стояла там же, на поляне, островерхая изба кордона, небольшая, но в темноте казавшаяся массивной и объёмистой, и светила над домами одна и та же яркая звезда, на которую смотрели отец и сын, не видя, не ощущая друг друга, ибо между ними была та странная пустота, что называется временем. И отцу в ту бессонную ночь, когда он тоскливо и мечтательно смотрел на звезду, не было еще и сорока лет, а сын, слезящимися глазами уставившийся на нее, был шестидесятидвухлетним стариком».

Русский человек и американский гражданин Владимир Беляев писал в «Литературной России» (от 31. 05. 91 г.) о том, что борьба зла с душой народа сталкивается с трудной задачей: «народное самосознание передаётся из поколения в поколение, то есть меры борьбы приходится применять постоянно, заново препарируя каждое поколение народа Такой бесконечный процесс подвержен авариям и срывам. Учитывая это обстоятельство, делались разнообразные предложения. Так, известный русский теоретик революции Ткачёв предлагал убить всё население страны старше известного возраста для того, чтобы разорвать цепь народной души от одного поколения к другому». И сейчас, когда наша страна подвергается буквально нашествию таких вот «ткачёвых», я хотел бы только добавить к этому следующее: вся эта человеческая мразь в совершенстве владеет искусством притворяться и обманывать, они хамелеоны по самой своей сути и используют любую возможность обольванить людей. Об этом предупреждает и Ким:

«...Я никогда не смогу забыть то мгновение, когда в человеке, преломляющем хлеб, открылся мне Тот, Кто мог быть спасением мира. И поэтому в каждом из людей, кто брал в руки испечённый хлеб, я выискивал, напряженно вглядываясь в него, знакомые черты своего небесного гостя. И надо ли говорить тут, сколько раз я досадовал и ожесточался, когда хлеба касались не персты Спасителя, бого-человека, а скрюченные лапы хищного зверя, с виду столь похожие на мирные руки обыкновенного труженика».

Боже, дай моему народу способность не ошибиться еще раз! Он может оказаться последним...

5

В романе Кима больше подлинной истории, чем в иных газетно-журнальных сочинениях «специалистов», рехнувшихся на перестроечных «открытиях», вместе взятых. Что более всего характерно для этих «специалистов», так это некое почти мистическое преклонение перед Фактом, которое они пытаются (и часто с успехом) передать и читателю. А между тем давно уже доказано, что сам по себе Факт, взятый изолированно и не осмысленный во взаимодействии причин и следствий, еще не история. Его можно уподобить отдельно взятому кирпичу, коим, правда, можно убить, но во всех других отношениях — штуке мало на что пригодной. Зато когда этих кирпичей много, то из них с одинаковым успехом можно построить и госпиталь для ветеранов войны и труда, и публичный дом для неших воинствующих теперь порнографистов. Так же обстоит дело и с историческими фактами: некоторые «строители» уже построили из них Вавилонскую башню очередного грязного мифа об извечной русской вине перед всем и всеми. Они, эти, с позволения сказать, вожди и пророки сейчас вовсю карабкаются на Монблан истории со смехотворной надеждой накрыть его своими ермолками, тюбетейками и прочими головными уборами. Что ж — вольному воля. Пусть карабкаются, но помнят, что спуск часто бывает куда труднее подъема...

. . . .

«История — это воскрешение»,— говорил Мишле. Мне кажется, что в этом изречении весь Ким. И потому Связующее для него не менее важно, чем Связуемое Иначе Воскрешение невозможно. Ведь только лишь

Ариадны вывела когда-то Тезея из Лабиринта...

«Осталось сто или, может быть, сто двенадцать лет до того времени, когда Гость снова посетит мою маленькую планету: увидит ли он новый мир на Земле, который родится без тех свойств, что погубили прежний? В новом мире я сначала умру от ненависти, которая исходит от моего одиночества, а затем воскресну от любви, которая не сможет умереть вместе со мной...»

Так пишет Ким...

6

Обозревая последние годы, пережитые нашей страной, люди все чаще стали задаваться недоуменными вопросами, ответы на которые они не могут найти ни у нашей независимой от совести прессы, ни у тех деятелей, кто сделал из перестройки профессию. Почему, к примеру, дорога к правовому государству пролегла у нас через невиданный рост массовой преступности? Почему меры, вроде бы долженствующие оздоровить экономику, подвели нас вплотную к экономическому краху? Почему святое дело демократизации общества оказалось забрызганным кровью невинных людей? Или всему этому не было альтернативы? (Какое все-таки противное слово!)

Читая роман Кима, который вовсе не о перестройке, который вовсе не исковеркан пресловутым «новым мышлением» (я вполне уверен, что это «новое мышление» старо как мир и вертится вокруг денег и наживы, как древние евреи вокруг золотого тельца), по какой-то не всегда уловимой ассоциации приходишь к выводу: все это произошло, кроме всего прочего, еще и потому, что люди, волею судеб забравшие власть в нашей стране, абсолютно и необратимо лишены НРАВСТВЕННОСТИ. И дела их, и методы, коими пробивались они к своей цели, были по преимуществу БЕЗНРАВСТВЕННЫ. Ибо безнравственно сплошь и рядом обманывать народ, безнравственно наживаться на его обнищании, забирая у миллионов последние крохи и набирая себе из этих крох миллионные состояния, безнравственно насаждать среди почти (и даже не почти) нищего населения валютные магазины для избранного жулья, безнравственно не на словах, а на деле поощрять преступность. И даже их хваленая гласность, и та с самого начала была по преимуществу безнравственна. Отданная на откуп людям, с давних времен приученным представлять чьи угодно интересы, кроме интересов народа, тем же хамелеонам, она развратила людей (особенно молодежь, что еще ох как аукнется!), она опустошила их духовно, по-вампирски высосав то немногое, что еще было свято.

«С теми качествами нравственной чудовищности, в которых осуществляются самые высшие притязания человеческой цивилизации, люди, эти невидимые микробы на поверхности земного шара, не имеют поля дальнейшего существования во времени...» — это Ким.

Мне остается только уточнить: ЭТИ ЛЮДИ.

7

Нет, я не собирался говорить о романе Кима в том смысле, в каком предполагалось бы его критическое освещение. Я был далек от желания пересказывать сюжет, выискивая по ходу дела достоинства и недостатки, разгадывать символику или (не дай Бог!) то, что мне показалось в романе ребусом. Я просто хотел поделиться со своим дневником теми мыслями (не всеми, конечно), которые возникли у меня при чтении «ОТЦА-ЛЕСА». И к тому, что я записал, мне хотелось бы добавить только одно. Я если и огорчен, то не слишком, что какие-то колченогие «Дети Арбата» выпускаются в нашей стране миллионными тиражами, выхлестываются сотнями рецензий на страницы газет и журналов, а безусловно высокоталантливый роман Кима живет какой-то несправедливо потаенной жизнью. Я просто убежден, что время все расставит по своим местам и что роман «ОТЕЦ-ЛЕС» вовсе не окончился там, где писатель поставил последнюю точку.

«...С тех пор прошли годы, книга обрастала мхами и травами, их шуршащие семена осыпали ее, ветер переворачивал страницы, ничего не понимая, — и вот я подошел и поднял книгу из травы...»

Из нашей почты

Неужто и мы, славяне, поссоримся?

Еще несколько лет назад я, живя на Украине, как-то даже и не задумывался, какой я национальности. На работе ценили мои профессиональные качества. Сотрудничал как с русскоязычными, так и украиноязычными газетами и журналами республики. Среди моих друзей, знакомых были и украинцы, и белорусы, и татары, и литовцы...

И вдруг произошло что-то непонятное, страшное. Я почувствовал, что ко мне стало меняться отношение. На национальной почве.

— Ты русский, а русские — все шовинисты, они привыкли жить за чужой счет, например за счет украинцев,— так объяснил мне свое поведение один из тех, кого я считал чуть ли не другом (оба были рабкорами местной газеты).

Прохладное отношение вскоре сменилось злобой и ненавистью. Помню, в прошлом году выступил на страницах газеты «Западный Донбасс» с предложением увековечить в родном городе Павлограде имя великого русского полководца М. И. Кутузова, который в 1780 году основал наш город, строившийся по его чертежам, а парк, где было имение Кутузова, до сих пор по старинке зовется «кутузовским садом». Созданный им знаменитый Павлоградский гусарский полк прославился в войне с Наполеоном, его подвиги подробно описал в романе «Война и мир» Л. Н. Толстой. И вот парадокс: ничто не напоминает в городе об этом человеке — нет в честь его ни улицы, ни сквера... И я предложил назвать исторический парк, основанный Кутузовым, именем русского полководца.

Что тут началось! После публикации меня обвинили в ненависти к украинскому народу, так как хочу увековечить имя «злейшего врага Украины», что-де Кутузов ничего хорошего не сделал для украинцев, он только грабил и убивал, выполняя волю Екатерины. А потому надо вычеркнуть из истории всякое упоминание о Кутузове. И даже были предложения переименовать Павлоград, ибо носит он имя опять-таки русского царя.

Вот так о полководце, который спас Украину от татаро-турецких набегов, присоединил к ней огромную территорию... Да уже за одну войну с Наполеоном его уважать надо! А тут — дикая злоба...

И с тех пор пошло... Поддержал я А. И. Солженицына в том, что Россия, Украина и Белоруссия должны быть едины, а меня обвинили: мол, я мечтаю вновь Украину превратить в колонию России. Хороша же колония, если в ней люди живут в сто раз лучше, сытнее и богаче, чем на родине моих предков — Рязани! Выступил я против закрытия ряда русскоязычных газет — и вновь мне ярлык: «шовинист», «русский колонизатор»...

Конечно, еще можно как-то стерпеть, слушая такие заявления в личный адрес. Но до боли обидно, что ведь оскорбляется весь русский народ (а нас, русских, на Украине проживает более 11 млн. человек — население целого европейского государства!).

В чем только нас, русских, сегодня не обвиняют. И в том, что это мы хитростью заманили Богдана Хмельницкого на коварный Союз с Россией в 1654 году. И что-де Советскую власть насильно установили, и голод в 1933 г. это мы, русские, послали. И уж, конечно, АЭС понастроили побольше, чтобы радиацией потравить украинский народ. И реки мы потравили, и химических заводов понастроили. Да еще хотели обратить всех украинцев в русских. Ни дать ни взять — впору нас фашистами называть.

Одно дело — слышать все это от лидеров и активистов Руха, Украинской республиканской партии, ставших на путь национализма. И другое дело — слышать подобный бред от украинских писателей — И. Драча, О. Гончара... Какой дикий вой поднимают они по поводу борьбы русскоязычного населения за свои права. Их рупор — газета «Литературная Украина» — из номера в номер печатает материалы явно антирусского содержания. Особенно достается русским в Крыму, Одессе, Николаеве, Херсоне (т. е. в Новороссии!), где местное население противится насильственной украинизации...

На Украине началась кампания по закрытию русских школ, детсадиков, институтов, университетов. В западных областях Украины в школах полностью ликвидирована русская литература, до минимума сокращены часы на преподавание русского языка. Раздаются требования — проверить всех на знание украинского языка и кто его не знает — гнать в «родное Нечерноземье».

Боже, что творится? Неужто мы, русские, станем врагами и для своих братьев — славян? И чем это мы провинились? Неужто это за то, что спасли от фашистской чумы, делились последним куском хлеба и отдавали все, лишь бы им, братьям и сестрам, жилось лучше?

А. МАЛАКОВ.
г. Павлоград,
Днепропетровская обл.

Редакция благодарит нашего соотечественника гражданина США Михаила Сторчилло, приславшего в помощь журналу 500 долларов.

Зарубежные читатели, желающие поддержать «Наш современник», могут посылать свои пожертвования на счет МП «Русло» № 07005232 в Агропромбанке, г. Москва, через следующие счета:

в долларах США

Account of Agroindustrial Bank, Moscow № 1, 227594.001.00 with Credit Lyonnais, New York Branch. 95 Wall Street, New York, N.Y., 10005, USA. Telex: 423494, 82723, 62410.

в марках ФРГ

Account of Agroindustrial Bank, Moscow № 1110007630 with Dg Bank (Deutsche Genossenschaftsbank), Am Platz der Republik, D-6000, Frankfurt/M, BRD. Telex: 699796, 699797.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на журнал, а также для переадресовки издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Союзпечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовке издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Союзпечати».

Дорогие читатели!

В предыдущих номерах мы уже рассказывали о перспективном плане основных публикаций журнала в конце 1991 и в 1992 годах. В дополнение к этому плану сообщаем, что в будущем году на страницах нашего журнала вас ждет встреча с уникальным явлением в русской литературе, о котором до сей поры было известно лишь очень немногим людям, у которых объемная рукопись тайно хранилась в течение десятилетий. Известный писатель Леонид Бородин ознакомился с ней накануне своего второго ареста. Рукопись была арестована вместе с Бородиным. После освобождения он долго разыскивал эту книгу, которая, по его мнению, стоит по своему значению в одном ряду с произведениями Булгакова, Солженицына, Пастернака, Олега Волкова. Но тщетно. Казалось, что рукопись безвозвратно исчезла в недрах НКВД.

И вот произошло чудо. Душеприказчица автора, Н. Ю. Квятковская, с риском для себя хранившая один из экземпляров, осмелилась наконец явить его миру и предложила для публикации в журнале "Наш современник"

роман Ирины РИМСКОЙ-КОРСАКОВОЙ

«ПОБЕЖДЕННЫЕ»

Это значительное по объему, многоплановости и глубине содержания произведение рассказывает о трагических судьбах русских аристократов, оставшихся на Родине и пытавшихся приспособиться к чудовищной действительности. Действие разыгрывается в 1931–1932 годах, когда органам ГПУ удалось нащупать следы этих людей, выявить их и уничтожить. И. В. Римская-Корсакова – внучка великого русского композитора, в своем романе описывает события с той доскональной достоверностью, которая свойственна только непосредственным очевидцам: ведь роман во многом автобиографичен. Но при чтении этой книги волнуют и потрясают не только факты. Роман написан дивным русским слогом, от которого мы уже отвыкли, он воскрешает давно забытую атмосферу высоких и чистых взаимоотношений между людьми, атмосферу благородства и доблести настоящих русских аристократов – тех, кого кровавая стихия революции сделала побежденными, но не поставила на колени.

Мы надеемся, что роман Ирины Римской-Корсаковой "Побежденные" встанет в один ряд с такими книгами, как "Белая гвардия" М. Булгакова, "Доктор Живаго" Б. Пастернака, "Погружение во тьму" О. Волкова.